

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

" НА У К А "

МОСКВА - 2006

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Е.Л. Березович (Екатеринбург). О явлении лексической ксеномотивации	3
Е.В. Падучева (Москва). Генитив дополнения в отрицательном предложении	21
О.В. Драгой (Москва). Разрешение синтаксической неоднозначности: правила и вероятности	44
П.П. Ветров (Москва). Проблемы внутреннего синтаксиса фразеологических единиц китайского языка	62
Ж. Багана (Белгород). Общая характеристика произношения африканских франко-фонов	76
А.Л. Голованевский (Брянск). Лексическая неоднозначность в языке поэзии Ф.И. Тютчева	82

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А.Б. Петучий (Москва). The grammar of causation and interpersonal manipulation / Ed. by Masayoshi Shibatani	89
Ю.Б. Коряков, Т.А. Майсак (Москва). G. Hewitt. Introduction to the study of the languages of the Caucasus	98
В.М. Мокиенко (Грейфсвальд). A. Bierich. Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts. Entstehung, Semantik, Entwicklung	102
Т.В. Попова (Москва). Л.Э. Калынь. Синтагматика сонантов в славянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 11	107
Л.В. Куркина (Москва). F. Bezljaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga Š-Z. Avtorji gesel F. Bezljaj, M. Snoj, M. Furlan	113
Б.В. Орехов (Уфа). М.А. Бобунова, А.Т. Хроленко. Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря	117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Т.Е. Янко (Москва). Конференции по языкознанию 2005 года, поддержанные Российским Гуманитарным научным фондом	121
Е.В. Панина (Москва). Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте	126
С.С. Ваулина, Г.И. Берестнев (Калининград). Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов	129
С.Д. Коули (Оксфорд), А.В. Кравченко (Иркутск). Динамика когнитивных процессов и науки о языке	133
Е.И. Коряковцева (Москва / Седльце), Е. Серочук (Познань). Восьмая Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов	141
Л.А. Девель (Санкт-Петербург). Международная школа-семинар "Лексика, лексикография, терминография в русской, американской и других культурах"	145
Г.А. Богатова (Москва). III чтения памяти О.Н. Трубачева	148
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 2006 г.	152

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,
 В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,
 В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,
 Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован,
 Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова
 Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
 Институт русского языка им. В.В. Виноградова
 Редакция журнала "Вопросы языкознания"
 Тел. 201-25-16

© 2006 г. Е. Л. БЕРЕЗОВИЧ

О ЯВЛЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КСЕНОМОТИВАЦИИ*

В настоящей статье, написанной на разноязычном языковом материале (данные славянских языков с особым вниманием к русским народным говорам, а также параллели из германских, романских и финно-угорских языков), анализируются ксенонимы – слова и фразеологические сочетания, возникшие в результате семантической деривации на основе этнонимов и топонимов (т.е. в ходе деонимизации) и мотивированные обобщенными представлениями о чужих народах и землях. Эти представления содержат оценку, которая чаще всего негативна (чужое как аномальное, “неправильное”, вредное, дикое и т.п.), а в редких случаях позитивна (чужое как лучшее по качеству). Ксенонимы составляют обширную мотивационную модель, при этом в каждой языковой и диалектной зоне фиксируется специфический набор производящих основ, который определяется историческими, социальными и культурными факторами (производящими основами становятся обозначения внешних врагов, этнических и территориальных соседей и др.). В статье выявляются основные лексические сферы, где функционируют ксенонимы, дается характеристика их структурных, смысловых и мотивационных особенностей.

Неотъемлемой частью картины мира является образ “чужого” мира – представления о чужих народах (этнографических группах) и землях. На языковом уровне такие представления отражаются разнообразно, причем наиболее информативны те единицы языка, которые возникли в результате семантической деривации на базе имен собственных: этнонимов (*цыган*, *француз*), микроэтнонимов (*пошехоны* – жители бассейна Шексны, *мазуры* – население северо-восточной части Польши), макротопонимов (*Америка*, *Сибирь*) и катойконимов (*москвич*, *парижанин*). Такие единицы могут функционировать как цельнооформленные лексемы или же входить в состав фразеологизмов. Какого рода информацию несут эти языковые факты?

Во-первых, дериваты этнонимов и топонимов могут выражать **знание о реальных, объективных свойствах**, атрибутах народа или территории. Чаще всего такое реальное знание характеризует особенности материальной культуры: русск. литер. *кашмир* ‘легкая шерстяная ткань, получившая свое название от кашемирских шалей, выработывавшихся из тонкой козьей шерсти в Кашмире’¹, польск. *plotek szwedzki* (“шведский заборчик”) – ‘деревянная конструкция для сушки сена’, англ. *Paris white* (“парижский белый”)

* Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 04-04-00274а; РГНФ № 06-04-00591а. Расширенная версия статьи сдана в печать в сб.: *Имя: Семантическая аура* / Ред. Т.М. Николаева. М. (в печати). Автор выражает глубокую благодарность С.М. Толстой за ценные советы и консультации при разработке данной темы; хочется поблагодарить также Л. Кралика, высказавшего интересные соображения и любезно предоставившего возможность познакомиться с труднодоступной литературой по теме.

¹ При атрибуции иллюстративного материала для активной и широко распространенной лексики русского литературного языка (а также просторечия) и иностранных языков паспортизирующая справка не дается; в остальных случаях (для мало известной, пассивной, жаргонной и диалектной лексики) она приводится. Поскольку иллюстрации в основном извлечены из русских диалектных словарей, для русских языковых примеров дается указание на группу говоров. При повторном использовании одного и того же языкового факта паспортизирующая справка опускается.

‘мел для побелики’, итал. *americano* ‘вермут, амаро и сельтерская – по-американски’, исп. *ventana italiana* ‘итальянское окно’ и мн. др.

Во-вторых, в итальянском изучаемых вторичных имен обнаруживается большая группа фактов, фиксирующих некоторый стереотип – **субъективно окрашенное мнение** о психологических особенностях инородцев, их образе жизни etc.: русск. литер. *китайские церемонии*, простореч. *негр* ‘о том, кто много работает, занимаясь тяжелым, непроизводительным трудом’, польск. *krakowiak* ‘о веселом и дерзком человеке’, англ. *the French* ‘грубое непристойное слово или выражение’, нем. *ein blinder Hesse* (“слепой житель земли Гессен”) ‘недальновидный человек’, франц. *italien* ‘ревнивый человек’ и т.п. Несмотря на то, что информация, выражаемая языковыми единицами этого типа, отличается изрядной долей субъективизма и яркой оценочностью, она является характеристикой о п р е д е л е н и о г о народа (территории) и не может быть обращена к любому другому объекту из того же ряда (допустим, сочетание *русская лень* нельзя свободно заменить на **китайскую* или **английскую лень*).

В-третьих, выделяются слова и фразеологизмы, приписывающие конкретному этносу или территории такие свойства, которые – в силу общих закономерностей оценки чужого (“ксенопсихологии”) – можно было бы отнести ко многим другим (если не ко всем) чужим народам и землям. Здесь мы имеем дело с наиболее субъективными характеристиками, причем степень субъективизма настолько велика, что происходит разрыв с реальным основанием для оценки: черты, “инкриминируемые” представителю того или иного народа, дают о нем **ирреальное, намеренно искаженное представление**, которое порой не имеет ничего общего с конкретной этнической культурой и историей. К примеру, при мотивационной интерпретации английской идиомы *Jew's harp* (“еврейская арфа”) ‘музыкальный инструмент варган’ [НБАРС, 2: 278] не помогает апелляция к исходному *Jew* ‘еврей’: варган отнюдь не является специфически “еврейским” инструментом (по происхождению или употреблению), он широко распространен по всему земному шару – и это фактически исключает возможность культурного заимствования. Примитивность варгана по сравнению с арфой заставляет трактовать прилагательное “еврейский” как качественное (пейоративное и ироническое по своему смысловому наполнению), а не относительное. Подобным образом можно объяснить фин. *Lapinkiuuri* (“саамский жаворонок”) ‘рогатый жаворонок, рюм (*Eremophila alpestris*)’ [ФРС: 312]. Рюм является “странным” жаворонком: в отличие от обычного жаворонка, он имеет “рожки” (удлиненные пучки черных перьев по бокам головы) и редко поет на лету; зона распространения рюма очень широка (Европа, Азия, Африка и Северная Америка) и никаким специальным образом не связана с местами проживания саамов. Логично предположить, что определение “саамский” в данном случае обозначает ‘странный, необычный’.

Факты такого рода (относящиеся к третьей из перечисленных выше групп семантических дериватов от названий чужих народов и земель) будут интересовать нас в настоящей статье. Эти языковые единицы скрываются “под маской” конкретного этнонимического или топонимического обозначения, но при этом отражают обобщенное представление о чужом как о примитивном, некультурном, диком, аномальном, неправильном etc. (гораздо реже чужое трактуется позитивно, что реализуется в признаке “лучшее по качеству”). Такое восприятие практически не детерминировано факторами культурно-исторического плана и может характеризовать не один конкретный этнос, этническую группу или территорию, а целый ряд объектов подобного рода. Воплощение обобщенного представления о чужом в мотивировках слов и фразеологизмов предлагается обозначить термином “**ксеномотивация**” (соответственно процесс образования таких единиц – термином “**ксенономинация**”, а языковые единицы, возникшие в результате этого процесса, – термином “**ксенонимы**”).

Важнейшее свойство ксенонимов как элементов лексической системы состоит в том, что их **этнонимическая (топонимическая) основа подвержена варьированию**, которое нивелирует “адресность” ономастических основ, создавая номинативные парадоксы. К примеру, настроившись “вычитывать” из ономастической внутренней формы фитони-

мов указание на родину (типичное место произрастания) растения, носитель языка может быть озадачен следующим рядом обозначений крыжовника (*Ribes grossularia*) в болгарском языке: *влашко грозде*, *нѣмско грозде*, *руско грозде*, *татарско грозде*, *френско грозде*, *Цариградско грозде* [Ахтаров: 262]; ср. также [Геров – Панчев: 317]. Появление этого ряда объясняется тем, что наименования фиксируют не “культурный адрес” крыжовника, а восприятие его как “неправильного”, “испорченного” = “чужого” винограда.

Приведем еще примеры вариантных обозначений одной реалии: в белорусском Полесье пятница, считающаяся опасным днем, называется *татарская нэдэля*, *татарско свато* (“татарское воскресенье”, “татарский праздник”) или же *польска неделя* (“польское воскресенье”) [Толстая 2005: 203]; в болгарских говорах улитка без раковины называется *турски дѣл’уф* (“турецкий слизень”) или *цигѣнски плѣжѣк* (“цыганский слизень”) [БД, 5: 47, 141]; птица камышовка-барсучок, чье пение напоминает трещание кузнечиков, в английских диалектах получает обозначения *Irish nightingale* (“ирландский соловей”) [EDD, III: 330] и *Scotch nightingale* (“шотландский соловей”) [EDD, V: 260], а дальнейшее снижение образа позволяет включить в этот ряд лягушку, которая называется *Dutch nightingale* (“голландский соловей”) [EDD, II: 217], и др. Такие параллели могут быть обнаружены и на межъязыковом уровне, ср. болг. *турчин-кукурчин* ‘наземное наземный клоп-солдатик’ [Геров 5: 383] = укр. *москаль* [Гринченко, 2: 447], русск. простореч. *еврейский ответ* ‘ответ в форме вопроса’ [ЛЗА: Москва, Одесса] = англ. *Scotch answer* (“шотландский ответ”) [НБАРС, 3: 162].

Варьирование проявляется достаточно широко, но это не означает, что выбор производящих основ при ксенономинии не подчиняется каким-либо закономерностям. В рамках каждой локальной лингвокультурной традиции состав производящих основ, на базе которых создаются семантические дериваты, определен достаточно четко: эти основы содержат указания на территориальных соседей, противников в военных действиях, захватчиков и т.п. (к примеру, в английской языковой традиции наиболее активны дериваты от этнонимов “шотландец”, “ирландец”, “голландец”). Если набор основ предопределен, то в некотором смысле случайной является связь между значениями производящей основы и производного слова. Случайность в данном случае означает, что **разные производящие основы**, каждая из которых имеет свое конкретное (предельно конкретное – ономастическое!) значение, могут дать **одну и ту же производную мотивационную семантику**. Так, колючие растения родов *Carduus*, *Carex*, *Cirsium* и *Xanthium*, известные русским как *чертополох*, *репейник*, *осока*, получают разнообразные “инородческие” наименования, в основу которых в каждом языке положено обозначение “своего” чужака: русские выбирают на эту роль татарина, мордвина, еврея или вообще “басурманина” (русс. нижегор. *мордвинник*, нижегор. *царь-мордвин*, влг. *царь-мурат*, орл. *татарин*, симб. *бусурманская трава*, влг. *жидовское кресло* [Анненков: 84, 100]), сербы – турка (серб. *турек*, *турка* [Симоновић: 97]), болгары – черкеса (болг. *черкезки тръни* [Ахтаров: 544]), карелы – шведа или финна (карел. *ruočihiein’ ä* (“шведская (финская) трава”) [СКЯ-Пунжина: 244]), финны – саама (фин. *lapinsara* (“саамская осока”) [ФРС: 312]). Конкретные этнические особенности в данном случае не подвергаются номинативной обработке, а основой для семантической деривации становятся признаки “опасный”, “вредный”, “неприятный”.

Однако далеко не всегда индивидуальные свойства реалии, стоящей за производящим словом, нивелируются в процессе ксенономинии. Нередко они используются в номинативном акте, становясь как бы субстратом, на который накладывается ксеноконнотация. Например, польский фразеологизм *żydowskie morze* ‘песчаная дорога’ [Kałowicz, 6: 453], вероятно, отсылает к представлениям о скитаниях евреев по пустыне, но оксюморон, содержащийся в этом выражении и эксплицирующий идею аномального, “перевернутого”, а также наличие “цыганской” номинативной параллели (польск. *cygańskie błoto* ‘глубокие пески’ [SW, 1: 358], *cygańska woda* ‘глубокие и рыхлые пески, песчаная почва’ («В деревне при обилии воды цыганской (песка) недостаток воды “натуральной”»)) [SGP, IV / 3: 580]) заставляет думать о наложении на “реальную” мотивировку ксеномотивации.

Очевидно, есть смысл говорить о своеобразной шкале, на которой могут быть помещены языковые факты, образованные от названий чужих народов или земель. На одном полюсе этой шкалы будут расположены характеризующие номинации, имеющие под собой реальное основание – объективное или субъективно-преломленное, на другом – оценочно-нейтрализующие (т.е. факты ксенономинаций). “Крайних” случаев в функционирующей языковой стихии не так много; основная масса языковых единиц расположена внутри шкалы, на разном смысловом расстоянии от ее полюсов.

По своей **структуре** ксенонимы разнообразны, назовем лишь самые частотные типы. Среди ксенонимов встречаются **однословные семантические дериваты**: русск. астрах. *немец* ‘мешок с песком, землей и т.п., используемый как балласт на некоторых лодках’ [СРНГ, 21: 78], пск. *омазуриться* ‘стать бесчестным человеком, мошенником’ [СРНГ, 23: 196], укр. *жидики* ‘растение *Bidens*, череда’ [ГГ: 70], блр. *цыгань* ‘кожаные лапти’ [СПЗБ, 5: 369], польск. *szwabić* ‘красть’ [SW, VI: 690], англ. *chinaman* (“китаец”) ‘крученный мяч, брошенный левой рукой, в крикете’ [НБАРС, 1: 364] и т.п.

Наиболее “развернутый” структурный тип – **предикативные фразеологические сочетания**: русск. пск. *литва пошла* ‘о начале брани, склоки’ [СПП: 49], кашуб. *švežě meljo krěpě [na žarnaχ]* (“шведы крупу мелют”) ‘идет мелкий сухой снег’ [Syhta, V: 311], англ. *I’m a Dutchman, if I do!* (“я голландец, если...”) ‘провалиться мне на этом месте, если...’ [Мюллер: 229].

Самыми распространенными можно считать **двусловные атрибутивные конструкции**, между компонентами которых – в зависимости от их роли в создании идиоматического смысла всего выражения – устанавливаются **разные типы отношений** (при этом “нулевой” тип – сочетания, в которых определение и определяемое слово прочитываются в их прямом значении, и идиоматичность, равно как и ксеномотивация, практически отсутствует, ср. русск. *ирландский сеттер*, *французский хлеб*, англ. *Russian doll* (“русская кукла”) ‘матрешка’ и др.).

Первый тип – **сочетания с сильным атрибутивным компонентом**, за счет которого происходит модификация смысла всего сочетания. Ср. примеры вроде русск. костр. *татарская ива* ‘ива, с которой не дерется кора’ [ЛК ТЭ], укр. *жидівська курка* ‘куропатка’ [Аркушин, 1: 155], англ. *Chinaman’s chance* (“китайский шанс”) ‘весьма слабый, ничтожный шанс на успех, заработок и т.п.’ [НБАРС, 1: 364], нем. *Tatarennachricht* (“татарское известие”) ‘страшное известие, ужасы’ [БНРС, II: 422] и др., в которых опорное слово читается в прямом смысле, а определение в переносном: ива – но особая (“татарская” = не идущая “в дело”).

Второй тип – **сочетания с сильным определяемым словом**, создающим номинативный парадокс (в то время как определение не содержит смыслового сдвига или же он минимален): русск. орл. *сибирский ананас* ‘ягодный кустарник облепиха’ [СОГ, 13: 113], сиб. *сибирская роза* ‘крапива’ [ФСРГС: 121], ср.-урал. *уральский виноград* ‘крыжовник’ [ЛЗА], польск. *ruska narkoza* (“русский наркоз”) ‘резиновая дубинка’, ‘оглушение кого-л. чем-л.’, *ruskie perfumy* (“русская парфюмерия”) ‘газамет’ [Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002: 114] etc. Здесь ограничены возможности варьирования производящей основы и ксеномотивационный компонент почти не ощутим, но все же он присутствует, поскольку за языковыми фактами стоят пропозиции такого рода: «в Сибири не растут ананасы, зато есть облепиха, которую можно считать “странным”, т.е. сибирским, ананасом».

Третий тип – сочетания, где **оба компонента содержат смысловой сдвиг**, русск. олон. *жидовские яблоки*, *жидовские яйца* ‘растения из пасленовых: первое из них с красными плодами, сходными с помидорами, второе с белыми плодами, и формой, и величиной напоминающими куриное яйцо’ [Куликовский: 23], херс. *жидовская корова* ‘коза’ [Дальз, I: 1346], болг. *циганско мляко* ‘род водки’ [ФРБЕ, 2: 498], *влашки ябълки* (“румынские яблоки”) ‘растение колючник, *Carlina acanthifolia*’ [Ахтаров: 344], словац. *cigánski zub* ‘зуб бороны’ [SSN, I: 210], ср. также англ. *Irish hurricane* (“ирландский ураган”) ‘полный штиль’ [Partridge: 600] etc. Элементы таких оксюморонных сочетаний подыгрывают

друг другу: водка превращается в молоко, если она “цыганская”; если можно назвать козу коровой, то “еврейской” и др.

От этих трех случаев следует отличать четвертый, когда в ходе семантической деривации отношения между компонентами фразеологизма не изменяются (как правило, это означает появление переносного значения у закрепленного уже в системе языка идиоматического сочетания): русск. костр. *французские тени* ‘синяк под глазом’ [ЛК ТЭ], польск. *egipskie baranki* (“египетские барашки”) ‘блохи’ [Komenda: 17], англ. *Russian bear* (“русский медведь”) ‘коктейль из водки, ликера-какао и сливок’ [НБАРС, 3: 128], нем. *Judenbart* (“еврейская борода”) ‘камнеломка ползучая, *Saxifraga sarmentosa* L.’ [БНРС, 1: 684].

Ксеномотивация (ксенономинация) представлена в различных тематических сферах языка. При этом закономерности “комплектации” сфер, осуществляемой языком, просматриваются вполне определенно и являются гораздо более жесткими, чем, к примеру, в системе нейтральных (“объективных”) дериватов от названий чужих народов и земель (типа *кашемир* или *ирландский сеттер*). В последнем случае языковая система “фотографирует” весь диапазон культурных контактов между народами, т.е. отражает внеязыковые условия и обстоятельства (которые, как известно, являются “рыхлыми” и труднопредсказуемыми), в то время как при ксеномотивации выбор тематических сфер в большей степени направляется внутриязыковыми предпочтениями, логикой языковой экспрессии, особенностями номинативной разработки признаков “аномальный”, “странный”, “неправильный” и др. (поэтому сам спектр тематических сфер относительно неширок).

Чтобы выявить языковые предпочтения, о которых идет речь, приведем перечень наиболее репрезентативных тематических сфер, в каждой из которых представим развернутые (но, разумеется, отнюдь не исчерпывающие) иллюстративные ряды. Следует отметить, что языковой материал собран весьма неравномерно: основу его составляют данные русского языка – преимущественно диалектов, в меньшей степени – жаргонов и просторечия, которые дополнены фактами других славянских языков (в первую очередь, диалектными). Иногда приводятся параллели из германских и романских языков (большей частью английские), спорадически – данные финно-угорских языков. Думается, что для решения наших задач такая неоднородность извинительна: нам важно доказать сам факт существования модели. Есть и достаточно веские субъективные причины, оправдывающие “отрывочность” материала: лексикографы по понятным соображениям “политкорректности” (особенно в советское время) нередко не включали ксенонимы в словари, что мешает системному осмыслению ксенонимии. Несмотря на все это, материал достаточно объемный. Для его ограничения в настоящей статье анализируются только те ксенонимы, которые имеют негативные коннотации; ксенонимии с мелиоративными коннотациями встречаются значительно реже, охватывают меньшее количество тематических групп (в основном они сконцентрированы в группе “АРТЕ-ФАКТЫ”), – поэтому есть смысл описать их отдельно, в другом месте.

ПРИРОДА

Небесные светила. Ксеномотивация затрагивает обозначения ночных светил – луны (месяца) и созвездий.

В славянской народной традиции луна воспринимается как “неправильное” солнце, “испорченный двойник” солнца: русск. сарат. *мордовское солнышко, мордовская копечка* ‘о луне’ [СРНГ, 18: 260], влг. *казанское солнышко* ‘о месяце во время осенней жатвы’ [СРНГ, 12: 310], краснодар. *цыганское солнце* ‘луна’ [КСРНГ], укр. *циганське сонце* ‘месяц’ [ФСУМ, 2: 843]; ср. также англ. сленг. *Paddy’s lantern* (“светильник Пэдди-ирландца”) ‘луна’ [Partridge: 848].

Так же, как луна составляет пару к солнцу, некоторые созвездия могут составлять пару к другим – более крупным, ясно видимым. К примеру, Кассиопея, Малая Медведица или Плеяды трактуются как “сниженный двойник” Большой Медведицы – самого ярко-

го и четко различимого объекта звездного неба для народов северного полушария: русск. поволож., севернорус., урал., сиб. *Лось* ‘Большая Медведица’ [СРНГ, 17: 155] – арх. *Остяцкая Лось* ‘созвездие Кассиопея’ [СРНГ, 24: 95], печор. *Немецкий Лось* ‘созвездие Плеяды’ [СРГНП, 1: 475]; финское название Большой Медведицы – *Otava* (*Suomen Otava* ‘финская Большая Медведица’) входит в оппозицию с астроными *Ryssän Otava*, *Venäjäin Otava* (“русская Большая Медведица”) ‘Кассиопея’ [Рут 1988: 86], *Lapin Otava* (“саамская Большая Медведица”) ‘Малая Медведица’ [ФРС: 428], *Ruotsin Otava* (“шведская Большая Медведица”) ‘то же’ [SKES: 442].

Погодные явления. При обозначении погодных явлений ведущими становятся признаки “аномальный”, “дивовинный, странный”, при этом в первую очередь ксеномотивация затрагивает обозначения необычных, “феноменальных” природных явлений. Это **грибной дождь**: арх. *чуди задавились, чудь удавилась* [КСГРС], блр. *цыганьскі дож* [СПЗБ, 5: 369], *жыдоўскі дождж* [Кондратенко 2000: 101], укр. *цыганське весілля* (“цыганская свадьба”) [Кондратенко 2000: 101], с.-хорв. *жени се Циганин, родило се Циганче, Цигани се j..., рађају се Цигани* [Толстой 1997: 205], болг. *кога на една страна дъжди, а на другата греє слънце, се женели египците (цыгани)* [Азим-Заде 1979: 155–156]; **радуга (двойная радуга)**: укр. *цыганска райдуга* ‘двойная радуга’ [Кондратенко 2000: 101], *жэдиўска весніўка* ‘о темной полосе в радуге’ [Белова 2004: 144]; **воробьиная ночь** (грозовая ночь с молниями, но без грома): русск. влг. *чухари² пляшут* ‘о грозе без грома’ [КСГРС]); **движение туч, облаков**: польск. *cygany (cygani) idą (jadą)* ‘о надвигающихся грозовых тучах’ [SGP, IV / 3: 577], н.-луж. *budycharé se smeju* (“жители Будышина смеются”) ‘прояснение неба’ [Кондратенко 2000: 101]; ср. англ. *Dutchman's breeches* (“бриджи голландца”) ‘(в речи моряков) кусок голубого неба в разрыве туч, просвет в тучах’ [НБАРС, 1: 634]; **сильный холод, мороз**: русск. арх. *цыганский жар* ‘трескучий мороз’ [СРНГ, 9: 72], укр. *цыганське тепло* ‘низкая температура, мороз’ [ФСУМ, 2: 880], чеш. *tatarský mráz* ‘сильный мороз’, *tatarská zima* ‘очень холодная зима’ [PSJČ, VI: 47], чеш. *cikánský mraz* ‘сильный мороз’, *cikánská zima* ‘очень холодная зима (ее только цыган выдержит)’ [PSJČ, I: 253], чеш. *cigánská rosa* ‘сильный мороз’, ‘утренний или вечерний заморозок осенью или весной’ [Кондратенко 2000: 101]; **оттепель, необычно теплая погода (в том числе бабье лето)**: русск. влг. *цыганская зима* ‘теплая малоснежная зима’ [КСГРС], блр. *цыганьско сонціце* ‘о пригревающем февральском солнце’ [БД ПА: Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл.], болг. *цыганско лято* ‘последние теплые дни в сентябре, которые обычно наступают после Димитрова дня’ [ФРБЕ, 2: 498], макед. *цыганско лето* ‘последние теплые дни осени’ [РМЕ, III: 515], серб. *цыганско лето* ‘период времени в 12 дней после Димитрова дня’ [Јовановић: 668]; ср. англ. *Indian summer* ‘бабье лето’ [НБАРС, 2: 228], нем. *Indianersommer* ‘то же’ [Komenda: 53]; **туман**: русск. костр. *вятский баню топят, вятский дымок* ‘о тумане’ [ЛК ТЭ], укр. *волян*. [у нас кажутъ.] *туман цыгань напускають* [БД ПА: Щедрогор Ратновск. р-на Волынк. обл.]; ср. также англ. *Scotch dew / drizzle* (“шотландская роса / изморось”) ‘туман’ [EDD, V: 260]; **осадки**: блр. *цыгански дождь* ‘дождь со снегом’ [БД ПА: Стодоличи Лельчицк. р-на Гомельск. обл.], чеш. *cigánská rosa* ‘иней’, болг. *цыгански сняг* ‘первый снег’ [Кондратенко 2000: 101], серб.-хорв. *цїгани, цїганчићи* ‘мелкий град, снежная крупа’ [РСХКJ, 6: 791], кашуб. *švejďé jadu* (“шведы едут”) ‘собирается дождь’, *švejźe skubō gąsē* (“шведы гусей щиплют”) ‘снег падает крупными хлопьями’ [Sychta, V: 311]; **ветер**: русск. ср.-урал. *пермяки поехали* ‘о ветре, несущем дождь’ [ЛЗА], арх. *зыряк, зыряк-дурак* (*Зыряк нехороший ветер, он хуже севера; Зыряк-дурак, перестань!*) [КСГРС]³, болг. *цыгански ветар* ‘северо-западный ветер’ [Кондратенко 2000: 101].

Фауна. Из всех названий представителей животного мира наиболее восприимчивыми к образам инородцев оказываются обозначения **НАСЕКОМЫХ**. Эти образы объединены

² Ср. арх., влг. *чухари (чухарики)* ‘ироничное название вепсов’ [КСГРС].

³ Ср. арх., влг. *зыряк* ‘зырянин, житель республики Коми’ [КСГРС].

признаками “нежданного появления (= вторжения)” (основанном на “колониальном” способе передвижения насекомых), “появления во множестве”, “вредоносности”.

Самая яркая модель – **тараканья** (номинации подвергается чаще всего рыжий таракан *Blattella germanica*, реже – черный *Blatta orientalis*): русск. лит. *прусак*, арх. *немец*, *француз*, *чудак* (< *чудь*), влг. *пошехон*⁴, *русский таракан* [КСГРС], пск. *киргиз* [СРНГ, 13: 219], влг., калин. *прусок* [СРНГ, 35: 267], влг. *цыгане* [Даль², IV: 575], русск. пск. *швед* [Опыт: 264], укр. *прус(ак)*, *шваб*, *швед*, *жидочок*, *козак* [Дзендзелівський: 241], блр. *прус*, *прусок* [ЭСБМ, 10: 47], польск. *prusak*, *persak*, *francuz* [SW, I: 771], кашуб. *francuz* [Suchta, I: 286], чеш. *šváb*, *rus* [PSJČ, V: 1024; IV / 2:1075], серб.-хорв. *бубаишваба*, *рус* [РС-ХКJ, I: 292; 5: 586], словен. *rús* [Snoj: 634]; ср. также нем. *Franzose*, *Russe* [Komenda: 42, 81], нем. *Schwabe*, итал. диал. *sciavo* (“славянин”) [Kluge: 829], франц. *allemand* (“немец”) [Winkler: 332], фин. *ruotsintorakka* (“шведский таракан”) [НБРФинС: 1341], венг. *sváb-bogár* [ВРС: 1130] и др. Несмотря на возможность взаимодействия народной языковой традиции с научной номенклатурой (ср. номенклатурные определения *germanica* и *orientalis*, которые, очевидно, способствуют распространению модели), а также проявление фактора народной этимологии (образ шваба в немецком языке мог возникнуть при переосмыслении *Schabe* ‘таракан’ [Kluge: 788], форма *прусок* в русском – при игровой трансформации формы *прусок* и т.п.), широта и разнообразие модели не позволяют усомниться в ее “ксеномотивационной” природе.

Открыты для образов инородцев наименования других вредоносных насекомых, в том числе **вредителей посевов**: русск. нврс. *прус* ‘кобылка, нередко поедающая хлеб’ [Даль², III: 529], влг. *швед* ‘насекомое-вредитель’ [КСГРС], блр. *жмодзь* ‘саранча’ (< ‘литовец’) [ЭСБМ, 3: 231], блр., укр. *швед* ‘насекомое отряда жуков, личинки которого точат дерево’ [ЖС: 95; Аркушин, 2: 260], польск. *szwedka* ‘*Oscinella frit*, муха из породы Chloropidae, вредитель зерновых’ [SJP-Dor, 8: 1210], а также разного рода **паразитов, кусающих насекомых** и т.п.: русск. карел. *американец* ‘слепень’ [СРГК, 1: 19], блр. *нимцы* ‘маленькие серые оводы’ – *австрийцы* ‘зеленые оводы’ [БД ПА: Олтуш Малоритск. р-на Брестск. обл.], укр. *жидок* ‘насекомое *Nargalus ruficornis*; муравей маленькой породы, светлый, водящийся в домах’ [Гринченко, 1: 483], *шваб* ‘насекомое *Scarabus scheidleri*’ [Гринченко, 4: 488], *татарка* ‘божья коровка’ [Дзендзелівський: 238], чеш. *němci* ‘муравьи, обитающие в траве’ [Kott (př.1): 184], словац. *francúz* ‘вид жуков’ [SSN, I: 459]; ср. англ. (амер.) *Okie* (“уроженец Оклахомы”) ‘ушной паразит’, англ. *Scotchmen* ‘вши’, порт. *inglês* ‘клоп’, итал. *francese*, *spagnolo* ‘вошь’ [Winkler 1994: 332] etc.

Что касается образов **птиц**, то здесь используются признаки “появляющийся издалека”, “появляющийся во множестве”, “непонятно говорящий”, “вредящий”. Самые “подходящие” для образов инородцев птицы – воробей и угод. **Воробей** может быть мотивационно приравнен к саранче (правда, значим еще звуковой признак, интерпретируемый как непонятная, чужая речь): русск. новг., тамб., курск., куйб. *жид* [СРНГ, 9: 168], польск. *tazurek*, *zydek* [SW, VIII: 732], укр. *жид*, *жидок* [Аркушин, 1: 155], блр. *мазурак*, *жыд*, *жыдок*, *жыдзюк* [ЖС: 41]. **Угод** тоже собирает большое количество разнообразных инородческих образов: русск. нвсиб. *татарский петушок* [СРГНО: 533], укр. *нимец* [БД ПА: Любязь Любешовск. р-на Волынк. обл.], *вудвуд жидовскі*, блр. *еврейска зозуля*, *московська зозуля*, польск. *zydowska zazula* и др. [Гура 1997: 599–600], болг. *циганско петля*, *черкез* [Геров 5: 524]. “Инородческие” образы хорошо приспособлены для передачи следующих черт образа удода: “перелетная птица, прилетающая из жарких стран”, “издает глухой крик”, “имеет необычный вид”; дополнительный “индивидуализирующий” момент – признак резкого неприятного запаха мяса этой птицы (ср. устойчиво фиксируемое в народной культуре представление о неприятном запахе многих инородцев [Белова 2005: 58–61; СД, 2: 269]). Ср. также некоторые другие птицы об-

⁴ “Инородческое” происхождение данного наименования подтверждается широкой распространенностью на Вологодчине представлений об отсталости пошехонов (жителей бассейна р. Шексна), ср. *Пошехоны такой народ зовут – ни туды, ни суды – нукудышный* [КСГРС].

разы, мотивационно сходные с представленными выше: русск. *чухонский попугай* ‘птица клест, с перекрещенным клювом, *Loxia curvirosta*’ [Даль₂, IV: 616], дон. *панская сорочка* ‘маленькая птица семейства вороновых’ [СРНГ, 25: 198], новг. *киевская ведьма* ‘сорока’ [СРНГ, 13: 201], влг. *татарка-воронка* ‘порода птиц’ [КСГРС], укр. *жидівочка* ‘птица синюк’ [Гринченко, 1: 483], блр. *жыдоўски голубь* ‘дикий голубь’ [БД ПА: Вышевичи Радомышльск. р-на Житомирск. обл.], болг. *турче* ‘шегол’ [Гура 1997: 743], *цїганчица* ‘маленькая коричневая птичка, похожая на воробья’ [БД, 5: 216] и т.п.

Среди названий *рыб* и *пресмыкающихся* ксеномотивация используется преимущественно для обозначения *мелкой рыбы* с невысокой промысловой ценностью, **мальков**: русск. арх. *лопарь* ‘малек леща’, *лопарёк* ‘головастик’ [КСГРС], твер. *жидолка* ‘рыба *Bositis taenia*; щиповка, голец, подкаменщик’ [СРНГ, 9: 170], укр. *цыганська риба* ‘головастик’ [Гринченко, 4: 428], болг. *цыганскы рыбы* ‘головастики’ [Геров, 5: 524], слвц. *sigánska gerka* ‘головастик’ [SSN, I: 210], блр. *цыганка* ‘плотва’ [ТС, 5: 280], *жыдок* ‘рыба верховодка’ [ЖС: 68], болг. *цыганчица* ‘рыба *Gobio fluviatilis*, пескарь’ [Геров, 5: 524].

Растения. В данной сфере наиболее актуален признак “дикий”, причем чаще всего дикое растение оказывается “сниженным двойником” культурного. К примеру, несколько таких “двойников” обнаруживается у льна: в русских говорах “культурному” льну противопоставлен *сибирский лен* ‘на месте, дикий, плоше сеяного’ [Даль₂, IV: 180]; в украинском языке ‘сорт льна, семя которого не вылущивается само собой’ называется *москаль* [Гринченко, 2: 447]; в английских диалектах для обозначения растения *Camelina sativa* (‘рыжик посевной – масляная культура, которая нередко засоряет посевы льна’) используется фитоним *Dutch flax* (“голландский лен”) [EDD, II: 217]. Ср. также примеры других “двойников”: {малина} – *малина калмыцкая* ‘степная; бирючие ягоды’ [Даль₂, II: 292], {капуста} – *капуста татарская, бакирская* ‘кислец, растение *Polygonum polygonum* (употребляется как щавель)’ [Анненков: 265], {шпинат} – болг. *влашки спанакъ* (“румынский шпинат”) ‘дикий шпинат, *Chenopodium bonus*’ [Ахтаров: 344] и т.п.

Еще один вариант ксеномотивации такого рода состоит в том, что образ инородца как бы приписывает растению “суррогатные” свойства, т.е. указывает на возможность использования растения для приготовления ненастоящего мыла, чая, кофе и др. Так, растение *Saponaia officinalis*, содержащее сапонин (который при растворении в воде дает обильную пену), называется в русском языке *татарское мыло, шведка, арапка* [Анненков: 315–316], влг. *цыганское мыло* [КСГРС]; ср. названия других растений со сходными свойствами: русск. тамб. *калмыцкое мыло* ‘растение *Lychnis viscaria* L., смолка’ [Анненков: 201], словац. *sigáňske midlo* (“цыганское мыло”) ‘растение грыжник, *Nemifia hirsuta*’ [SSN, I: 210].

В ряде случаев ксенонимы используются для обозначения новых, необычных, “диких” растений, к которым поначалу относятся настороженно. Характерны, к примеру, названия **помидора** (*Lycopersicon esculentum*): русск. липец., ворон. *заморское яблочко* [СРНГ, 10: 257], дон. *цыганки* (*Цыганков насажала фсяких разных сартоф*) [БТДК: 567], болг. *френскы патлжджане* (“французские баклажаны”) [Геров, 5: 475], ср. также англ. *Irish lemons* (“ирландские лимоны”) [EDD, III: 330], *Jew’s ears* (“еврейские уши”) [EDD, III: 361].

Негативные коннотации могут быть усилены при актуализации признака “вредный”. Ср. примеры названий **ядовитых растений**: русск. *китайские бобы* ‘растение *Struchnos Ignatia*, ядовитое аптечное зелье’ [Даль₂, I: 101], русск. *вишня жидовская, яблоко жидовское*, укр. *груши жидівські*, нем. *Judendeckel* ‘растение *Physalis Alkekengi*, имеющее ядовитые плоды’ [Анненков: 250–251], русск. пск. *заграничное вишенье* ‘то же’ [ПОС, 10: 234], чеш. *židovská třešň* ‘то же’ [PSJČ, VIII: 1043]; **несъедобных** (или считающихся несъедобными) **грибов**: русск. ср.-урал. *татарик* ‘несъедобный гриб’ [СРГСУ, 6: 90], тамб. *чужак* ‘несъедобный гриб’ [Губарева: 62], арх. *цыганский дым*, влг. *цыганский табак* ‘гриб-дождевик’ [КСГРС], одесск. *цыганские грибы* ‘ядовитые грибы’ [СРГО, 2: 269], укр. *жидки* ‘гриб *Agaricus vernalis*’ [Гринченко, 1: 483], чеш. *žid* ‘несъедобный гриб вообще, поганка’ [PSJČ, VIII: 1040]; **растений с резким или опьяняющим запахом**: укр.

жидівські лехехи, татарське зілля ‘аир’ [Гринченко, 1: 483; 4: 429], блр. *татарнік* ‘то же’ [ТС, 5: 136], польск. *tatarski korzeń, tatarak*, чеш. *tatarak* ‘то же’ [Анненков: 8], польск. *żydówka* ‘красавка, белладонна, сонная одурь’ [SW, VIII: 733], болг. *турско цвете* ‘растение Spiraea Ulmaria, таволга болотная’ [Геров, 5: 382], болг. *влашки лукъ* (“румынский лук”) ‘чеснок’ [Ахтаров: 344], чеш. *židovská vanilka* ‘то же’ [SSJČ, IV: 918], ср. также англ. *Italian perfume* (“итальянская парфюмерия”) ‘то же’ [Winkler: 334] и др.

АРТЕФАКТЫ

В данной группе общая пейоративная семантика уточняется как “некачественный” – с дальнейшей конкретизацией.

Переработка сырья, материалов. Здесь признак “некачественный” трансформируется в признаки “бесполезный, ненужный” (с возможным развитием далее в двух различных направлениях: “лишний” или, наоборот, “отсутствующий”) и “суррогатный”. Признак бесполезности реализуют обозначения **остатков, отходов, побочных продуктов переработки**: русск. влг. *французы* ‘отходы при молотье, непригодные в корм (с крупной остью)’ [КСГРС], влг. *хранцузики* ‘подгоревшие при жарке вытопки от сала’ (*Хранцузики горелые на сковородке*) [КСГРС], влг. *пошехоны спрятались* ‘о хлебе со вздувшейся коркой’ [КСГРС], укр. *цигани* ‘подгорелые коржи’ [Аркушин, 2: 240], швед. ‘шкварка’ [Аркушин, 2: 260], блр. *швэді, швэды* ‘шкварки’ [ДСБ: 260], польск. *szwedy* ‘шперки, крупные шкварки от сала’ [SW, VI: 693], чеш. *žid* ‘остаток (железа) при плавке, шлак’ [PSJČ, VIII: 1040], слов. *cigánská blcha* ‘отходы стали при изготовлении ножей’ [SSN, I: 210]. Признак “суррогатности” представлен, к примеру, в названиях металлов – и в первую очередь в обозначениях разного рода **сплавов**, которые являются **имитацией благородных металлов**: русск. *французское золото* ‘самое плохое, низкопробное’ [Даль, IV: 538], *американское золото* ‘томпак: сорт латуни, представляющий собой сплав меди с цинком’ [Айрапетян 2001: 289], *еврейское золото* ‘сплав, имитирующий золото’ [Борхвальдт 2000: 401], польск. *złoto żydowskie* ‘соединение серы и олова, используемое для покрытия бронзой, “золото” для мозаичных работ’ [SW, II: 1075], *chińskie srebro* ‘сплав цинка, меди и никеля’ [Komenda: 32], ср. также англ. *Dutch gold* (“голландское золото”) ‘сплав меди и цинка – дешевая имитация золотого покрытия’ [Мюллер: 229], *German silver* ‘нейзильбер (сплав меди с цинком и никелем)’, ‘мельхиор’ [НБАРС, 2: 24], *Gipsy gold* (“цыганское золото”) ‘отражение огня на посуде из драгоценных металлов’ [OED, VIII: 524], нидерл. *Russisch zilver* (“русское серебро”) ‘нейзильбер’ [Van Dale].

Признак “лишний” или “пропущенный” представлен в обозначениях разного рода **огрехов** (при севе, косье, тканье): русск. влг. *татаров оставить* ‘оставить огрехи при косье’, влг. *татары пришли* ‘об огрехах при косье’, влг. *чухарик* ‘брак на ткани – выделяющаяся полоска утка от ошибки ткачихи в переступании подножек ткацкого станка’ [КСГРС], укр. *жид* ‘пропущенное место во время сева вручную’, *жидок* ‘пропуск при косье’ [Аркушин, 1: 155], *жид* ‘пропуск при пахоте’ [ГТ: 70].

Устройства и приспособления. В этой группе ксенонимов преобладают признаки “примитивный, элементарный”, “импровизированный”. **Примитивные приспособления**, обозначаемые ксенонимами, обычно являются самодельными, кустарными: русск. влг. *татарская мельница* ‘ручная обдирочная мельница, крупорушка’ [КСГРС], ср.-урал. *пермские кораллы* “бусы” из ягод’ [ЛЗА], *цыганские кораллы* ‘продолговатые бусы коричневого цвета’ [СРГНО: 577], польск. *cyganiek* ‘вид лампы без стекла’ [SGP, IV / 3: 578], польск. *żydek* ‘маленькая жестяная лампа без стекла’ [SW, VIII: 732], чеш. *žid* ‘пуговица без дырок, обшитая тканью’ [PSJČ, VIII: 1040], русск. краснодар. *цыганка* ‘большая толстая игла; применяется для шорных работ, для штопки шерстяных изделий’ [КСРНГ], укр. *циганська голка* ‘большая толстая игла’ [Гринченко, 4: 429], серб.-хорв. *цигански клинци* ‘вид гвоздя, который используют кустарные кузнецы, а не фабричного производства’ [Елезовић, 2: 421], болг. *цигънски гъздий* ‘гвоздь, сделанный вручную, кованный гвоздь’ [БД, 7: 166], словац. *cigánski gvusc, cigánski klinec* ‘вид гвоздя с большой

головной’ [SSN, I: 209–210], болг. *цигънски дърък* (“цыганский гребень”) ‘самодельный гребень для обработки шерсти, пеньки и др.’, *цигънску ръшѣту* (“цыганское решето”) ‘жестяное сито с крупными отверстиями’ [БД, 7: 166]. Несмотря на то, что в “цыганских” наименованиях разного рода кованных изделий весьма значима культурная подоплека (на разных территориях славянского мира цыгане были кузнецами [СД, 3: 22], согласно славянским легендам, цыган (цыганка) спрятал гвоздь для распятия Христа [Белова 2004: 78–81]), по своим мотивационным особенностям они вписываются в ряд других инородческих наименований артефактов, что позволяет усматривать в этих названиях элемент ксеномотивации.

Следует привести также примеры названий **складных, легких в использовании устройств**: укр. *жидок, жидючок, циганик, циганок* ‘небольшой складной нож (как правило, самодельный)’ [Аркушин, 1: 155; 2: 240], блр. *цыганік* ‘перочинный ножик’ [ДСБ: 250], польск. *żydek, cyganek* ‘складной нож, перочинный ножик (в деревянной оправе)’ [SW, VIII: 732], *цыганка* ‘рычаг, связывающий подножку самопрялки с осью колеса’ [СРГА, 4: 203]; очевидно, сюда же влг. *кайбан*⁵ ‘складное приспособление для сушки белья, кож’ [КСГРС], карел. (русск.) *финский стол* ‘стол на боковых перекрещивающихся ножках’ [СРГК, 6: 684]; ср. также англ. *gipsy table* (“цыганский стол”) ‘легкий круглый стол, в основании которого находятся три скрещенные палки’, *gipsy winch* (“цыганская лебедка”) ‘небольшая лебедка, состоящая из барабана, храповика и собачки и прикрепляемая к столбу’ [OED, VII: 524].

Пицца. Здесь реализуются признаки “плохо обработанный”, “приготовленный на скорую руку”, “суррогатный”. Это в первую очередь “цыганские” и “татарские” наименования примитивных блюд из **картошки и мяса**: карел. (русск.) *татапка* ‘печеный картофель’ [СРГК, 6: 444], русск. нвсиб. *цыганка* ‘блюдо из вареного картофеля с конопляным маслом’ [СРГНО: 577], блр. *цыгані* ‘половинки неочищенной вареной картошки’ [СПЗБ, 5: 369]; русск. арх. *цыганские шти* ‘мясное блюдо типа холодца с большим количеством лука’ [КСГРС], словен. *tatarski biftek* (“татарский бифштек”) ‘измельченное сырое говяжье филе с приправами’, *ciganski golaž* (“цыганский гуляш”) ‘гуляш из двух сортов мяса, сала, картофеля и паприки’ [SSKJ, I: 250; V: 36], польск. *tatar, befsztyk tatarski* (“татарин”, “татарский бифштек”) ‘сырое измельченное мясо (говядина или конина) с приправами’ [SJP-Dor, 9: 68, 69], польск. *stek po cygańsku*, ср. нем. *Zigeunersteak, Zigeunerschnitzel* (“цыганский стейк, цыганский пницель”) ‘непанированный, жареный кусок свинины или телятины в соусе с паприкой, луком, помидорами и т.д.’ [Komenda: 105], нем. *Tatar* (“татарин”) ‘блюдо из нежирного мясного фарша (говядины или конины), смешанного с луком, яйцом, перцем и солью, которое едят сырым’ [Komenda: 94]. Ср. также русск. простореч. *рыба по-сибирски* ‘сырая рыба’ [ЛЗА: Екатеринбург], болг. *цыганска ведричка* ‘смесь разнородных продуктов’ [ФРБЕ, 2: 498], польск. *czerkieski* ‘о скупом или легком обеде’ [SW, 1: 384]; ср. англ. *Scotch coffee* (“шотландский кофе”) ‘горячая вода, приправленная жженым печеньем’ [Partridge: 1021].

ЧЕЛОВЕК

В сфере “**Человек физический**” наиболее активна лексика, обозначающая **болезни и неприятные физиологические состояния**. Они воспринимаются как неожиданно овладевшие человеком, вторгшиеся извне, вредоносные. Наиболее характерна группа названий **кожных болезней**, высыпаний на коже, прыщей etc.: русск. влг. *барин-татапин* ‘нарыв, чирей, прыщ’ [СГРС, 1: 64], забайк. *татап* ‘болезнь, вызывающая, подобно чесотке, сильный зуд’ [СРГЗ: 409], блр. *жид-жидовына* ‘обращение к лишаю в заговоре’ [ПЗ: 214, № 356] польск. *żydówka* ‘язва, короста’, ‘карбункул’, ‘сибирская язва’ [SW, VIII: 733], кашуб. *vějesc žėdowi skvarki z patelni* (“съесть еврейские шкварки со сковородки”) ‘о человеке с гнойником на губе’ [Sychta, V: 68], чеш. *žid* ‘чирей, карбункул’ [PSJČ, VIII:

⁵ Ср. влг. *кайбан* ‘насмешливое название вепсов’ [КСГРС].

1040]. Особенно выделяются **сифилитические язвы** – и вообще **сифилис**, который в активном сознании носителей русского языка может иметь немецкое, татарское и французское “происхождение”: русск. сиб. *немцы* ‘о сифилитических язвах на коже’ (*Уж эти немцы, чуть только один съедет, глядишь уж их десяток*) [СРНГ, 21: 78], вятг. *татарская оспа* ‘сифилис’ [Попов: 346], простореч. *французская болезнь* ‘сифилис’ [Даль₂, IV: 538], жарг. *парижский, французский насморк* ‘гонорея, или триппер’ [БРЭР: 359], карел. (русс.) *фрянка* ‘нарыв, фурункул’ (*Никак сбуть не могу фрянки, от англичанов стали*) [СРГК, 6: 691], юж. влг. *хранц(ы)и, франец* ‘французская болезнь’ [Даль₂, IV: 564]. В других европейских языках преобладает версия о французском “происхождении” сифилиса, но, по законам ксеномотивации, указываются и другие варианты (приведем только их): польск. *łatanie włoskie* (“болезнь итальянская”) [SW, I: 771; VII: 657], нем. *Spanische Krankheit* (“испанская болезнь”), англ. (амер.) *Irish button* (“ирландская пуговица”), *Spanish pox* (“испанский сифилис”), франц. *mal d’Espagne, mal florentin, les prussiens*, порт. *mal de Castilla* [Winkler: 331] и мн. др.

Помимо кожных и венерических болезней, образы чужих земель используются в наименованиях **простудной лихорадки**, которая воспринимается как занесенная издалека, “надутая” чужими ветрами, ср.: русск. костр. *германское поветерье, сибирский ветер* [ЛК ТЭ], арх. *норвега* [КСГРС], русск. кубан., укр. *жидовка* ‘лихорадка, нападающая ночью’ [Белова 2005: 61]; в названиях заболеваний и состояний, которые сопровождаются **выделением крови**: русск. перм. *вятские приехали* ‘шутл. о menses’ [СПГ, 1: 154], жарг. *сестра из Краснодара приехала* ‘то же’ [ЛЗА: Екатеринбург], польск. *żydowska nietos* ‘геморрой’ [SW, VIII: 733] или **мочи**: чеш. *nětecká netos* ‘недержание мочи’ [Kott (př.1): 184]; в обозначениях неприятных физиологических состояний, которые не имеют видимой причины, но сопровождаются ощущением угнетения – **дремоты**: русск. ворон. *калмык на шею сел* ‘дремлет, хочется спать’ [СРНГ 12: 363], влг. *калмык на шее сидит* ‘о человеке, который хочет спать’ [КСГРС], польск. *żyda wozic, żyda bic* ‘дремля, “клевать носом”’ [SW, VIII: 732]; **головокружения**: русск. перм. *татапа (молотят) в голове* ‘о состоянии головокружения от усталости’ [Прокошева: 98], **чувства голода**: русск. костр. *немцы молотят / играют в брюхе* ‘о чувстве голода’ [ЛК ТЭ], словац. *cigáni mi v bruchu vyhrávajú (klince kuji)* (“цыгане у меня в брюхе играют / гвозди куют”) ‘о чувстве голода’ [SSJ, I: 169], *cigánska kapela* ‘о бурчании в животе от голода’ [HSSJ, 1: 185]; **дрожь, озноба**: русск. влг. *чухарики пошли* ‘о мурашках по коже’ [КСГРС], русск. простореч. (устар.) *цыганский пот (пробирает, прошибает, пронимает)* ‘озноб, дрожь от холода, ощущение холода’ [ССРЛЯ, 10: 1584], укр. *циганський ніт* ‘дрожь’ [Гринченко, 4: 429], польск. *сугаńskie poty* ‘холодно, знобит’ [SGP, IV / 3: 580]; **чихания**: русск. влг. *цыган народился* ‘говорится при чихании’ [КСГРС], **щекотки**: кашуб. *tes żęda v kolańe* (“иметь жиды в колене”) ‘реагировать на щекотку’ [Sychta, VI: 296] etc.

Смежным по отношению к образу болезни, инициированной инородцами, является образ болезни и неприятных физиологических состояний как дальней поездки: русск. арх. *вернуться с Питера* ‘выздороветь’ [КСГРС], польск. *z Krakowa wróciła* ‘перенесла болезнь’ [SW, 2: 526].

Этот мотив объединяет образную фактуру наименований болезни с представлениями о **родах, рождении и смерти**. Ср. лексику, связанную с **родами**: русск. влг. *до Сибири съездить* ‘родить’ [КСГРС], тюмен. *до Москвы съездить* ‘родить’ [Лютикова: 39], польск. *rojechać do Krakowa* ‘рожать, произвести на свет ребенка’ [SW, II: 526], блр. у *Крычаў паехала* ‘говорят шуточно о женщине, болезнующей родами, под словом Кричев разумея крик от болей при родах’ [СБП: 19]. Если роженица трактуется как уехавшая в дальние края, то новорожденный – как приехавший оттуда: русск. карел. *лõпка (лõпень)*⁶ *наехала* ‘ребенок родился’ [СРГК, 3: 148]; ср. также обозначения некрещенных детей как инородцев (иноверцев): русск. карел. *лõпень, лõпка* [СРГК, 3: 148], простореч.

⁶ Ср. карел. (русс.) *лопка* ‘название женщины народа саами’, *лопин* ‘саам’ [СРГК, 3: 148].

цыганка [ССРГ: 533], польск. *zyd* [SW, VIII: 732], болг. *еврейче* [РБЕ, IV: 611], серб. *турче, бугарче, влашиче, циганчица* [СД, 2: 86] и др.

Симметрично по отношению к образу рождения разворачивается образ **смерти**, иронично представляемой как отъезд в теплые или богатые края: русск. жарг. (шутл.) *отправить в Сочи кого-л.* ‘убить кого-л.’ [БСЖ: 557], жарг. *уехать в Ташкент* ‘умереть’ [ЛЗА: Екатеринбург]; ср. также топоним *Московская Тропинка*, обозначающий тропу, которая ведет на кладбище (*Многие у нас мечтали в большой город поехать. Да не вышло. Все уж поумирали. А после смерти пусть им будет большой город*) [ТЭ: Митино Бабушкинск. р-на Вологодск. обл.].

Заканчивая краткий обзор лексики из сферы “**Человек физический**”, укажем, что ксенонимы могут использоваться также для обозначения некоторых **частей тела** – тех, что особенно **уязвимы к внешним воздействиям**, ударам и т.п.: русск. арх. *зырянская косточка* ‘одна из костей лодыжки, удар по которой является особенно болезненным’ [КСГРС], слова, *ciġánská žiŷa* ‘сухожилие под пяткой’ [SSN, I: 210], франц. *le petit juif* (‘маленький еврей’) ‘чувствительное место на локте’ [Robert, 5: 853], ср. русск. простореч. *жида убить* ‘сильно удариться локтем’ [ЛЗА: Москва], польск. *żida obucić* (‘жида разбудить’) ‘споткнуться о камень’ [SK, III: 140].

Что касается сферы “**Человек социальный**”, то она является, несомненно, самой обширной. Здесь представлены в первую очередь обозначения тех **черт характера, особенностей интеллектуального, культурного развития и поведения**, которые имеют наиболее универсальный характер и минимально зависят от образа жизни народа, национальной психологии. Это лживость, глупость, невоспитанность, лень, драчливость etc. В рамках данной сферы представлены также ксенонимические обозначения особенностей **коммуникации** – непонятной речи и неэтикетного поведения (ср. многочисленные примеры вроде *китайская грамота* и *уйти по-английски*). Негативная оценка этих свойств легко переходит в **обобщенную негативную оценку поведения, действий, характера** (признаки “плохо”, “неправильно”). Мы намеренно не приводим здесь перечни иллюстраций, поскольку продуктивность модели в данном случае не требует доказательств. Такие сводки следовало бы собрать полно и системно в рамках каждой конкретной языковой и культурной традиции (что не может входить в задачи настоящей статьи), а отдельные примеры не очень информативны. Кроме того, в лексике данной сферы ксеномотивационный компонент звучит слабее, чем в других, поскольку в процессе семантической деривации по формуле “человек” → “человек” преодолевается меньшее смысловое расстояние, чем, скажем, в случае “человек” → “растение”. Поэтому исходное представление об объекте, обозначенном производящим словом, более точно и менее искажено проецируется на семантическую структуру дериватов (разумеется, это не означает, что исходное представление объективно).

Ксенонимы функционируют и в других тематических сферах, но эти сферы либо являются более узкими, чем те, что были представлены выше, либо разнородными в мотивационном отношении (таковы, например, сферы “**Промежутки времени**”; “**Игры**”; “**Демонология** (в том числе формулы проклятий и отсылов)”). Тематический диапазон ксенонимов имеет существенную социолингвистическую обусловленность: в диалектной лексике (на которую преимущественно ориентирована настоящая статья) активны одни тематические группы, в жаргонной – другие. К примеру, сфера “**Демонология**” специфична для диалектного лексикона, в то время как сфера “**Сексуальное поведение**” заполняется большей частью жаргонизмами (см. германские и романские примеры в [Winkler: 333–334]).

Думается, что приведенного материала достаточно, чтобы сделать некоторые выводы.

Итак, объектом изучения в настоящей статье стала активная и достаточно регулярная мотивационная модель, реализация которой создает своего рода **мотивационное макрогнездо** – группу языковых фактов, возникших в результате семантической деривации и объединенных тематической общностью производящих слов, в данном случае – обозначений чужих народов и земель (о словесных объединениях такого типа, хотя с

иной внутрениней организацией (из-за различий в характере производящих слов), см. работы С. М. Толстой [Толстая 2003; 2004 и др.]. Данный словесный комплекс обнаруживает единство по разным параметрам. Чем оно обеспечивается?

1. Наличие у ксенонимов регулярных **номинативных параллелей**. Такие параллели могут быть внутригнездовыми и внешними.

Внутригнездовые параллели являются самым важным залогом единства макрогнезда, ср. примеры типа *цыганский дождь – жидовский дождь* ‘дождь при солнце’. При этом наиболее распространенными следует признать отношения “**синонимии**” (симилярности), реже встречаются случаи “**антонимии**” (оппозитарности), к которым можно причислить пары вроде русск. *русские бобы* ‘бобы, растение *Vicia faba*’ – *турецкие бобы* ‘фасоль’ [Даль², I: 101], зап.-укр. *зазуля руска* ‘кукушка’ – *вудвуд жидовски* ‘удод’ [Гура 1997: 600–601].

Самыми частотными являются такие параллели, которые объединяют лексику одной тематической микрогруппы, одного смыслового “регистра” (к их числу относятся приведенные выше примеры). Реже встречаются “**межрегистровые**” параллели, в которых участвуют элементы разных тематических микрогрупп. Ср., к примеру, факты смыслового параллелизма между обозначениями салных шкварок, кожных заболеваний и насекомых-паразитов: кашуб. фразеологизм *vějesc žědovi skvarki z patelńi* (“съесть еврейские шкварки со сковородки”) ‘о человеке с гнойником на губе’ обнаруживает переклички, с одной стороны, с ксенонимическими обозначениями корост, гнойников, с другой – с названиями шкварок.

Внешние номинативные параллели объединяют слова, которые принадлежат разным гнездам, но регулярно призывают одинаковые вторичные значения. В качестве внешних параллелей по отношению к обозначениям инородцев выступают названия животных (как правило, пейоративно оцениваемых – свинья, волк, медведь, собака), нечистой силы, нежелательных пришельцев – солдат или гостей, субъектов с низким социальным статусом – женщин и сирот, ср.: русск. арх. *татарский узел* ‘способ завязывания узла, при котором конец веревки идет в петлю с другой стороны, чем обычно, при завязывании так называемого *русского узла*’ = *бабий узел* [КСГРС]; нем. *Zigeunerlauch* (“цыганский лук”) ‘растение черемша’ = *Bärenlauch* (“медвежий лук”) [Анненков: 24]; русск. *татарское мыло* ‘растение *Saponaria officinalis*’ = *кукушкино мыло* = *собачье мыло* [Анненков: 315–316]; чеш. *něteská netos* ‘недержание мочи’ ≈ русск. простореч. *медвежья болезнь* ‘понос’; русск. *цыганский табак* ‘гриб-дождевик’ = иван. *чёртов табак* = *медвежий табак*, *волчий гриб* [Жмурко: 55]; русск. *вятские баню топят* = арх. *черти баню топят* = влг. *зайцы баню топят* ‘о тумане’ [КСГРС]; русск. *вятские приехали* ‘о menses’, *сестра из Краснодара приехала* = жарг. *красные пришли, красная армия в гости пожаловала, тетка пришла* [Журавлев 2005: 399] = блр. *гости заехали* [ПЛНМ: 33]; русск. *немец, француз, швед* и др. ‘таракан’ = влг. *постоялец* [КСГРС] = калуж. *драгун* [СРНГ, 8: 169], влг. *майор, лейтенантик* [КСГРС]; русск. *цыганская зима* ‘теплая малоснежная зима’ = русск. литер. *сиротская зима* и мн. др. Факты “животного” параллелизма, наиболее распространенные в сфере фитонимов, высвечивают присущий образу инородцев признак дикости, некультурности; линия “инородцы – баба, сирота” подчеркивает их социальную ущербность; оппозиция “инородцы – черт” говорит о приписывании им сверхъестественных свойств etc. Вместе с тем условия номинативного функционирования соответствующих слов нивелируют эти тонкости, утверждая в качестве базы для развития значений обобщенную пейоративную семантику (“аномальный”, “дикий”, “являющийся испорченной копией нормального” и др.).

Номинативные параллели можно охарактеризовать также в лингвогенетическом плане. Если речь идет о разных диалектах одного языка или близкородственных языках, то параллели могут быть **междиалектными и межъязыковыми**. Факты вроде болг. *циганско лято* – англ. *Indian summer* ‘бабье лето’, польск. *ruski dar* (dzisiaj dał, jutro odebrał) (“*русский подарок*: сегодня дал, завтра отобрал”) [Бартаминский 2005: 179] – англ. *Indian giver* ‘берущий обратно свой подарок’ [НБАРС, 2: 228] нельзя, разумеется, называть внутригнездовыми параллелями; это случаи **мотивационной типологии**.

Большую трудность в лингвогенетическом плане представляет квалификация примеров типа русск. арх. *Чухонский Лапоть* ‘созвездие Плеяды’ [Рут 1992: 54; АК ТЭ] – фин. *Venäjän Virsu* (“русский лапоть”) ‘то же’ [Рут 1988: 86]. Можно предполагать, что *Чухонский Лапоть* является калькой с финно-угорского источника (ср., кстати, еще удм. *Исьникут кизили* (“изношенный лапоть-звезда”) [Рут 1988: 85]): выбор такого направления калькирования предпочтителен потому, что охотники-финны более активны в номинативном освоении неба, чем земледельцы-славяне, которые “списали” у финнов целый ряд астрономов, см. [Рут 1988]. Таким образом, техника перевода здесь весьма своеобразна, поскольку это **калькирование с “переворачиванием”**. Языковые единицы такого рода занимают промежуточное положение между фактами контактного и типологического происхождения номинативных моделей. Механизм подобного калькирования схож с техникой “антонимического” оттапливания при переименованиях.

2. Наличие определенных **смысловых доминант, направляющих семантическое развитие слов**, входящих в макрогнездо. Обобщенная идея чужого распадается на несколько производных мотивов: “чужой” ⇒ “неправильный, аномальный (= антипод нормального)” ⇒ “двойник, суррогатная копия чего-либо”, “чужой” ⇒ “феноменальный, странный” ⇒ “парадоксальный, содержащий оксюморон”; “чужой” ⇒ “вторгшийся извне” ⇒ “вредоносный”, “чужой” ⇒ “плохой” ⇒ “некачественный” ⇒ “бесполезный, ненужный” ⇒ “лишний”; “чужой” ⇒ “нецивилизованный, дикий”; “чужой” ⇒ “непонятный” и т.п. Отдельные производные мотивы тяготеют к употреблению в конкретных смысловых сферах. Так, для названий небесных светил ведущей является мотивировка “антипод нормального”, “двойник”; для обозначений болезней – “вторгшийся извне”, “вредоносный”.

3. Наличие определенных **закономерностей организации** “принимающей семантики”, т.е. **реципиентной сферы**. Реципиентная сфера должна обладать таким внутренним устройством, которое бы стимулировало привлечение в нее донорских моделей и соответствовало принципам организации донорской семантической области. Например, при номинации небесных светил устанавливаются определенные отношения двойничества: луна – сниженный двойник солнца; неяркие созвездия – двойники более ярких (ср. для радуги: темная полоса – двойник более светлой). Для выражения этих смыслов хорошо подходят образы инородцев, составляющих “сниженную пару” к образу “своей” социальной или этнической группы. Отношения двойничества (установление качественно разных рангов для каких-либо парных явлений) усматриваются субъектами номинации в самых разных областях – например, для культурных и диких растений, животных, для благородных металлов и суррогатных сплавов и т.п.

4. Наличие **сквозных образных мотивов**, создающих единство образной “фактуры” наименований. Эти мотивы могут быть характерны как для одного конкретного деривационного гнезда, так и для всего макрогнезда в целом. Пример на первый случай – мотив дыма в образе цыгана, “проникающий” как во внутреннюю форму, так и в семантику языковых фактов, эксплуатирующих соответствующие представления: русск. *цыганский дым* (табак) ‘гриб-дождевик’, укр. *туман цыганы напускають*, польск. *cygański marsuran* ‘набивка курительной трубки’, *cygan, cyganek* ‘железная печь, которая дает мало тепла, но очень дымит’ [SW, I: 358], чеш. *sikánka* ‘вид трубки’ [PSJČ, I: 253] и др. Очевидно, причины появления этого мотива – черный цвет, являющийся доминантой образа цыгана, а также действующая в разных языках аттракция “цыган” – “сигара (цигара)”.

Что касается более широких образных мотивов, охватывающих разные деривационные гнезда внутри макрогнезда, то среди них можно назвать, например, мотив “нашествия” (“пришествия”), ср.: русск. *татары пришли* ‘об огрехах при косьбе’, *лопка (лопень) наехала* ‘ребенок родился’, *вятские приехали* ‘о мenses’, *чухарики пошли* ‘о мурашках по коже’, польск. *cygany (cygani) idą (jadą)* ‘о надвигающихся грозовых тучах’, кашуб. *švejðe jadu* ‘собирается дождь’, *пермяки поехали* ‘о ветре, несущем дождь’ и т.п.

5. Наличие **связей между собственно языковой семантикой и внеязыковой символикой**. Языковые модели находят продолжение на уровне культурной символики, пред-

ставленной в фольклорных текстах, ритуалах и верованиях. Например, инородческий мотив в наименованиях болезней поддерживается и вне системы языка – в представлениях о том, что соответствующие заболевания свойственны инородцам, принесены ими и, по принципу симпатической магии, должны быть им же “отданы” назад. В фольклорных текстах болезни получают инородческие эпитеты, ср. белорусский заговор, в котором упоминается *9 болячок цыганських, 9 татарських* [ПЗам: 48]. В собрании М. Номиса приводится формула, которую, по поверьям украинцев, следует выкрикнуть вслед проезжающим евреям, чтоб они забрали с собой лихорадку: *Жиди, жиди! верниця, та візьми свою тітку* (лихоманку) [Номис: 20]. Происхождение ночной лихорадки *жидовки*, по бытующим на юге России и Украине представлениям, объясняется так: люди сначала не знали этой болезни, но когда Иродиаде принесли на блюде голову Иоанна Крестителя, она от ужаса впервые затряслась в лихорадке. От нее эта болезнь распространилась по всему свету [Белова 2005: 61]. В белорусском Полесье записаны заговоры от детской бессонницы с “инородческими” формулами отсыла болезни: *Ночниці, ночниці, Порвице жыдам подушки. Жыдом спаць не давайце, а мою Лёньцу спаць давайце; Ночниці, ночниці, на дзятятка сон наведзице, а идзице ў жыдовские падушки, параскидайце перья* [ПЗ: 70–71, № 84–85].

Все вышперечисленное обнаруживает весьма жесткую системную организацию изучаемого макрогнезда. Строгость структурных закономерностей предоставляет в распоряжение исследователя дополнительные аргументы, позволяющие решать вопрос о принадлежности того или иного факта к сфере ксенонимов. К примеру, одна из закономерностей, просматриваемая в нашем материале, состоит в том, что этноним, имеющий негативные коннотации, дает дериваты не в одном, а в нескольких тематических регистрах, при этом “степень пейоративности” прямо пропорциональна количеству тематических сфер, в которых функционируют дериваты (другими словами, чем ярче и сильнее негативная экспрессия производящего слова, тем шире спектр смысловых сфер, в которых функционируют его дериваты); более того, разные тематические регистры, как было показано выше, могут “проецироваться” друг на друга.

Конечно, помимо моментов сходства, между элементами разных структурных уровней макрогнезда есть и моменты отличий. Они проявляются в первую очередь в неравной номинативной активности микрогнезд, в неодинаковом соотношении экспрессии (оценки) и “реальной” информации в их составе (и применительно к различным тематическим регистрам) etc. Так, предсказуем тот факт, что лидерами по количеству вторичных номинаций, а также по “накалу” экспрессии в лексике восточнославянских языков (и, возможно, целого ряда других европейских языков) будут “цыган” и “еврей” – обозначения этносов, которые на протяжении многих веков являются “чужими среди своих” для восточных славян. Различия касаются также выбора самих объектов номинации, которые обозначаются с помощью вторичных этнонимов или топонимов: в некоторых случаях отдельные языки или диалекты обнаруживают “всплески активности” той или иной модели. К примеру, на Русском Севере сложилась “номинативная мода” на инородческие обозначения созвездий; в русском и немецком языке особенную популярность обнаруживает ксенонимическая “тараканья” модель; у южных славян очень активны “цыганские” наименования календарных периодов, характеризующихся возвратом температур (весенняя оттепель, бабье лето) и др. Пока можно говорить о причинах такой неравномерности лишь в самом гипотетичном виде; этот вопрос – как и многие другие – требует тщательного анализа проявлений ксеномотивации в различных тематических группах лексики, в разных языках и диалектах, что является программой дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азим-Заде 1979 – Э.Г. Азим-Заде. Русско-славянская астрономическая и метеорологическая терминология в сравнительно-историческом и типологическом аспекте: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979.

- Айрапетян 2001 – В. Айрапетян. Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски. М., 2001.
- АК ТЭ – Астрономическая картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
- Анненков – Ботанический словарь: Справочная книга для ботаниковъ, сельских хозяевъ, садоводов, лѣсоводов, фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ, путешественниковъ по Россіи и вообще сельскихъ жителей / Сост. Н. Анненковъ. СПб., 1878.
- Аркушин – Г.Л. Аркушин. Словник західнополських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1–2.
- Ахтаров – Материали за български ботаниченъ речникъ (Събр. Б. Давидовъ и А. Явашевъ) / Ред. Б. Ахтаровъ. София, 1939.
- Баргминский 2005 – Е. Баргминский. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Пер. с польск. М., 2005.
- БД – Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962–1981. Кн. I–X.
- БД ПА – Полесский архив: база данных (сектор этнолингвистики и фольклора, Ин-т славяноведения РАН).
- Белова 2004 – “Народная Библия”: Восточнославянские этимологические легенды / Сост. и коммент. О.В. Беловой. М., 2004.
- Белова 2005 – О.В. Белова. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005.
- БНРС – Большой немецко-русский словарь. М., 2002. Т. I–II.
- Борхвальдт 2000 – О.В. Борхвальдт. Лексика русской золотопромышленности в историческом освещении. Красноярск, 2000.
- БРЭР – В.В. Химик. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб., 2004.
- БСЖ – В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
- БТДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
- ВРС – Венгерско-русский словарь / Сост. Л. Хадрович, Л. Галди. Будапешт, 1952.
- ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997.
- Геров – Н. Геров. Речникъ на българския език. Пловдивъ, 1895–1904. Ч. I–V.
- Геров – Панчев – Дополнение на българския рѣчникъ отъ Н. Геровъ (Събралъ, наредилъ и изгълкувалъ Т. Панчевъ). Пловдивъ, 1908.
- Гринченко – Словарь української мови / Упор. Б. Гринченко. Київ, 1996. Т. 1–4. (репринт издания 1907–1909 гг.).
- Губарева – В.В. Губарева. Словарь тамбовских говоров (лексика питания). Тамбов, 2003.
- Гура 1997 – А.В. Гура. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Даль₂ – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882 (1955). Т. I–IV.
- Даль₃ – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб.; М., 1903–1909. Т. I–IV.
- Дзензелівський – Й.О. Дзензелівський. Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови. Київ, 1987.
- ДСБ – Дыялектны слюўнік Брэстчыны. Мінск, 1989.
- Елезовић – Гл. Елезовић. Речник косовско-метохијског дијалекта // Српски дијалектолошки зборник IV. Београд, 1932; VI. Београд, 1935. Књ. I–II.
- Елистратов – В.С. Елистратов. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М., 2004.
- Жмурко – О.И. Жмурко. Лексика природы: Опыт тематического словаря говоров Ивановской области. Иваново, 2001.
- ЖС – Жывёльны свет: Тэматычны слоўнік / Склад Дз. Астрэйка и др. Мінск, 1999.
- Журавлев 2005 – А.Ф. Журавлев. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу”. М., 2005.
- Јовановић – В. Јовановић. Речник села Каменице код Ниша // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 2004. Књ. II.
- Кондратенко 2000 – М. Кондратенко. Лексика народной метеорологии: Опыт сравнительного анализа славянских и немецких наименований природных явлений. München, 2000.
- КСГРС – Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания, Уральский университет).
- КСРНГ – Картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург).
- Куликковский – Г.И. Куликковский. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

- ЛЗА – Личные записи автора (материалы современной русской разговорной речи, собранные преимущественно в Екатеринбурге и Москве).
- ЛК ТЭ – Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).
- Лютикова – *В.Д. Лютикова*. Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.
- Марковић – *М. Марковић*. Речник народног говора у Црној Реци // Српски дијалектолошки зборник XXXII. Београд, 1986.
- Мюллер – *В.К. Мюллер*. Англо-русский словарь. М., 1992.
- НВАРС – Новый большой англо-русский словарь. М., 2002. Т. 1–3.
- НБРФинС – Новый большой русско-финский словарь. М.; Хельсинки, 2000.
- Номис — *М. Номис*. Українські приказки, прислів'я та таке інше. СПб., 1864.
- Опыт – Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1852.
- ПЗ – Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.). М., 2003.
- ПЗам – Поліські замовляння. Житомир, 1995.
- ПЛНМ – *М.В. Никончук, О.М. Никончук, В.М. Мойсієнко*. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001.
- Попов – *Г.И. Попов*. Русская народно-бытовая медицина: По материалам этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева // М. Д. Торэн. Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 1996.
- ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967–. Вып. 1–.
- Прокошева – Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья / Сост. К.Н. Прокошева. Пермь, 1972.
- РБЕ – Речник на българския език. София, 1977–. Т. 1–.
- Редкин – *А.П. Рѣдкин*. Французско-русский словарь. СПб., 1906.
- РМЕ – Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1961–1966. Т. I–III.
- РСХКJ – Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад; Загреб, 1967–1976. Књ. 1–6. Рут 1988 – *М.Э. Рут*. Взаимодействие языков в области народной астронимии // Русский язык в его взаимодействии с другими языками. Тюмень, 1988.
- Рут 1992 – *М.Э. Рут*. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 1992.
- СБП – *И.И. Носович*. Сборник белорусских пословиц. СПб., 1874.
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–.
- СГСЗ – Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999.
- СД – Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995–. Т. 1–.
- Симоновић – *Д. Симоновић*. Ботанички речник: Имена биљака. Београд, 1959.
- СКЯ-Пунжина – Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- СОГ – Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989–1991. Вып. 1–4; Орел, 1992–. Вып.5–.
- СОС – Смоленский областной словарь / Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914.
- СПГ – Словарь пермских говоров. Пермь, 1999–2002. Вып. 1–2.
- СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1978–1986. Т. 1–5.
- СПП – Словарь псковских пословиц и поговорок / Сост. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. СПб., 2001.
- СРГА – Словарь русских говоров Алтая. Барнаул, 1993–1997. Т. 1–4.
- СРГЗ – *Л.Е. Элиасов*. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–. Вып. 1–.
- СРГО – Словарь русских говоров Одесщины. Одесса, 2000. Т. 1–2.
- СРГНО – Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СРГНП – Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2003–. Т. 1–.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964–1987. Т. 1–7.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–. Вып. 1–.
- ССРГ – Словарь современного русского города / Под ред. Б. И. Осипова. М., 2003.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948–1965. Т. 1–17.
- Толстая 2003 – *С.М. Толстая*. Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов. Докл. российской делегации. М., 2003.

- Толстая 2004 – С.М. Толстая. Семантические корреляты слав. **сих*- // Язык культуры: семантика и грамматика. М., 2004.
- Толстая 2005 – С.М. Толстая. Полесский народный календарь. М., 2005.
- Толстой 1997 – Н.И. Толстой. Из географии славянских слов: 8. ‘Радуга’ // Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. I: Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.
- ТС – Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987. Т. 1–5.
- ТЭ – Топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург)
- ФРБЕ – К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, К. Чолакова. Фразеологичен речник на българския език. София, 1974–1975. Т. 1–2.
- ФРС – Финско-русский словарь. Таллинн, 1998.
- ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1983.
- ФСУМ – Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993. Кн. 1–2.
- ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978–. Т. 1–.
- Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002 – J. Bartmiński, I. Lappo, U. Majer-Baranowska. Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // Etnolingwistyka. Lublin, 2002. № 14.
- EDD – The English dialect dictionary / Ed. by J. Wright. Oxford, 1981. V. 1–VI.
- HSSJ – Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1991–. Т. I–.
- Karłowicz – J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. Т. 1–6.
- Kluge – F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Berlin; New York, 2002.
- Komenda – B. Komenda. Holendrować z angielskim humorem: Słownik znaczeń sekundarnych nazw narodowości i krajów w języku niemieckim i polskim. Szczecin, 2003.
- Kott (př. 1) – F. Kott. Příspěvky k česko-německému slovníku. Praha, 1896. Sv. 8.
- OED – The Oxford English dictionary. Oxford, 1989. II ed. V. 1–XX.
- Partridge – E. Partridge. A dictionary of slang and unconventional English: colloquialisms, catch-phrases, solecisms and catachreses, nicknames and vulgarisms. New York, 1988.
- PSJČ – Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.
- Robert – P. Robert. Grand Robert de la langue française. Paris, 1990. Т. 1–9.
- SGP – Słownik gwar polskich. Kraków, 1979–. Т. 1, z. 1–.
- SJP-Dor – Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. Т. I–XI.
- SK – B. Sychta. Słownictwo Kociewskie na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź, 1980–1985. Т. I–III.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1958–1981.
- Snoj – M. Snoj. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 2003. 2 izd.
- SSJ – Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959–1968. D. 1–6.
- SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–1971. Т. I–IV.
- SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. D. 1–5.
- SSN – Slovník slovenských nářečí. Bratislava, 1994–. Т. I–.
- SW – J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1904–1927 (1952–1953). Т. I–VIII.
- Sychta – B. Sychta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. Т. 1–7.
- Van Dale – Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. 14 ed. (электронная версия)
- Winkler – A. Winkler. Ethnische Schimpfwörter und übertragener Gebrauch von Ethnika // Muttersprache. 1994. № 4.

© 2006 г. Е. В. ПАДУЧЕВА

ГЕНИТИВ ДОПОЛНЕНИЯ В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ*

Статья посвящена классической проблеме русского синтаксиса – генитиву объекта в отрицательном предложении. Показано, что генитив объекта в существенной степени семантически мотивирован, причем семантические факторы, определяющие выбор генитива объекта, принципиально сходны с теми, которые были ранее выявлены для генитива субъекта.

Относительно генитива субъекта исходная предпосылка состоит в том, что он может выражать не только несуществование, как в случае бытийного глагола или пассивной формы глагола создания (*не возникло сомнений; не строится гостиниц*), но и отсутствие в поле восприятия (*Маши не видно / не оказалось на месте*) или в сфере знаний / в личном пространстве некоего лица (*не обнаружилось таланта*), т.е. наблюдаемое (или осознаваемое) отсутствие; такое значение генитив имеет, в частности, в генитивной конструкции с глаголом *быть* (*Коли не было в Москве*).

Показано, что те же две идеи – несуществование и наблюдаемое отсутствие – определяют семантику генитива объекта. Разница в том, что в случае субъектного генитива наблюдатель / субъект сознания находится за кадром, а при генитиве объекта он может быть выражен подлежащим того же предложения (*Я не знаю этой женщины*). Тем самым получает объяснение преобладание генитивного объекта в отрицательных предложениях с глаголами создания, восприятия, знания, обладания, перемещения.

Что гласит грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательной частицей, требует уже не винительного, а родительного падежа.
Например: я не пишу *стихов*.

А. Пушкин

Генитив отрицания – классическая проблема синтаксиса русского языка, публикации на эту тему исчисляются сотнями. Последние десятилетия бурного развития семантики открыли принципиально новые возможности ее решения.

1. РЕФЕРЕНЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛА

До последнего времени основная часть исследований была направлена на описание условий употребления генитива и аккузатива. Между тем уже у Пушкина генитив объекта начинает уступать место аккузативу, так что на настоящий момент узус представляет собой пеструю картину исторических напластований разного времени, трудно обобщаемых. С одной стороны, сохраняется старая норма, с преобладающим генитивом; с другой стороны, идет наступление аккузатива, которое разрушает едва установившуюся семантику падежных противопоставлений.

Мы поставим задачу по-другому. А именно, начнем с семантики – с семантических противопоставлений, выражаемых генитивом объекта, и попытаемся понять, насколько они сохранились или утратились, перестали / перестают осознаваться в современном языке. Задача в том, чтобы отличить семантически мотивированный

* Работа получила финансовую поддержку в рамках проекта National Science Foundation, Grant № BCS-0418311 to B. Partee and V. Borshev, а также поддержку фонда РФНФ, проект № 05-04-04130а.

выбор от вариативности, которая характерна для ситуации смены нормы. В принципе, чистая вариативность, синонимия, языку не свойственна. Но в ситуации, когда норма меняется, разница между вариантами может быть стилистическая, а не смысловая. Основная трудность – в том, чтобы провести эту границу между семантикой и стилем.

Литература о генитиве отрицания огромна ([Restan 1960; Ицкович 1974; Timberlake 1975; Babby 1980; Апресян 1985; Mustajoki, Heino 1991] задают наиболее существенные вехи). В основном она посвящена генитиву объекта. И в основном – сочетаемости: возможен в такой-то позиции генитив или невозможен; или в трансформационных терминах: возможна или невозможна и обязательна или не обязательна замена аккузатива на генитив при добавлении отрицания в таком-то контексте.

Пионерская работа [Babby 1980] поставила во главу угла генитив субъекта, представив при этом выбор падежа субъекта как семантическую проблему – подход Бэбби можно трактовать как семантический. В центре его внимания семантические причины, которые заставляют говорящего выбирать тот или иной падеж. Отдельная заслуга Бэбби – в том, что, сдвинув фокус внимания с объекта на субъект, он поставил семантическую задачу, как выяснилось, более простую: генитив субъекта допустим при сравнительно небольшом классе глаголов, в котором семантическую мотивированность выбора гораздо легче проследить.

Книга Бэбби называется “Existential sentences and negation in Russian”; экзистенциальные предложения – это предложения существования (“бытийные” согласно [Арутюнова, Ширяев 1982]). Между тем, глагол в отрицательном предложении с генитивным субъектом (так называемый генитивный глагол [Падучева 1997]) не обязательно выражает существование: он может быть также глаголом восприятия (*Отклонений не наблюдалось*), локализации (*Отца не было на море*) и даже перемещения (*Ответа не пришло*). Да и глаголы создания могут иметь генитивный субъект – в форме пассива: *Гостиницы не построено*. Так что нельзя говорить о семантике предложения с генитивным субъектом, не вдаваясь в лексическую семантику глагола.

В настоящий момент мы имеем достаточно стройную семантическую картину генитива субъекта, см. обзор литературы в [Падучева 2005] и в [Borschev, Paducheva, Partee et al. 2006]. И это создает базу для семантического подхода к генитиву объекта. Исходная предпосылка в данной статье: относительно простая семантика генитивного субъекта проливает свет на более сложную семантику генитива объекта. Отметим несколько самых существенных моментов.

Связь лингвистики с логикой и прогресс в лингвистической теории референции, ознаменовавший 70–80-е годы прошлого века, подарили лингвистам понятие РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО (денотативного) СТАТУСА именной группы (ИГ) и экспликацию статуса через существование и знание. Компоненты “существование” и “(не)знание” вошли в экспликацию статусов именной группы. Стали ясны связи между определенностью (т.е. конкретной референцией) и ПРЕСУППОЗИЦИЕЙ (презумпцией) существования; ср. инференции типа:

конкретно-референтная ИГ \supset ‘существует и единствен X такой, что ...’;
(не)определенная ИГ \supset ‘я – говорящий – (не) знаю X-а’.

Вошло в лингвистическую практику понятие СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ, без которого сейчас немислимо описание не только кванторных, но и обычных слов в языке. Получили общее признание пресуппозиции.

Выяснилась специфическая роль, которую играет в семантике лексики компонент “восприятие”. Есть очевидная импликатура:

вижу X \supset ‘X существует’

(например: *я вижу слезы* \supset ‘слезы есть’). Интересно, однако, что семантический переход может идти и в обратную сторону: одно из активно действующих правил семантической деривации –

не вижу X-а \supset ‘X-а не существует’

(так, *интереса не наблюдается, улик не обнаружилось* \supset ‘их нет’), см. [Падучева 2004: 150].

Компонент “восприятие” входит в семантическую структуру самых разных глаголов – в частности, под видом наблюдателя (см. о наблюдателе [Апресян 1986]). Наблюдатель мыслится как один из участников ситуации – как воспринимающий субъект в ранге За кадром. С помощью наблюдателя решилась загадка локативного *быть* [Падучева 1992], который считался вопиющим исключением в классе генитивных глаголов¹, поскольку будучи глаголом локализации, он при отрицании оформляет субъект генитивом, как глаголы существования. На примере глагола *быть* была осознана важность концепта НАБЛЮДАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ в русской языковой картине мира – наряду с наблюдаемым признаком (*у белеть*), наблюдаемым движением (*у мелькать*) и др. Наблюдаемое отсутствие будет одним из ключевых понятий в дальнейшем.

Для проникновения в семантику генитива объекта первостепенное значение имеют успехи, достигнутые за последние годы лексической семантикой (работы Ю.Д. Апресяна, Анны Вежбицкой, Ч. Филлмора, Б. Левин, М. Раппапорт). Одни и те же компоненты – существование, восприятие, знание – выявляются при лексическом разложении генитивного глагола и грамматическом анализе семантики генитива. Именно этим компонентам обязаны своей генитивностью глаголы создания, местонахождения, обладания, перемещения. Тем самым стала понятна роль лексического класса глаголов в конструкции с генитивным субъектом; выяснилась природа взаимодействия референциальных и лексико-семантических аспектов структуры предложения с генитивным субъектом в отрицательном предложении. Осознана внутренняя связь семантики генитивного глагола с семантикой генитивной конструкции: она может быть представлена как семантическое согласование.

Уже в 80-е годы были выявлены ограничения на референциальный статус актанта у некоторых глаголов и глагольных классов (см., в частности [Булыгина 1982; Падучева 1985: 103–105]). Теперь ясно, что связь между референциальным статусом участника и семантикой глагола predetermined наличием в толковании глагола и в семантике статуса одних и тех же смысловых компонентов: компоненты существование, восприятие, знание входят и в семантику глагола, и в экспликацию статусов. Так, компонент “существование” входит в семантику глаголов создания; поэтому:

- (1) а. *У построил X* ⊃ ‘*Y* сделал так, чтобы *X* существовал’;
б. *У не построил X-а* ⊃ ‘*X-а* не существует’.

Перцептивный компонент входит в семантику глаголов обладания и перемещения; поэтому:

- (2) а. *У получил X* ⊃ ‘*X* вошел в поле зрения *Y-а*’;
б. *У не получил X-а* ⊃ ‘*X-а* нет в поле зрения *Y-а*’.
(3) а. *X пришел* ⊃ ‘*X* вошел в поле зрения *Y-а*’;
б. *X-а не пришло* ⊃ ‘*X-а* нет в поле зрения *Y-а*’ (где *X* – предмет).

В современной семантике большое место занимает онтология: стали реальностью тематические классы глаголов и имен². В [Restan 1960; Timberlake 1975; Klenin 1978; Mustajoki, Heino 1991] была убедительно описана роль оппозиции “конкретный vs. абстрактный объект”³. У имен разных тематических классов разный РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. Скажем, предпочтительный генитив объекта, выраженного именем свойства (как во фразе *Не люблю высокомерия*), естественно связать с ингерентной нереперент-

¹ Во многом близкое решение проблемы генитивного субъекта глагола *быть* предложено в [Борщев, Парти 2002], где введено понятие центра перспективы.

² В работе используется таксономия, отраженная в Национальном корпусе русского языка (адрес в Интернете – www.ruscorpora.ru); см. также о таксономических разработках в рамках системы “Лексикограф” в [Кустова 2004; Падучева 2004].

³ В Национальном корпусе это оппозиция “предметное vs. не предметное имя”.

ностью абстрактных имен (впрочем, возможно и другое объяснение – через паритивную семантику генитива, см. примеры (3)–(7) в разделе 2).

Итак, повторим. В основе нашего подхода к генитиву объекта лежит следующая гипотеза: **смысловые компоненты, которые определяют семантику генитивного субъекта, входят также и в семантику генитива объекта.** Следует ожидать, что генитив объекта в отрицательном предложении может, аналогично генитиву субъекта, либо выражать несуществование, либо маркировать отсутствие объекта в поле зрения наблюдателя или, шире, в его личной сфере.

Семантика генитива субъекта определялась простым правилом: в контексте глагола существования генитив выражает несуществование, а номинатив – определенность, т.е. конкретную референцию субъекта; в контексте предиката восприятия генитив не обязательно выражает несуществование; он может выражать всего лишь отсутствие Вещи в поле зрения (Вещь и Место – названия участников ситуации местонахождения – из [Борщев, Парти 2002]):

(4) *Машу* не видно [Маша здесь, но наблюдатель ее не видит];

Маши не видно [наблюдатель не видит Маши и, скорее всего, ее здесь нет].

Для генитива объекта правило выбора падежа сложнее: несомненна зависимость от большого числа условий, которые не всегда поддаются семантическому истолкованию. Самая общая идея та же: аккузатив маркирует определенность, конкретную референцию, а генитив выражает нереперентность, неопределенность или неизвестность. Однако оговорок, уточнений и стилистических оттенков, обусловленных меняющейся нормой, здесь гораздо больше.

Итак, намечается следующий общий план исследования генитива объекта. При отрицании предложения с переходным глаголом может меняться референциальный статус объектной ИГ. Например, в (5а) ИГ *машину* неопределенная, но реперентная. Однако *машина* в (5а) выделена только тем, что Джон ее купил. Так что в отрицательном предложении (5б) ИГ объекта может быть нереперентной, и это выражается генитивом:

(5) а. Джон купил *машину*;

б. Джон не купил *машины*.

Смысловые компоненты именной группы, эксплицирующие ее референциальный статус, – это существование, восприятие, известность (знание). Так что существенными в семантике глагола – с точки зрения возможного взаимодействия со статусом ИГ в контексте отрицания – должны быть именно эти три компонента. С этой точки зрения мы и будем смотреть на классы глаголов, допускающих генитив объекта.

Лингвистические понятия определенность и неопределенность нуждаются в уточнении. Определенность не обязательно предполагает реперентность: она не обязательно связана с пресуппозицией существования Вещи (см. в [Падучева 1977] попытку свести определенность к прагматической ПРЕСУПОЗИЦИИ ИЗВЕСТНОСТИ, отличной от обычной пресуппозиции существования). Это объясняет генитив в примере (6), где ИГ нереперентная – несмотря на определенность (выраженную указательным местоимением):

(6) *Этого письма* он не написал.

С другой стороны, в случае реперентности пресуппозиция существования и единственности – нечто меньшее, чем определенность. Именная группа является определенной, если, употребляя ее в высказывании, говорящий имеет в виду какой-то объект. Между тем, в случае атрибутивной референции (по Доннеллану) есть пресуппозиция существования и единственности, но нет референции к какому бы то ни было объекту в поле зрения или личной сфере говорящего, см. [Падучева 1985: 96].

Традиционный термин “неопределенность” имеет еще менее ясный смысл; за ним скрывается по крайней мере три разных понятия: нереперентность (отсутствие пресуппозиции существования и единственности – как у ИГ *машины* в (5б)), отсутствие в поле зрения и незнание. Некоторые классы глаголов кодируют эти компоненты в своем лек-

сическом значении. Так, в семантику глагола создания входит идея существования; отсюда нереферентность ИГ *письмо* в (7а); глаголы восприятия, обладания и отчасти движения лексикализуют идею вхождения в поле зрения наблюдателя, как в (7б); семантикой незнания можно объяснить генитив объекта, возникающий в отрицательных предложениях с глаголами знания, см. (7в):

- (7) а. не написал *письма*;
б. не получил *ответа*;
в. не знаю *этой женщины*.

В контексте глаголов восприятия, знания, создания, обладания и движения (вхождения объекта в поле зрения наблюдателя) именная группа особым образом взаимодействует с семантикой глагола.

Еще во времена Пушкина употребление генитива объекта при отрицании считалось грамматической нормой, которую Пушкин сам признавал. В заметке “Опровержение на критики” (А.С. Пушкин. Соч. в 10-ти т. Т. 7: 173) он отстаивал право на вин. падеж только для ИГ, подчиненной инфинитиву (как в сочетании *два века в два века ссорить не хочу*) – опираясь на то, что “электрическая сила” отрицательной частицы не может действовать на расстоянии; за падежом объекта при отрицаемом глаголе он признавал необходимость быть генитивом. Сейчас следует скорее исходить из того, что и в этой позиции нормой является аккузатив, а генитив обусловлен специальными факторами. По крайней мере, это облегчает сопоставление русского языка с теми, где этот экзотический механизм выбора падежа прямого дополнения никогда не существовал или утратился (как во многих славянских).

2. ЗНАЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

Начнем с того, какие вообще значения может выражать падеж.

1. Ролевая информация. Ролевая семантика эксплицируется компонентом/компонентами толкования глагола (см. [Апресян 1974: 125; Jackendoff 1990]). Так, в *разбил топор* слово *топор* – объект воздействия, а в *разбил топором* – орудие. Ролевую информацию родительный падеж выражает ограниченно – при глаголах с лексикализованной партиитивностью (*прибавилось хлопот, недостает тепла* [‘в некотором количестве’], *недобрал одного балла* и проч.) или с лексикализованным отрицанием (генитив объекта у глаголов *лишить, избежать* можно связать с отрицанием в их семантическом разложении: *лишил X-а* = ‘каузировал X-а не иметь’; *У избежал X-а* ⊃ ‘У не имеет X-а’).

Однако такое прямое влияние отрицательного компонента на падеж объекта имеет место далеко не всегда; так, *игнорировать, скрывать* управляют аккузативом:

- не упоминает *Машу / Маши* – игнорирует *Машу / *Маши*;
не показывает *Машу / Маши* – скрывает *Машу / *Маши*.

2. Коммуникативный ранг. Например, падеж противопоставляет позицию Субъекта, центральную, периферийной (ср. *сад кишит змеями* и *змеи кишат в саду*); позицию Объекта, тоже центральную, периферийной (*заткнул в ату в щель – заткнул щель в атой*). О ранговых противопоставлениях, выражаемых падежом, см. [Тестелец 2001: 420].

3. Квантификация и референциальный статус. Именно это основная стихия генитива. Для субъекта в отрицательном предложении противопоставление номинатив / генитив отражает прежде всего референциальный статус участника (см. [Падучева 2005]). Так, в (1а) ИГ *ответ* в номинативе и референтная определенная: *ответ существует, послан*; в (1б) ИГ *ответа* генитивная и нереферентная – возможно, его и не было:

- (1) а. *Ответ* еще не пришел;
б. *Ответа* не пришло.

Можно думать, что генитив объекта, как и генитив субъекта, служит прежде всего для выражения референциального статуса ИГ. А именно, генитив объекта в отрица-

тельным предложению выражает нереперентность, а аккузатив маркирует определенную ИГ – референтную:

- (2) а. *Ответ* мы не получили;
- б. *Ответа* мы не получили.

4. Генитив субъекта может иметь партитивное значение, т.е. обозначать некоторое количество, часть: для так называемого 2-го родительного партитивное значение является единственным (*Чаю у нас нет*), а для обычного – одним из возможных (например, генитив имеет партитивное значение в контексте *Соли у нас нет*, но не *качество соли*). В утвердительном предложении партитивное значение в ИГ субъекта выражается в русском языке ограничено – в основном, в контексте глаголов с лексической партитивностью: *Работы прибавилось*. Нельзя сказать **В чашке осталось воды*, хотя с семантической точки зрения это безупречно. Но в отрицательном контексте, когда предложение уже и без того безличное, генитив в партитивном значении употребляется широко, ср. пример, который приводится в [Guiraud-Weber 1984] (с другой интерпретацией):

- Даже *лебедя* не выросла [родовая ИГ] –
- Даже *лебеды* не выросло [партитивная].

В своем предисловии к [Babby 1980] Б. Комри усматривает в примерах типа (3) выраженный генитивом различие в сфере действия отрицания:

- (3) а. *Трава* здесь не растет;
- б. *Травы* здесь не растет.

Между тем, есть более простое объяснение. Различие между (3а) и (3б) определяется тем, что (3б) – это отрицание для (4б), с осмысленным, но грамматически недопустимым партитивом; а (3а) – отрицание для нормального (4а):

- (4) а. *Трава* здесь растет;
- б. **Травы* здесь растет.

В составе объектной ИГ для род. падежа нет синтаксических препятствий, род. падеж в партитивном значении употребляется (в контексте имен массы) гораздо более свободно – как в утвердительном предложении, см. (5), так и в отрицательном, см. (6):

- (5) а. Положи *соли* ['некоторое количество'];
- б. Положи *соль* [нет указания на количество].
- (6) а. Не клади *соли* ['никакого количества'];
- б. Не клади *соль* [нет указания на количество].

Приняв во внимание партитивное значение генитива в отрицательном предложении, мы существенно расширяем возможности семантических объяснений. Ср. известный пример из [Томсон 1903]:

- (7) а. Кошка не ест *ветчины* [только вообще];
- б. Кошка не ест *ветчину* [сейчас или вообще].

Аккузатив может быть понят и в родовом смысле, и в конкретно-референтном – применительно к данному куску в данном акте еды, как в (7б). А партитив, как в (7а), который, как всякий показатель количества, выражает неопределенность [Падучева 1996: 188], несовместим с актуальным – конкретно-референтным – значением несов. вида. Единственное возможное понимание для (7а) – с узуальным значением вида (и с родовой, а не партитивной интерпретацией ИГ объекта). Партитивное значение у генитива *ветчины* при актуальном понимании вида глагола исключено в отрицательном (7а) так же, как в утвердительном **Кошка ест ветчины*.

Одно и то же слово может пониматься как индивид и как имя массы. При этом если слово понимается как имя массы (например, *солнце* – в значении 'солнечный свет'), то обязателен генитив, ср.:

Я не вижу *солнце* – Они месяцами не видят *солнца*.

Партитивное значение возникает не только в контексте имени массы, но и в контексте счетного имени во мн. числе: имеется очевидное сходство между именем массы и мн. числом счетного имени (широко обсуждаемое в формальной семантике, см. [Bach 1986]). В [Падучева 1997] говорится, в связи с генитивом субъекта, что “множественное число способствует генитивной конструкции, поскольку превращает индивидуальное имя в имя массы; тем самым генитив получает партитивное значение и дополнительную семантическую мотивировку”.

Кроме того, согласно О. Есперсену [Есперсен 1958: 229], абстрактные имена метафорически категоризируются как имена массы. Возможно, именно это служит объяснением предпочтения генитива (в партитивном значении) в контексте этих имен:

не проявил *внимания*, не оценил *доверчивости*.

5. Генитив и лексическая семантика глагола.

а) Взаимодействие “по существу” между лексической семантикой глагола и генитивом объекта имеет место в контексте глаголов восприятия. В [Падучева 1997] было обосновано деление глаголов, допускающих генитивный субъект, на два класса: бытийные (типа *возникнуть*) и восприятия (типа *чувствоваться*, *наблюдаться*). Если в классе бытийных глаголов генитив субъекта в отрицательном предложении выражает нереперентность, то при глаголе восприятия это всего лишь отсутствие в поле зрения; так, в (8) генитив не подвергает сомнению существование Маши:

(8) *Маши* дома не оказалось.

Генитив объекта подтверждает обоснованность этого деления. Глаголы восприятия обнаруживают несколько характерных особенностей в этом плане.

У глаголов восприятия генитив объекта-лица может выражать, как и генитив субъекта, не отмену презумпции существования лица, а всего лишь инференцию его отсутствия в данном месте. Так, фразой (9б) я не только сообщаю, что не видел Маши, но и даю понять, что Маши там, возможно, не было. А в (9а) ничего такого нет:

(9) а. Я был в Лондоне, но не видел *Машу* [≈ ‘не повидался’];

б. Я был в Лондоне, но не видел там *Маши* [возможно, ее там не было].

Фраза (10) тем более означает не только ‘не вижу Машу’, но и ‘Маши здесь нет’ – не только невосприятие, но и отсутствие:

(10) Что-то я не вижу *Маши*.

Агентивность глагола (преднамеренность действия) тоже может играть роль:

(11) а. Я не встретил *Машу* [если имел в виду встретить];

б. Ты *Маши* не встретил? [если случайно].

Итак, в случае генитивного имени с незыблемой референтностью отрицание восприятия отрицает также местонахождение, но не распространяется на существование. Аккузатив, напротив, показывает, что нахождение Вещи в Месте не отрицается:

(12) Из-за тумана мы не видим на том берегу *деревню*.

Однако в контексте “менее референтных” имен генитив при глаголе восприятия может отменять и презумпцию существования; так, (13) и (14) – не что иное, как мягкий способ сказать, что рвения / оснований нет:

(13) Что-то я не вижу в вас *рвения*;

(14) Не вижу *оснований* так поступать.

В (15) несуществование является “законным” семантическим следствием ненаблюдаемости:

(15) не обнаружили *следов* пребывания человека.

При этом неважно, употребляется ли генитив в значении восприятия или ментальном:

не вижу ≈ не усматриваю *прогресса*.

В [Hunyadi 1981: 54] на примерах типа (16) говорится, что противопоставление генитива и аккузатива имеет э к з и с т е н ц и а л ь н ы е коннотации:

- (16) а. Я не вижу *карандаши*;
б. Я не вижу *карандашей*.

Точнее, однако, говорить здесь не о коннотации несуществования, а о коннотации *отсутствия* Вещи в данном месте. Именно эта коннотация связана с глаголами восприятия, и генитив выражает ее как в случае нерелевантного термина *карандаши* в (16б), так и релевантного *Маши* в (10).

Иногда противопоставление отсутствия и несуществования стирается; например, когда речь идет о Вещи, которая и не может существовать иначе как в данном Месте; или если существование Вещи в другом Месте нерелевантно. Например, когда говорят об отсутствии денег, обычно имеют в виду деньги в своем кармане. Генитив остается, однако, и там, где существование не подвергается сомнению, а отрицается только восприятие:

- (17) Никто не заметил ее *букета*.

Аспектуальный класс глагола тоже играет роль – стативность способствует генитиву:

- (18) а. *Этого процесса* никто не видел [глагол состояния; инференция несуществования];
б. *Этот процесс* никто не исследовал [глагол действия; presupпозиция существования].

Итак, генитив объекта при глаголах восприятия имеет особый – более богатый – спектр значений. Он может выражать отсутствие объекта в поле зрения, отсутствие объекта в данном месте и даже несуществование (в мире вообще). Так, предложение (19) имеет два понимания:

- (19) *Этой демонстрации* никто не видел =
а. с presupпозицией существования [генитив синонимичен аккузативу];
б. с инференцией несуществования [возможен только генитив].

б) Другой класс со специальным значением генитива объекта – глаголы знания. При глаголе знания определенная ИГ может (а иногда и должна) быть оформлена генитивом:

- (20) Я *этого* (**это*) не знаю.

Принципиальный характер имеет пример (21). Вин. падеж в (21а) подтверждает определенность, выраженную в составе именной группы местоимением *этой*; но тогда можно подумать, что генитив в (21б) противоречит определенности. Между тем, это не так. Употребляя генитив, говорящий всего лишь исключает объект из своей личной сферы (один из вариантов конфигурации “наблюдаемое отсутствие”):

- (21) а. Я не знаю *эту женщину*;
б. Я не знаю *этой женщины*.

Так что аккузатив выражает определенность, но определенность не обязательно требует аккузатива. Различие между (22а) и (22б) в том, что в (22а) говорящий включает Вещь в свою личную сферу, а в (22б) – нет:

- (22) а. Я не знаю *Машу Трофимову*;
б. Я не знаю *Маши Трофимовой*.

в) Генитив объекта употребляется в контексте интенциональных глаголов: глаголы *ждать, желать, искать, хотеть, (по)просить, (по)требовать* (возможно, также *найти*) допускают как генитив, так и аккузатив объекта.

В грамматиках русского языка не проводится различия между генитивом отрицания и генитивом интенциональных глаголов (проблема возможных связей между генитивом отрицания и объектным генитивом интенциональных глаголов была поставлена в [Partee, Borschev 2004]). Между тем в контексте глаголов *ждать* и *искать* уже в утвердительном предложении нереферентная ИГ почти обязательно оформляется генитивом; так, в (23а) аккузатив и референтная ИГ; в (23б) ИГ нереферентная, поэтому генитив:

- (23) а. *ждать Машу*;
б. *ждать изменения ситуации*.

Генитив объекта при интенциональных глаголах, хотя бы и в отрицательном предложении, поскольку он не обусловлен отрицанием, остается за рамками данной работы.

б. Генитив и грамматическая форма глагола. Имеется очевидная корреляция между генитивом отрицания и несов. видом глагола; генитив может быть вполне естествен при несовершенном, но не при сов. виде глагола:

- (24) а. *Я не разбил чашки*;
б. *Я не разбивал чашки*.
(24') а. *Я не съел ветчины*;
б. *Я не ел ветчины*.

И наоборот, аккузатив может быть неуместен при несов. виде:

- (24'') а. *Мы не получили письмо*;
б. *Мы не получали письмо*.

Генитив невозможен в будущем времени. Будущее время несов. вида исключает генитив в партитивном значении – не только при единичном, но и при узуальном значении вида:

- (25) а. *Он не ест каши*; *Он никогда не ел каши*;
б. *Он не будет есть *каши*.
(26) а. *Ваше отсутствие не тормозило работу (работы)*;
б. *Ваше отсутствие не будет тормозить работу (*работы)*.
(27) а. *Я не стирала полотенце (полотенца)*;
б. *Я не буду стирать полотенце (*полотенца)*.

В сов. виде запрета нет:

- (28) а. *не решит задачу (задачи)*;
б. *не будет решать задачу (*задачи)*.

Корреляция генитива с видом составляет предмет отдельного исследования, и в данной работе о виде речи не идет.

3. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАНИЯ

В литературе о генитиве отрицания получила распространение идея о том, что генитив выражает сферу действия отрицания, см. подробное изложение этой точки зрения и, фактически, ее опровержение, в [Partee, Borschev 2002].

В предложениях с конкретно-референтными определенными ИГ можно считать сферу действия отрицания всегда максимальной (пресуппозиция существования и единственности выходит из-под отрицания по правилу о пресуппозициях, а не сферы действия). Так что речь может идти только о предложениях с кванторными словами в составе ИГ. В [Partee, Borschev 2002] отвергается предположение о том, что оппозиция им. и род. падежа в именных группах с *ни один* выражает различие в сфере действия. В самом деле, в примерах (1а) и (1б) генитив выражает различие в позиции наблюдателя (см.

[Падучева 1992]; в (1б) синхронный наблюдатель), а сфера действия отрицания в обоих предложениях одинаковая – максимальная:

- (1) а. *Ни один студент* не был на лекции;
б. *Ни одного студента* не было на лекции.

Каждое кванторное слово требует, однако, отдельного кропотливого анализа. В [Timberlake 1975] приводится два примера с другими кванторными словами⁴, которые интересно рассмотреть в данной связи (эти примеры обсуждаются в проекте NSF Grant № BCS-0418311 to B. Partee and V. Borschev).

Пример 1:

- (2) Ты еще *многого* не знаешь.

В логической структуре, которую естественно сопоставить этому предложению, отрицание находится в сфере действия квантора *существует много*. Если заменить род падеж на винительный, мы получим предложение (3):

- (3) Ты еще *многое* не знаешь,

которое отличается по смыслу от (2) тем, что имеет значение слабой определенности [Падучева 1985: 90–91]: ‘я, говорящий знаю, что именно ты не знаешь, а ты, слушающий, нет’. Сфера действия квантора остается неизменной, так что генитив сферы действия не выражает.

Пример 2:

- (4) *Всё / знать невозможно* \.

Отрицание этого типа было названо с м е щ е н н ы м – частица *не* стоит при глаголе, но по смыслу отрицание воздействует на квантор общности, см. пример смещенного отрицания из [Падучева 1974: 143]:

- (5) Он не решил всех \ ваших задач ≈ ‘он решил не все \ ваши задачи’.

В таком случае,

- (4) ≈ ‘не все можно знать’.

Что касается генитива в предложении со смещенным отрицанием, то он факультативен (хотя и предпочтителен); так, если взять не слово *невозможно*, а квазисинонимичное ему *нельзя*, то при нем допустимы оба падежа, без ощутимого различия смысла:

- (5) а. *Всего* знать нельзя;
б. *Всё* знать нельзя.

В контексте *невозможно* генитив неуместен:

- (6) а. **Всего* знать *невозможно*;
б. *Всё* знать *невозможно*.

Но описать различие между *невозможно* и *нельзя* таким образом, чтобы из него предсказывалось ограничение на генитив, мы не можем. Ясно только, что и в (5а) генитив не выражает изменения в сфере действия отрицания.

Более простые примеры взаимозаменяемости генитива и аккузатива слова *всё*:

- (7) а. *Всего* не перестираешь;
б. *Всё* не перестираешь;
(8) а. *Всего этого* я не знал;
б. *Всё это* я не знал.

⁴ Близкие примеры обсуждаются в [Klenin 1978].

Интересно, что если в (8б) заменить *всё* на *ничто* (в соответствии с законом логики, который отлично работает в естественном языке ($\forall x \neg P(x) \equiv \neg \exists x P(x)$)) генитив становится обязательным:

(5) *Всё это* я не знал \approx *Ничего этого* я не знал.

Короче говоря, в предложениях с *ни*, *много* и *всё* противопоставление генитив vs. аккузатив сферы действия квантора не выражает; равно как и в предложениях с *никакой*; так, *Не читаю я никакой газету* = *никакой газеты*. Квантифицированные именные группы составляют особую проблему, и в данной работе они не рассматриваются.

И еще одно ограничение: мы не касаемся падежа объекта, подчиненного не непосредственно отрицаемому глаголу, а находящемуся при нем инфинитиву, как в *не может связать двух слов, не хочет сравнивать два века*. Тут совмещен референциальный эффект от личного глагола и от инфинитива, что приводит в действие совершенно новые факторы, которые надо исследовать отдельно.

4. ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМА НОРМЫ

Начиная с XIX века в русском языке идет процесс убывания объектного генитива. Норма меняется, семантика противопоставления утрачивается. Как следствие – вариативность, см. [Guiraud–Weber 2002]. Поэтому интерпретация данных, полученных из корпусов и из ответов информантов, – это отдельная задача.

Мы исходим из того, что в русском языке генитив объекта, как и генитив субъекта, на какой-то момент получил определенную семантику, носителем которой сейчас является более старшее поколение. Грубо говоря, генитив выражает либо нереферентность, либо отсутствие Вещи в поле зрения или в личной сфере говорящего, а аккузатив – конкретную референцию.

Современное состояние определяется этой “семантической нормой” и двумя родами отклонений.

Отклонение 1, пережиток: семантическая норма требует аккузатива (поскольку в утвердительном предложении объект был референтной ИГ и отрицание не отменяет референтности: *уговорил / не уговорил Машу*); генитив – пережиток старой нормы. Так, в (1) современная норма требует оформления определенной ИГ *своей тещи* аккузативом; старая дает немаркированное употребление генитива, безразличное к определенности:

(1) Ипполит Матвеевич не любил *своей тещи* (Ильф и Петров. Двенадцать стульев).

Здесь варьирование падежа есть следствие неустойчивости нормы; аккузатив выражает (для носителя средней нормы) определенность, а генитив с *н и м а е т* смысловое противопоставление по определенности. Кроме того, генитив вызывает то характерное стилистическое ощущение старомодности, которое обычно возникает от устаревшей нормы (см. об истории употребления генитива объекта в [Крысько 1997]).

Отклонение 2, инновация. В данном контексте семантическая норма требует генитива, который выражал бы нереферентность, см. (2а); а аккузатив в (2б) – это результат наступления новой нормы, в которой семантика нереферентности, выражаемая генитивом, утрачена (или по крайней мере утрачивается):

(2) а. Она не несет за это *ответственности*;

б. Если что-то будет найдено при повторном обыске, она *ответственность* не несет (Изд. 2005 г.).

Выявлять семантику генитива объекта нужно исходя из существования этих трех хронологических слоев: семантической нормы, старой генитивной нормы и наступающей аккузативной.

На первый взгляд кажется, что достаточно различить две вещи: семантическое противопоставление аккузатив–генитив и вариативность, т.е. отсутствие противопоставле-

ния. На самом деле не совсем так. Там, где речь идет о сохранении старой нормы, аккумулятив однозначно выражает одну из двух возможностей – определенность; а генитив может употребляться не только в своих основных значениях (нереферентность, отсутствие в поле зрения), но и как немаркированный падеж, см. пример (1) раздела 4. Если же речь идет о наступлении новой нормы, то генитив имеет свои основные значения, а аккумулятив снимает противопоставления.

5. РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕННОЙ ГРУППЫ

Итак, для объекта, как и для субъекта, решающим фактором, который определяет предпочтение генитива объекта перед аккумулятивом, является нереферентность и наблюдаемое отсутствие. Для индивидуальных имен правило выбора падежа в первом приближении следующее: если объектом в утвердительном предложении была конкретно-референтная ИГ, то в отрицательном она останется таковой, и объект будет в аккумулятиве; если же в отрицательном предложении ИГ не соотнесена с конкретным объектом в поле зрения говорящего, следует ожидать генитива.

Референциальный статус ИГ в предложении определяется двумя факторами (см. [Timberlake 1975; Klenin 1978]):

- 1) референциальный потенциал имени;
- 2) референциальные предпосылки глагола относительно референции имени.

Начнем с имени. Поскольку квантифицированные ИГ мы исключили из рассмотрения, то референциальные свойства именной группы могут зависеть только от таксономии имени. Следует различить следующие тематические классы имен.

Имена класса ЧЕЛОВЕК (например, имена собственные) максимально индивидуализированы; лицо – самый референтный индивид; отсюда различный выбор падежа при одном глаголе:

- (1) а. не брала с собой сумку / сумки;
б. не брала с собой дочь /²дочери.
- (2) а. Он не отдал мне ключ / ключа;
б. Он не отдал мне дочь /²дочери.

Принадлежность имени к классу ЧЕЛОВЕК объясняет аккумулятив в (3); что же касается (4), то, не исключено, здесь играет роль то, что часть тела (*лицо*) – это часть⁵:

- (3) Я еще толком не рассмотрел *эту самую Катрин* в черной замшевой куртке и мужском черном берете с красным треугольником у виска <...>, а в прихожую уже вошел молодой человек (В. Слипенчук. Зинзивер).
- (4) Этот зонтик был у какой-то дамы, я видел ее вместе с Куколевым накануне его убийства, но *лица* не рассмотрел (Л. Юзефович. Дом свиданий).

У имен класса ЖИВОТНОЕ тоже есть предпочтение к референтному употреблению, но менее сильное, так что допустимо не только (5а), но и (5б), даже если собака одна и определенная:

- (5) а. не взял собаку;
б. не взял собаки.

У предметных имен не лица референциальный статус зависит от контекста. Наименования, построенные на основе функции (назначения) предмета, теряют индивидуальность и легко переходят в родовой статус; так что генитив возможен даже в случае единственности объекта:

- (6) не взяла с собой *свою палку* / *своей палки*; не взяла *ключ* / *ключа*.

Функциональность собаки объясняет и генитив в (5б).

⁵ Здесь и ниже примеры со ссылкой на источник – из Национального корпуса русского языка.

Непредметные имена свойств и состояний (*малодушие, уныние*) (абстрактные по [Timberlake 1975; Mustajoki, Heino 1991]) максимально нереперентны.

В [Mustajoki, Heino 1991] используется, при дистрибутивном анализе генитива объекта, более дробная классификация имен. Например, различаются абстрактные имена с позитивным значением (*удача, успех, слава*) и с негативным (*порок, трата, малодушие*), поскольку позитивные статистически чаще употребляются в генитиве. Однако скорее всего это различие обусловлено тем, что слова *удача, успех, слава* употребляются, в основном, в контексте глаголов приобретения (*добился успеха*), которые принадлежат к числу генитивных.

6. ГЕНИТИВНЫЕ И АККУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Генитив субъекта получил убедительную семантическую трактовку после того, как удалось связать семантику генитивной конструкции с лексической семантикой генитивного глагола: под отрицанием генитивный глагол может выражать: а) несуществование Вещи, б) ее отсутствие в поле зрения, в) неизвестность. Но именно эти компоненты и составляют семантику генитивной конструкции отрицания. Так что можно говорить о своего рода семантическом согласовании между грамматической семантикой падежа и лексической семантикой глагола. Попытаемся сделать то же самое для генитива объекта.

Разделим переходные глаголы на два класса. Глаголы групп G.1–G.5 генитивные – в том смысле, что могут иметь под отрицанием генитивный объект. Это глаголы создания, восприятия, знания, обладания, движения (к наблюдателю). Их семантика такова, что отрицание высказывания с этим глаголом означает, что объект либо не существует, либо не входит в поле зрения субъекта, либо в его сферу сознания, либо в его личную сферу.

Глаголы групп A.1–A.3 аккузативные. Они, напротив, предсказывают референциальный статус ИГ объекта как конкретно-референтный. Определенность (конкретная референтность) ИГ в исходном предложении сохраняется в отрицательном и оформляется аккузативом.

Если в случае генитива субъекта достаточно было выявить как семантически специфичный только класс генитивных глаголов, то здесь полезно иметь в виду оба класса, поскольку в обоих, в принципе, у глагола могут быть вторичные употребления, при которых он переходит из одного класса в другой.

Генитивные глаголы

G1. Глаголы с о з д а н и я. Создание – это каузация существования; возникает новая, ранее не существовавшая Вещь. Отрицание глагола с такой семантикой означает, что Вещь не существует; эта нереперентность ИГ объекта и выражается генитивом. Примеры:

(1) не вырыли канавы, не составляли библиографии, не будет доставлять затруднений, не писал мемуаров, не чувствовал раскаяния, не перечислить всех примеров, не дает поводов <успокаиваться>, не сделал попытки, не ставит запятой <перед “что”>, не готовила обеда, не пекли пирогов, не снимали копии с этого документа, не создали условий.

Создание понимается достаточно широко. Например, у глагола *выбрать* объект обозначает Результат, и такой объект тоже оформляется при отрицании глагола генитивом:

(2) не выбрали старосты; он пока не выбрал себе квартиры.

Но глагол создания совместим и с вин. падежом; вин. падеж может выражать присутствие предварительного образа Вещи в сознании Агенса:

(3) не написал статью <, которую хотел написать>.

G2. Глаголы в о с п р и я т я – *видеть, слышать, чувствовать, замечать*. С генитивностью глаголов восприятия мы знакомы по генитиву субъекта. Они допускают противопоставление вин. и род. падежа в одном и том же контексте.

а) Если падеж винительный, то отрицается только восприятие – говорящий допускает, что Вещь присутствует в Месте.

б) Если генитив, то возникает, в дополнение к утверждаемому отрицанию восприятия, инференция отсутствия Вещи в Месте или в личной сфере субъекта:

(1) не вижу *Маши* \supset *Маши* здесь нет.

Про предложение (2) в [Апресян 1985] говорится, что в нем генитив дублирует идею неизвестности, выраженную в глаголе:

(2) Я не слышал *этой сонаты*.

Другие примеры:

(3) а. Майор как будто не слышал *этой фразы* (Г. Матвеев. Зеленые цепочки).

б. Майор никогда еще не слышал *эту песню* (В. Белов. За тремя волоками).

(4) Я не знал, кто такой Ленин, никогда не слышал *этой фамилии* (Б. Ефимов. Десять десятилетий).

Впрочем, в (5) генитив при очевидной известности:

(5) Больше месяца не слышал *этой музыки* (Э. Казакевич. Звезда).

В (5) ИГ одушевленная, и дополнение в аккумулятиве:

(6) Тогда почти никто не слышал *эту группу*, но знатоки говорили, что круто (А. Вяльцев. Путешествия в одну сторону // Звезда. 2001. № 6).

Если имя абстрактное, то генитив предпочтителен:

(7) Я нигде не встречал такого *безразличия*.

Генитивное поведение глагола *читать* можно объяснить его принадлежностью к глаголам восприятия. См. пример (8), где ИГ с указательным местоимением, несмотря на определенность (и, следовательно, конкретную референцию), стоит в генитиве:

(8) Ни при какой погоде Я *этих книг*, конечно, не читал (С. Есенин).

G3. Глаголы з н а н и я (*знать, понимать, помнить*). Генитив подчеркивает идею неизвестности, незнания, уже выраженную в глаголе. Поэтому в контексте глагола знания возможен генитив, исключенный, например, в контексте глагола воздействия:

(1) а. Я не понимаю *этой женщины*;

б. *Я не бью *этой женщины*.

Объект глаголов *знать, понимать, помнить* часто является именем параметра:

(2) не знает *имени, названия, автора*;

не понимает *причин, преимуществ, ценности, отличия*;

не помню *фамилии*; Рита сказала, что не помнит *телефона* (Ю. Трифонов. Предварительные итоги).

Глагол *знать* генитивный также и в выветренных употреблениях, где он, в контексте отрицания, выражает просто несуществование (*Искусство не знает титулов* = 'в искусстве нет титулов'):

(3) Искусство не знает *титулов и рангов*, – горячо возразила я (С. Довлатов. Дорога в новую квартиру).

(4) Я, честно говоря, не знаю *заведений* подобного формата ни в Москве, ни на Западе. (Изв. 13 окт. 2002 г.)

Восприятие концептуализуется как нахождение в поле зрения; а знание – как нахождение в сознании или памяти, т.е. в том или ином пространстве, составляющем личную сферу субъекта.

Контекст глагола знания дает возможность выбора падежа:

(5) а. Он не знает *дороги* к партизанам, – ответила мать (А. Рыбаков. Тяжелый песок).

б. Вы не знаете *дорогу* к яме? (А. Рыбаков. Тяжелый песок).

G4. Глаголы о б л а д а н и я. При глаголах обладания широко употребляется генитив объекта. В утвердительном предложении с глаголом обладания ИГ объекта референтная: Вещь входит в мир / в поле зрения / в личную сферу субъекта. Соответственно, в отрицательном предложении Вещь остается за пределами поля зрения:

(1) не достал *билета*, не купил *машины*, не имею *дачи* (*возможности, жены, данных, разрешения*), не будет доставлять *затруднений*, не приводил *примеров* другого рода, не приобрел *тетю подружку*, не дает *привилегий*, не получили *писем*.

Пример (2) демонстрирует роль определенности:

(2) а. Вчера мне не дали *это письмо* [письмо в руках];

б. Вчера мне не передали *этого письма* [письмо далеко].

Таким образом, генитивность глаголов обладания тоже объясняется конфигурацией “наблюдаемое отсутствие”. Характерно совмещение значений несуществования, в (3б), и отсутствия в личном пространстве, в (3а), у глагола *получить*:

(3) а. не получил *ответа*;

б. В результате она так и не получила *диплома* (С. Довлатов. Чемодан).

G5. Глаголы п е р е м е щ е н и я (а именно, каузации перемещения). Объект будет в генитиве, если в результате перемещения Вещь должна была войти в рассмотрение, т.е. в личное пространство говорящего:

(1) не вернул *словаря*, не взял своих *книг*.

Если движение не в сторону говорящего, то выбирается аккузатив:

(2) не покинул *столицу*, не перешел *улицу*, не перенесли *ящики* в коридор, не перетаскивали *шкаф* в соседнюю комнату.

Двоякий падеж объекта глаголов перемещения известен и по субъектному генитиву, ср. пример из [Babby 1980]:

(3) *Ответ* из полка не пришел – *Ответа* из полка не пришло.

Итак, генитив объекта свойствен глаголам, у которых утвердительная форма выражает возникновение Вещи в мире, появление ее в поле зрения или в сознании наблюдателя. В этом случае отрицание означает, что объекта нет – опять-таки, в мире, в поле зрения или в сознании. Иными словами, под отрицанием в семантике глагола возникает компонент ‘не существует / не вижу / не знаю’. Он и выражается, плеонастически, род. падежом. На этом фоне аккузатив, если он возможен, выражает определенность, знакомство говорящего с объектом.

Общее значение генитива в контексте пяти классов генитивных глаголов состоит в том, что Вещь либо не существует в мире, либо отсутствует в поле зрения / личном пространстве: это своего рода подтверждение локалистской теории падежа.

З а м е ч а н и е. В [Ицкович 1982: 41] родительный в примерах (а)–(г) признается употребленным “на месте ожидаемого винительного”. Между тем, при учете лексического значения глагола генитив в этих примерах полностью соответствует норме и никак не противоречит ожиданию. В (а) глаголы создания, в (б) – восприятия, в (в) – перемещения, в (г) – знания:

(а) не воссоздает *картины*; не описывает *этого события*; не напишет ей *письма*;

(б) не различил *дороги*; не видит *трупов*; не услышал *ответов*; не нашел *Маши*;

(в) не приглашал *делегаций*; не посетил *музея*;

(г) не помнил родной *матери*.

А.1. Глаголы физического воздействия (такого как удар, давление, прикосновение, изменение положения, обработка). Воздействие, *hic et nunc*, предполагает определенный объект, поэтому при отрицании преобладает аккузатив:

- (1) Почему ты не побил Ваню? Он не поглядел рубаишку;
Не гаси фонарь; Один орех я не расколол.

Генитив в (2) звучит как устаревшая норма:

- (2) не открыли дверей.

В классе глаголов физического воздействия следует различить собственно воздействие и уничтожение (каузацию несуществования). Исходное утвердительное предложение с глаголом уничтожения означает прекращение существования. Тем самым отрицательное предложение с глаголом в сов. виде оказывается в каком-то смысле тавтологичным: оно утверждает то, что составляет его пресуппозицию, ср. странное *Он не отравил женщину*. Поэтому в таких предложениях почти обязательно возникают имплицатуры (например, ‘известно, что собирался’, или ‘ожидалось’, и т.д.) – иначе предложение звучит странно, см. [Падучева 1996: 55].

Несов. вид способствует подавлению конкретной референтности. Генитив в этом случае выражает отрицание не только действия, но и существования / присутствия его объекта в поле зрения предполагаемого деятеля:

- (3) Я не разбил чашку – Не разбивал я <никакой> чашки.

Интересно, что объект глаголов уничтожения, несмотря на свою пресуппозицию существования, все-таки может быть выражен генитивом – особенно при несов. виде, как в (4а) и (5); иными словами, у глаголов уничтожения генитив семантически не мотивирован – они ведут себя аналогично глаголам создания:

- (4) а. Террористы не взрывали газопровода;
б. Они не построили газопровода.

- (5) Он соизмерял сегодняшние события с историческими фактами, цитируя Павла Рябушинского: “Господа социал-демократы, не разрушайте здания, в котором мы живём” (Время МН. 31 июля. 2003).

То же явление наблюдается в классе ментальных глаголов. Ср. *забыть* и *помнить*. Генитивность глагола *помнить* семантически мотивирована: *не помнить* выражает отсутствие в памяти, что соответствует конфигурации “наблюдаемое отсутствие”. Однако генитивным является также глагол *забыть*, с пресуппозицией существования объекта, которая сохраняется при отрицании:

Никогда не забуду выражения растерянности и вместе с тем готовности к сопротивлению, которое было написано у него на лице, когда он выскочил на поверхность воды (Ф. Искандер. Мой кумир).

И вот тут, мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы русский народ сейчас не забыл *сознания* единства, не забыл *ликования* о том, что все слились в единое чувство (Антоний, митрополит Суражский. О событиях в Москве 19–22 августа 1991 г.).

Такую же пару составляют *найти* и *потерять*: при *не найти* генитив семантически мотивирован, а генитивный эффект у *не потерять* (*не терял времени, надежды, самообладания*) – это своего рода выравнивание по аналогии.

Аналогично с фазовыми глаголами, ср. *назначить* и *отменить*: у *не назначить* генитив семантически мотивирован, а генитивный эффект у *не отменить* (*не отменил собрания*) – нет.

Итак, при общем сходстве условий употребления генитивного субъекта и генитивного объекта, имеется отличие: у генитивного объекта уменьшается доля непосредственной семантической мотивированности падежа – в пользу аналогического выравнивания.

Аналогичные системные расхождения между субъектом и объектом (в субъекте – семантика, в объекте – аналогия) демонстрируются примерами:

- (8) а. *Сомнений *не рассеялось*;
б. Его приход *не рассеял* сомнений.
- (9) а. *Собрания *не отменено*;
б. Он *не отменил* собрания.
- (10) а. *Договора *не было нарушено*;
б. Они *не нарушили* договора.

Таким образом, стратегии выбора генитива для субъекта и объекта все-таки различны: в сфере субъекта генитив семантически мотивирован гораздо более последовательно, ср. различную генитивность глаголов *возникнуть* и *исчезнуть* [Падучева 1992].

А2. Глаголы э м о щ и и (а именно, каузации эмоционального состояния). Объект при таком глаголе, как правило, относится к классу ЛИЦО. Пресуппозиция существования остается неизменной при отрицании, так что падеж объекта винительный:

- (1) Сообщение *не испугало* (обрадовало, взволновало, обидело, рассердило, возмутило) Марию.

Глаголы эмоционального состояния допускают объект (не-лица) в генитиве:

- (2) не люблю *громкой музыки*; не люблю *этих книг*.

А3. Глаголы р е ч и. Если объект – имя лица, то падеж только винительный. Примеры глаголов, обладающих этим свойством:

вдохновить, вознаградить, воспеть, восславить, высмеять, допросить, заверить, инструктировать, назначить, настроить, научить, обвинить, обидеть, обмануть, обругать, описать, упрекнуть, оповестить, оправдать, (от)пустить, оскорбить, осудить, отметить, очернить, поблагодарить, поддержать, поддразнить, подозвать, пожалеть, позабавить, позвать, поздравить, познать, поправить, попросить, похвалить, предостеречь, предупредить, приветствовать, пригласить, приговорить, призвать, проклясть, простить, разоблачить, расспросить, спросить, убедить, уверить, уволить, умолять.

Глаголы речи с перлокутивным компонентом аккузативные, см. (1а); однако объект, который не является именем лица, может быть и в генитиве:

- (1) а. Она не простила *Машу*;
б. Мать не простила мне *моего замужества*.

Генитив в (2) можно трактовать как имеющий партитивное значение; *молодежи* = ‘никого из молодежи’:

- (2) Почему не пригласили *молодежи*?

Перечисленные глаголы концептуализуют ситуацию как воздействие. Если же семантика глагола может трактоваться как перемещение или помещение объекта в поле зрения (о соответствующей семантической деривации см. на примере *добавить* в [Падучева 2004]), то возможен генитив. Ср. глагол *упомянуть*, который означает введение в поле зрения:

- (3) Он не упомянул *твоей подруги*.

Итак, аккузативность глагола означает пресуппозицию существования и единственности или вхождения Вещи в перцептивное пространство / личную сферу говорящего.

7. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

При выборе падежа объекта в отрицательном предложении играют роль, помимо семантики глагола и референциального потенциала имени, и другие факторы.

Одно из первых различий, которое нужно провести, – между обычным отрицанием и контрастным, т. е. отрицанием, входящим в состав оборота *не ... а* [Богуславский 1985]. Контрастное отрицание не дает генитива:

(1) *Газет он не читает, а просматривает.

Следует принять во внимание еще два специальных типа отрицания. Первое – это так называемое смещенное отрицание. В (2а) отрицание смещенное (и на кванторном слове обязательно должно стоять усиленное ударение); оно совместимо и с вин. и род. падежом:

(2) Он не пропъет *всех* \ денег (*все* \ деньги).

Второй тип – глобальное отрицание в контексте снятой утвердительности, см. [Падучева 2005]. В таком контексте генитив практически исключен:

(3) Он купит машину, если только не пропъет *все* деньги (**всех* денег);

(4) Игоря душили полиэтиленовым пакетом, пока он не терял *сознание* (**сознания*).

Некоторые примеры запрещенного генитива, обсуждаемые в [Timberlake 1975] и [Mustajoki, Heino 1991], на самом деле объясняются глобальным отрицанием:

(5) Если бы я не потерял *очки* (**очков*), не пришлось бы покупать новые;

Я бы его не испугался, если бы он не держал в руке *пистолет* (**пистолета*).

(6) И Илья, внезапно обессилев, опустился на пол спортивного зала и завертел бессмысленно головкой, пока вдруг не рассмотрел *что-то* маленькое и круглое под штангой (Д. Липскеров. Последний сон разума).

Препятствием для генитивного объекта служит утвердительное предположение (см. [Mustajoki 1985]):

(7) Не держал ли он в руках *газету* (**газеты*)?

В примере (8а) утвердительное предположение, и выбирается аккузатив; без предположения, в (8б), – генитив:

(8) а. Не знаешь, *пенсию* не дадут?

б. *Пенсии* не дадут.

В сочетании *чуть не* нет утвердительного предположения – в нем просто нет отрицания, так что генитив неуместен:

(9) Я *чуть не* разбил рюмку.

Препятствием для генитива объекта служит наличие соподчиненного, особенно творительного предикативного ([Restan 1960; Равич 1971; Timberlake 1975] и др.):

(10) а. Я еще не считаю *дачи*;

б. Я не считаю *дачу* своей собственностью.

Правда, в (11) объект в генитиве, несмотря на наличие соподчиненного; однако аккузатив был бы тут более уместен:

(11) Вы не отличаете *таланта* от ремесленной работы.

Одно из условий на генитив субъекта состоит в том, что глагол должен занимать определенное место в тема-рематической структуре предложения – быть вершиной сферы действия отрицания, а не входить в сферу действия обстоятельства-адъюнкта [Падучева 1997]; в самом деле, в (12б) отрицаемый компонент является пресуппозицией и вообще не подвергается отрицанию:

(12) а. *Реорганизации* не было проведено;

б. *Реорганизация* не была проведена в срок (**Реорганизации* не было проведено в срок).

То же самое касается и генитива объекта – в (13) из-за наличия соподчиненного, предикация с финитным глаголом оказывается пресуппозицией и вообще не подвергается отрицанию:

- (13) не переходи *улицу* (*улицы) в ЭТОМ МЕСТЕ;
не закончили *работу* (*работы) ДО ТЕМНОТЫ.

То же в (14):

- (14) а. *Дверей* не закрывай;
б. *Двери* ПЛОТНО не закрывай.

В [Mustajoki, Heino 1991] перечислено огромное множество генитивных и аккумулятивных “факторов”, по каждому из которых проведено статистическое обследование. Работа содержит богатый материал и пищу для размышлений. Некоторые факторы, однако, сводимы одни к другим, и могут не рассматриваться как отдельные.

1. Согласно статистическим данным [Mustajoki, Heino 1991], генитив объекта преобладает у местоимения *это*. Можно думать, дело в том, что *это* чаще всего имеет антецедентом непредметное имя, и у него те же референциальные свойства, что у непредметных имен.

2. Вопросительные предложения и императивы обнаруживают процент аккумулятивов, превосходящий норму (в императивах 52,8% на фоне средних 37,1%). Объяснение может состоять в том, что вопрос и императив свойственны преимущественно разговорной речи, где продвинутая норма. Вообще, вопросительные предложения столь разнообразны по семантике, что статистика тут бесполезна для семантики.

3. В [Mustajoki 1985] (см. также [Guiraud-Weber 2002]) обсуждаются устойчивые сочетания типа *не обращай внимания, не играет роли*, с генитивным объектом. Едва ли, однако, это отдельный “генитивный фактор”. Генитив в этих сочетаниях является следствием непредметности и, соответственно, нереферентности имени в составе сочетания. Так, в *не морочь голову*, где имя относится к предметному Т-классу ЧАСТЬ ТЕЛА и имеет референт, напротив, возможен только аккумулятив. Устойчивые сочетания – безусловно важный момент в условиях меняющейся нормы. Однако имеет смысл отличить те употребления, которые не соответствуют семантической норме потому, что остались от старого узуса (как *не носить головы*), от тех, которые, напротив, являются “ростками нового”, как *не несет ответственность, не создали условие, не возбуждает жалость, не обращает внимание, не привлекает внимание, не придает значение*.

4. Не является отдельным фактором глагол *иметь* – достаточно знать, что это глагол обладания.

5. Партитивность связана с усиленным отрицанием: возникает смысл ‘даже части нет’. Это объясняет предпочтение генитива в контексте частиц *и, даже*, которые отмечены в [Mustajoki 1985] как отдельный фактор.

6. Предпочтение аккумулятива в контексте *еще не, так и не* [Mustajoki 1985: 158] объясняется семантикой ожидания или нахождением объекта в общем поле зрения говорящих, следствием чего является определенность:

- (13) а. Я *еще* не достал *билеты* ([?]*билетов*) на “Щелкунчик”;
б. Я не достал *билетов* на “Щелкунчик”.

Семантику ожидания как фактор, объясняющий генитив субъекта, демонстрирует пример из [Падучева 1985: 107]; так, в (а) есть импликация ‘строительство гостиницы было запланировано’ или о ней шла речь; а в (б) ничего такого нет:

- (14) а. *Гостиница* не построена;
б. *Гостиницы* не построено.

Наше исследование подтвердило исходную гипотезу о сходстве семантики генитива объекта и субъекта. Падеж объекта (как и субъекта) в отрицательном предложении коррелирует с референциальным статусом ИГ. Если в исходном утвердительном предложении ИГ не была конкретно-референтной, при отрицании возникает семантический компонент ‘объект не существует’, который и выражается генитивом, см. (1а); генитив конкретно-референтного объекта выражает конфигурацию “наблюдаемое отсутствие”, см. (1б):

- (1) а. написал *письмо* – не написал *письма* [объекта не существует];
 б. вижу *Маишу* – не вижу *Маши* [объект отсутствует в поле зрения].

Референциальный статус именной группы лишь отчасти выражен в ее собственной структуре; в существенной степени он предопределен тематическим классом и аспектуальной семантикой глагола. Например, у переходного глагола эмоции объект ЛИЦО имеет конкретно-референтный статус, и при отрицании выражается аккузативом:

- (2) а. обидел *Ваню*;
 б. не обидел *Ваню* (**Вани*).

Онтологическая природа имени в составе объектной (как и субъектной) ИГ тоже играет роль. Так, имена массы в отрицательном предложении обычно имеют генитив – в паргитивном значении (поскольку в случае имен массы часть представляет целое). Мы рассматривали два класса именных групп – (I) индивидуальные (конкретно-референтные) и (II) родовые.

I. Если ИГ объекта индивидуальная, определенная, таксономический класс – лицо (например, это собственное имя), а глагол не имеет специально генитивной семантики, то в отрицательном предложении объект будет в аккузативе:

- (3) не побил *Ваню* (**Вани*); не оскорбил *дочь* (**дочери*).

Генитив в контексте глаголов восприятия, знания, обладания, перемещения выражает семантическую конфигурацию, которую мы назвали “наблюдаемое отсутствие”. Это та самая конфигурация, которая была выявлена в [Падучева 1992] в качестве семантической основы генитива у глагола *быть*. Но при непереходном глаголе наблюдатель вынужден был ютиться за кадром; между тем, если глагол переходный, как в случае генитива объекта, то наблюдателем может быть лицо, обозначенное подлежащим:

- (4) а. *Вани* не б ы л о в школе [конфигурация “наблюдаемое отсутствие”];
 наблюдатель за кадром];
 б. Петя не н а ш е л *Вани* в школе [конфигурация “наблюдаемое отсутствие”];
 наблюдатель – субъект].

В контексте глаголов знания наблюдаемое отсутствие (объекта или факта) – это неизвестность:

- (5) Я так и не узнал *конца* этой истории [⇒ ‘я, говорящий, не знаю, чем она кончилась’];
 Он так и не узнал *конец* этой истории [⇒ ‘я, говорящий, знаю конец’].

Конфигурация “наблюдаемое отсутствие” больше, чем традиционная определенность, говорит о природе конкретной референции; она выявляет общность концептов отсутствие и несуществование (не существует – в мире, отсутствует – в личном пространстве, см. [Падучева 1997]).

Показателен пример (6). В (6а), где аккузатив, речь идет, скорее всего, о книгах, которые находятся в пространстве говорящего – в его личной сфере; а в (6б) генитив выражает “наблюдаемое отсутствие” объекта в поле зрения / личной сфере:

- (6) а. *Твои книги* мне не нужны;
 б. Мне не нужно *твоих книг*.

В (7) мы имеем то же противопоставление:

- (7) а. Он так и не прочел “*Капитанскую дочку*”;
- б. Он не прочел “*Капитанской дочки*”.

Получил объяснение генитив в именных группах с местоимением *этот*. Сама по себе определенность не предопределяет выбора падежа: ИГ вида “*этот* + существительное”, предположительно определенная, может быть нереферентной (*не написал этого письма*) или входить в конфигурацию наблюдаемое отсутствие (*не знаю этой книги*). В обоих случаях мы имеем законный генитив.

Промежуточную референцию имеют имена предметов, предназначенных для выполнения какой-то функции. Они допускают и аккузатив и генитив, но смысловое противопоставление пока не удастся идентифицировать:

- (8) Жена не отдала мне *ключи* / *ключей* от гаража.

II. Если объект – имя массы, то генитив выражает партитивность, см. пример (7) в разделе 2. Возьмем в качестве контекста для ИГ родового статуса *не люблю* и близкие к нему (*не терплю, не пью, не ем*). Генитив дает акцент на количественном аспекте партитивного значения, а аккузатив противопоставляет данную субстанцию другим:

- (1) а. не ем *ветчины* – ‘несколько’;
- б. не ем *ветчину* – ‘в противоположность другим видам еды’.

То же для абстрактных имен, которые концептуализуются как массы:

- (2) а. не люблю *громкой музыки*;
- б. не люблю *современную музыку* [в противоположность другим видам музыки].

Примеры генитива в партитивном значении у абстрактных имен:

- (3) не получил *удовольствия*, не услышал в голосе *жалости*, не проявил *сочувствия*;
- не даете мне *работы, основания, возможности, права*.

Именно в этом контексте ощутимо наступление аккузатива (Национальный корпус показывает примерно одинаковую цифру – больше ста употреблений) и для *не несет ответственности* и для *не несет ответственность*.

Вернемся к связи между субъектным генитивом и генитивом объекта.

1. Наше исследование подтвердило целесообразность с е м а н т и ч е с к о г о подхода к генитиву отрицания: выявить семантические оппозиции, которые могут быть выражены меной падежа, оказывается легче, чем сформулировать правила допустимости вин. или род. падежа в том или ином контексте.

2. Подтвердилась референциальная основа семантики генитива. Эта основа для объекта и для субъекта одна и та же: генитив объекта, как и генитив субъекта, в случае индивидуального термина выражает либо нереферентность, либо наблюдаемое отсутствие. В контексте имен массы генитив объекта (как и субъекта) выражает партитивность.

3. Подтверждается роль лексической семантики как основы семантической интерпретации генитива. Другое дело, что для генитива субъекта достаточно было различить два класса глаголов – бытийные и восприятия, тогда как для генитива объекта классов значительно больше: устойчивый генитивный эффект дают глаголы создания, восприятия, знания, обладания, перемещения.

4. Единообразное толкование лексических и референциальных значений показало, что имеется семантическое согласование между глаголом и именной группой. Существование / несуществование, присутствие / отсутствие, восприятие / не-восприятие, знание / незнание входят и в лексическую семантику глагола, и в референциальную семантику именной группы. В сфере генитива объекта в полную силу проявили себя как генитивный класс глаголы знания (в сфере субъекта они почти не были представлены), что позволило поставить в связь семантику незнания в глаголе и неопределенность-неизвестность в именной группе.

До последнего времени работы о генитиве не касались семантики отрицания. Сейчас известно несколько разных видов отрицания: помимо обычного прилагательного (семантически общего) отрицания, есть отрицание контрастное, а также смещенное и глобальное отрицание. Эти различия существенны и для выбора падежа объекта.

При общем сходстве лексической базы генитивного субъекта и объекта, имеются и различия. Так, субъект глагола уничтожения, см. (4а), не может быть в генитиве, поскольку отрицание сохраняет презумпцию существования Вещи (*сомнений*); между тем в позиции объекта презумпция существования Вещи не препятствует генитиву, см. (4б):

(4) а. *Сомнения* не рассеялись (**Сомнений* не рассеялось);

б. Он не рассеял *моих сомнений*.

Вообще, семантическая мотивированность субъектного генитива более последовательна, чем объектного; подтверждением тому является, в частности, одинаковый генитивный эффект у глагола и его антонима (например, у *помнить* и *забыть*; у *найти* и *потерять* и др.).

Остается множество проблем, которых мы не касались (например, корреляция генитива с видом, или которые не удалось решить до конца (например, референциальные предпосылки, вытекающие из таксономического класса именной группы). Лексическая предопределенность референции является несомненным фактом, но лексическое значение глагола изменчиво, и его влияние на статус именной группы подлежит дальнейшему изучению**.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1974 – Ю.Д. *Апресян*. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян 1985 – Ю.Д. *Апресян*. Синтаксические признаки лексем // *Rling*. V. 9. № 2–3. 1985.
- Апресян 1986 – Ю.Д. *Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
- Арутюнова, Ширяев 1983 – Н.Д. *Арутюнова*, Е.Н. *Ширяев*. Русское предложение: Бытийный тип. М., 1983.
- Богуславский 1985 – И.М. *Богуславский*. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
- Борщев, Парти 2002 – В.Б. *Борщев*, Б.Х. *Парти*. О семантике бытийных предложений // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.
- Бульгина 1982 – Т.В. *Бульгина*. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов / Отв. ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982.
- Есперсен 1958 – О. *Есперсен*. Философия грамматики. М., 1958.
- Ицкович 1974 – В.А. *Ицкович*. Очерки синтаксической нормы // Синтаксис и норма. М., 1974.
- Ицкович 1982 – В.А. *Ицкович*. Очерки синтаксической нормы. М., 1982.
- Крысько 1997 – В.Б. *Крысько*. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М., 1997.
- Кустова 2004 – Г.И. *Кустова*. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.
- Падучева 1974 – Е.В. *Падучева*. О семантике синтаксиса. М., 1974.
- Падучева 1977 – Е.В. *Падучева*. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
- Падучева 1985 – Е.В. *Падучева*. Высказывание и его соотношенность с действительностью. М., 1985.
- Падучева 1992 – Е.В. *Падучева*. О семантическом подходе к синтаксису и генитивном субъекте глагола БЫТЬ // *RLing*. V. 16. 1992.

** Работа неоднократно обсуждалась на заседаниях семинара под руководством Барбары Парти в рамках проекта National Science Foundation, Grant № BCS-0418311. Многие примеры были предложены участниками семинара; однако за их трактовку автор отвечает сам.

- Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 1997 – *Е.В. Падучева*. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // ВЯ. 1997. № 2.
- Падучева 2004 – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Падучева 2005 – *Е.В. Падучева*. Еще раз о генитиве субъекта при отрицании // ВЯ. 2005. № 5.
- Равич 1971 – *Р.Д. Равич*. О выборе падежа прямого дополнения при переходных глаголах с отрицанием в русском языке // Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971.
- Тестелец 2001 – *Я.Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Томсон 1903 – *А.И. Томсон*. Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке // Русский филологический вестник. XLIX. Варшава, 1903.
- Babby 1980 – *L.H. Babby*. Existential sentences and negation in Russian. Ann Arbor, 1980.
- Bach 1986 – *E. Bach*. The algebra of events // Linguistics and philosophy. V. 9. 1986.
- Borschev, Paducheva, Partee et al. 2006 – *V. Borschev, E. Paducheva, B. Partee, Y. Testelecs, I. Yanovich*. Sentential and constituent negation in Russian BE-sentences revisited // Formal approaches to Slavic linguistics: The Princeton Meeting 2005. Ann Arbor, 2006.
- Guiraud-Weber 1984 – *M. Guiraud-Weber*. Les propositions sans nominatif en russe moderne. P., 1984.
- Guiraud-Weber 2002 – *M. Guiraud-Weber*. Le marquage différentiel de l'objet en russe moderne: quoi de neuf? // Essais sur le discours de l'Europe éclatée. 2002. № 20.
- Guiraud-Weber 2003 – *M. Guiraud-Weber*. Еще раз о русском генитиве отрицания: взгляд со стороны // Rling. 2003. № 3.
- Hunyadi 1981 – *L. Hunyadi*. Отрицание и конструкции с числительными в современном русском языке // Annales Instituti philologiae slavicae universitatis debreceniensis de Lodovico Kossuth nominatae. Debrecen, 1981.
- Jackendoff 1990 – *R.S. Jackendoff*. Semantic structures. Cambridge (Mass.), 1990.
- Klenin 1978 – *E. Klenin*. Quantification, partitivity and the genitive of negation in Russian // B. Comrie (ed.). Classification of grammatical categories. Urbana, 1978.
- Mustajoki 1985 – *A. Mustajoki*. Падеж дополнения в русских отрицательных предложениях 1: Изыскание новых методов в изучении старой проблемы // Slavica Helsingiensia. V. 2. Helsinki, 1985.
- Mustajoki, Heino 1991 – *A. Mustajoki, H. Heino*. Case selection for the direct object in Russian negative clauses // Slavica Helsingiensia. V. 9. Helsinki, 1991.
- Partee, Borschev 2002 – *B.H. Partee, V.B. Borschev*. Genitive of negation and scope of negation in Russian existential sentences / Annual workshop on formal approaches to Slavic linguistics: the second Ann Arbor Meeting 2001 / J. Toman (ed.). Ann Arbor, 2002.
- Partee, Borschev 2004 – *B.H. Partee, V.B. Borschev*. The semantics of Russian genitive of negation: The nature and role of perspectival structure // Proceedings of semantics and linguistic theory 14 // K. Watanabe, R.B. Young (eds.). Ithaca; New York, 2004.
- Restan 1960 – *P.A. Restan*. The objective case in negative clauses in Russian: the genitive or the accusative? // Scando-Slavica. 1960. V. 6.
- Timberlake 1975 – *A. Timberlake*. Hierarchies in the genitive of negation // Slavic and East European journal. V. 19. 1975.

© 2006 г. О. В. ДРАГОЙ

**РАЗРЕШЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ:
ПРАВИЛА И ВЕРОЯТНОСТИ**

Естественному языку свойственны предложения, в которых существует более одного способа синтаксического анализа, и носитель языка должен преодолеть эту неоднозначность, чтобы адекватно проинтерпретировать сообщение. Данные психолингвистических экспериментов свидетельствуют о существовании межъязыковых различий в понимании конструкций типа *Кто-то застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе*. Для объяснения этого факта выдвинут ряд гипотез: одни лишь модифицируют принцип универсального синтаксического анализа, другие предлагают новые правила, специфичные для конкретного языка, третьи ориентированы на вероятностный подход. В настоящей статье приводятся результаты экспериментального и корпусного исследований на материале русского языка, свидетельствующие в пользу языковой специфичности механизмов анализа и использования в процессе разрешения указанного вида многозначности как правил, так и информации о лингвистических вероятностностях.

0. ВВЕДЕНИЕ

Неоднозначность присуща любому естественному языку на всех его уровнях. Когда человек воспринимает (читает, слышит) некий текст, ему нужно одновременно принимать множество решений относительно его интерпретации. В частности, это касается синтаксического анализа: как слова группируются во фразы и каким образом новая фраза должна присоединяться к предыдущей. Проблема неоднозначности, как правило, не актуальна для говорящего или пишущего – в нормальной коммуникации люди не вкладывают в высказывание одновременно несколько смыслов. Выбор между различными вариантами интерпретации осуществляется только в процессе понимания (у слушающего или читателя).

Так, предложения типа (1) с определительным придаточным, которое модифицирует одно из трех существительных, входящих в состав сложной именной группы (ИГ), демонстрируют неоднозначность интерпретации:

- (1) *Теракты изменили философию системы безопасности, которая раньше требовала от пилотов выполнения приказов террористов: посадить самолет в любом аэропорту, а затем начать переговоры...* [Известия, 2002.10.27]

При совпадении рода и числа существительных придаточное *которая раньше требовала от пилотов выполнения приказов террористов...* может относиться к любому из трех имен: *философия* (ИГ1), *система* (ИГ2) или *безопасность* (ИГ3), а все предложение имеет три прочтения:

- (1а) *выполнения приказов террористов требовала философия* (придаточное модифицирует ИГ1),
 (1б) *выполнения приказов террористов требовала система* (придаточное модифицирует ИГ2),
 (1в) *выполнения приказов террористов требовала безопасность* (придаточное модифицирует ИГ3).

Очевидно, в данном случае неоднозначность возникает из-за невозможности установить референциальные отношения в предложении вне более широкого контекста: рассматривая высказывание изолированно, мы можем по-разному построить синтаксические связи между частями предложения. Тем не менее, в условиях реальной коммуникации мы успешно преодолеваем эту неоднозначность. Вопрос заключается в том, какие принципы лежат в основе интерпретации синтаксически неоднозначных предложений подобного типа.

Далее, в первом разделе статьи, мы рассмотрим первые разработки проблемы синтаксической неоднозначности в отечественной и западной традициях, а также обоснуем выбор конструкции, находящейся в фокусе нашего исследования, – предложения с определительным придаточным, которое модифицирует сложную ИГ. Проблема синтаксической неоднозначности рассматривается в рамках двух основных направлений: одно предлагает анализ, основанный на правилах, второе – вероятностное прогнозирование разрешения неоднозначности. Описанию соответствующих моделей посвящен второй раздел. В третьем представлены проведенные нами на материале русского языка психолингвистическое и корпусное исследования, направленные на выявление факторов, которые определяют анализ неоднозначных предложений с придаточным, модифицирующим сложную ИГ. Наконец, в последней части статьи обобщены результаты выполненной работы.

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Работы отечественных авторов, посвященные вопросу разрешения синтаксической неоднозначности, начали появляться в 1960-х годах и были связаны с задачей автоматической обработки текстов естественного языка [Иорданская 1967; Гладкий 1985; Дрейзин 1988]. Ранее данная проблема исследовалась, главным образом, в стилистике. При этом, как отмечает Л.Н. Иорданская [Иорданская 1967], рассматривались наиболее явные случаи синтаксической неоднозначности. За прошедшие сорок лет проблема не потеряла актуальности, и приходится признать, что в настоящий момент “полностью автоматизированные процедуры, даже самые эффективные, не могут обеспечить надежно разрешения лингвистической неоднозначности” [Июдин и др. 2005].

При разработке систем автоматического анализа и перевода текстов используется несколько способов преодоления многозначности: формулируются и уточняются правила обработки языковых данных; разрабатываются вероятностные анализаторы, учитывающие статистику употребления языковых единиц; создаются базы знаний, позволяющие учитывать экстралингвистическую информацию [Лазурский и др. 2005]. Представляется продуктивным использование гибридного подхода: например, учет и правил, и вероятностей, что реализовано, например, в лингвистическом процессоре ЭТАП-3 [Богуславский и др. 2003]. Однако пока все эти методы ограничены по эффективности и, безусловно, проигрывают механизмам, которые задействует человек при понимании предложений, имеющих более одного способа анализа. В связи с этим возникает вопрос, насколько указанные подходы соответствуют тем процессам, которые происходят в сознании носителя языка при разрешении многозначности.

Проблема отыскания принципов, лежащих в основе принятия таких решений человеком, получила широкое освещение в работах западных психолингвистов. Первые модели анализа предложения опирались на теорию Хомского [Chomsky 1965]: они утверждали, что механизм анализа подчиняется строгим правилам и является универсальным. Так, предложенная в 70-х годах XX в. Модель заблуждения (Garden Path model) предполагала, что разрешение синтаксической неоднозначности рассматривается как процесс, подчиняющийся двум принципам: принципу Минимального Присоединения (“при присоединении нового материала к конструируемому синтаксическому дереву необходимо использовать как можно меньше узлов”) и принципу Позднего Закрытия (“по возможности присоединять новые лексические единицы к той фразовой группе, которая анализируется в данный момент”) [Секерина 2002: 242]. Таким образом, первые разработки

проблемы разрешения неоднозначности предложений опирались на действие строгих синтаксических правил, которые считались базовыми и универсальными, то есть действующими при понимании предложений любого языка.

Последнее утверждение подверглось сомнению после публикации работы [Cuetos, Mitchell 1988], где исследовалось присоединение определительных придаточных к сложной ИГ. На материале английского и испанского языков авторы рассмотрели конструкции типа:

- (2) *Someone shot the maid of the actress who was on the balcony.*
Alguien disparó contra la criada de la actriz que estaba en el balcón.
Кто-то выстрелил в служанку актрисы, которая стояла на балконе.

Как и в случае примера (1), данное предложение синтаксически неоднозначно и имеет прочтения:

- (2a) *На балконе стояла служанка* (придаточное модифицирует ИГ1).
(2б) *На балконе стояла актриса* (придаточное модифицирует ИГ2).

В соответствии с принципом Позднего Закрытия предложения (1) и (2) должны быть проинтерпретированы во всех языках соответственно как: *выполнения приказов террористов требовала безопасность и на балконе стояла актриса*. Однако Ф. Куэтос и Д. Митчелл показали, что предпочтения носителей разных языков различаются. Англоговорящие испытуемые действительно следовали принципу Позднего Закрытия и выбирали интерпретацию (2б). Испаноговорящие же предпочитали интерпретацию (2а), и это явление получило название раннего закрытия. В ходе дальнейших исследований группу языков позднего закрытия дополнили шведский, норвежский, румынский, бразильский португальский, арабский, а раннее закрытие обнаружилось в нидерландском, французском, немецком, хорватском, африкаанс [Fernández 2000].

В связи с выявлением межъязыковых различий в интерпретации предложений типа (1) и (2) исследования неоднозначных конструкций с определительным придаточным приобрели чрезвычайную важность, поскольку этот тип неоднозначности был единственным свидетельством того, что в разных языках одна и та же конструкция анализируется в соответствии с различными принципами. По этой же причине обратились к исследованию понимания предложений типа (1) и мы, чтобы проверить, какие из существующих психолингвистических гипотез подтверждаются материалом русского языка.

2. ПРАВИЛА ИЛИ ВЕРОЯТНОСТИ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЛИ ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Вопрос о характере операций, которые используются носителем языка в процессе понимания конструкций типа (1) и (2), получил широкое освещение в психолингвистических работах на материале все возрастающего числа языков. Помимо новых гипотез, оставшихся в рамках Модели Заблуждения, появились идеи объяснять процесс разрешения неоднозначности в процессе понимания совершенно новыми структурными принципами, а также вероятностными механизмами. Рассмотрим основные направления, в рамках которых разрабатывается указанная проблема.

2.1. Универсальные правила синтаксического анализа

Пытаясь реабилитировать Модель Заблуждения после обнаруженного в исследовании [Cuetos, Mitchell 1988] факта межъязыковых различий в разрешении синтаксической неоднозначности, последователи идеи об универсальности синтаксического анализа предложили ряд модифицирующих Модель Заблуждения гипотез. Межъязыковые

различия в отношении придаточного к тому или иному члену сложной ИГ объяснялись разницей не в самом синтаксическом анализе, который по-прежнему предполагался универсальным, а в принципах, действующих на других этапах обработки лингвистического материала.

Так, Л. Фразье предложила принцип Относительной Релевантности (Relativized Relevance Principle): все интерпретации предложения должны быть грамматичны, информативны и соответствовать актуальному дискурсу [Frazier 1990]. В частности, была выдвинута идея о действии дополнительного дискурсивного фактора на постсинтаксическом этапе анализа неоднозначных предложений типа (2). Дело в том, что в английском языке, в отличие от испанского, существует способ однозначно указать, *кто стоял на балконе* – так называемый саксонский родительный падеж:

(3) *Someone shot the actress's maid who was on the balcony.*

В соответствии с постулатом Грайса [Grice 1975] – говорящий должен воспроизводить ровно такое количество языковой информации, которое необходимо, чтобы быть понятым, – если англоязычный собеседник будет иметь в виду, что *на балконе стояла служанка*, он выразит свою мысль в форме (3), а не (2), то есть использует саксонский родительный. В испанском такой возможности нет, поэтому в нем, утверждает Л. Фразье, действует принцип Относительной Релевантности: предпочтение с ИГ2 переходит на ИГ1.

Тем не менее, принцип Относительной Релевантности противоречил данным ряда языков: в нидерландском и хорватском, где есть морфологический родительный падеж, наблюдается предпочтение раннего закрытия [Brybaert, Mitchell 1996; Lovrić 2002], а в румынском без такой возможности – позднее [Ehrlich et al. 1999].

Подобная ситуация повторялась неоднократно. Для объяснения механизмов, лежащих в основе интерпретации неоднозначных предложений с определительным придаточным, предлагалось некое “универсальное” объяснение: определяющими анализ предлагалось считать прагматическую информацию [De Vincenzi, Job 1993; 1995], дискурсивные факторы [Frazier, Clifton 1996], морфосинтаксические характеристики относительного местоимения [Hemforth et al. 1996]; для определительных придаточных даже выделялся особый тип анализа [Frazier, Clifton 1997]. Тем не менее, впоследствии, с привлечением данных новых языков, каждому из этих объяснений находился контрпример [Fernández 2000].

Пожалуй, из всех моделей, опирающихся на универсальные принципы анализа, дальше всех от Модели Заблуждения ушла теория Просодической Сегментации Дж. Фодор [Fodor 1998]. Дж. Фодор предположила, что межъязыковые различия в анализе предложений с определительным придаточным обусловлены просодическими характеристиками языков: такие предложения имеют разное просодическое оформление в разных языках. В работе [Fodor 2001] выдвинута гипотеза Имплицитной Просодии, в соответствии с которой просодический контур проецируется на предложение даже при чтении “про себя”: анализатор выбирает интерпретацию, связанную с наиболее естественным в данном языке просодическим оформлением конструкции, который эксплицирован при говорении. Также Дж. Фодор сформулировала Закон Антигравитации: для более “тяжелых” составляющих предпочтительнее присоединение к более “высоким” узлам синтаксического дерева, для более “легких” – к более “низким” [Fodor 1998]. Причем “вес” составляющих в различных языках неодинаков, что и определяет анализ. Если составляющая является короткой (“легкой”), то наблюдается позднее закрытие.

Отметим, что Закон Антигравитации был подтвержден на материале английского [Fodor 1998], арабского [Abdelghany, Fodor 1999], хорватского [Lovrić, Fodor 2000], французского [Quinn et al. 2000], немецкого [Walter et al. 1999], испанского [Igoa 1999] и русского [Федорова, Янович 2005] языков. Во всех указанных языках наблюдается одна и та же закономерность: короткие придаточные чаще, чем длинные, присоединяются к ИГ2. Однако сама по себе справедливость Закона Антигравитации не приближает нас к

пониманию, почему существуют межъязыковые различия в предпочтении того или иного вида закрытия. Для этого необходимы эксперименты, в которых проверялось бы влияние просодических характеристик языка на анализ.

Итак, в модификациях Модели Заблуждения остается неизменным базовое правило работы синтаксического анализатора – принцип Позднего Закрытия. А межъязыковые различия в отнесении придаточного к тому или иному имени сложной ИГ обусловлены разницей не в самом синтаксическом анализе, а в принципах, действующих на других этапах. Тем не менее, большинство гипотез, предложенных в рамках этого подхода, не может объяснить все разнообразие накопленных языковых фактов. Критика принципа Позднего Закрытия привела к возникновению альтернативного подхода, ориентированного на языковую специфичность анализа. Сохранилась идея о том, что анализ синтаксически неоднозначных предложений подчиняется неким правилам, но предлагаются совершенно новые структурные принципы работы анализатора. Кроме того, в рамках данного направления была предпринята попытка не только определить, как происходит анализ, но и по чему он осуществляется в конкретном языке именно таким образом.

2.2. Специфичные для конкретного языка правила

Модель, ориентированная на языковую специфичность анализа, была предложена Э. Гибсоном и коллегами и получила название **Двухфакторная Модель Гибсона** [Gibson et al. 1996]. Она предполагает, что принцип, благоприятствующий позднему закрытию, действительно активен при синтаксическом анализе, но он взаимодействует, по крайней мере, с одним другим фактором – принципом Близости к Предикату, в соответствии с которым предпочтительно отнесение придаточного к такому имени, которое в синтаксической структуре расположено ближе к вершине предикации.

В качестве фактора, создающего тенденцию к позднему закрытию, Э. Гибсон и коллеги рассматривают Предпочтение Последнего (выбирать в качестве вершины придаточного наиболее близкую к нему ИГ) – вариант принципа Позднего Закрытия, который применим ко всем потенциальным вершинам придаточного и может взаимодействовать с другими влияющими на предпочтение факторами.

Поскольку действие принципа Предпочтения Последнего является мотивированным с точки зрения общих характеристик памяти (последняя поступившая в обработку информация требует меньших усилий для активации), Э. Гибсон и коллеги полагают, что этот фактор имеет одинаковую силу в разных языках. В отношении же фактора Близости к Предикату предлагается считать, что языки отличаются по этому параметру. Так, в ряде языков принцип Близости к Предикату оказывается сильнее принципа Предпочтения Последнего и создает предпочтение к раннему закрытию в случае, когда определительное придаточное модифицирует двучленную ИГ. С другой стороны, в работе [Gibson et al. 1996] утверждается, что удлинение конструкции благоприятствует усилению фактора Предпочтения Последнего. Иными словами, если при интерпретации предложений с определительным придаточным, которое может быть отнесено к одной из двух ИГ, случаи раннего закрытия преобладают (что соответствует активации фактора Близости к Предикату), то в случае трехчленной конструкции фактор Предпочтения Последнего, тем не менее, оказывается сильнее.

Э. Гибсон и коллеги сосредоточились на исследовании неоднозначных конструкций типа (4), в которых определительное придаточное может модифицировать любое имя из трехчленной ИГ:

- (4) *La lámpara cerca de la pintura de la casa que fue dañada en la inundación.*
The lamp near the painting of the house that was damaged in the flood.
Светильник рядом с картиной дома который(ая) пострадал(а) при наводнении.

Результаты экспериментов показали, что для испано- и англоговорящих испытуемых ИГ2 (*картина*) является наименее предпочтительной вершиной придаточного. В большинстве случаев выбиралась ИГ3 (*дом*), во вторую очередь ИГ1 (*светильник*). Полученные данные не согласуются с действием единственного фактора при разрешении неоднозначности, поскольку кривая распределения предпочтений немонотонна (предпочтения убывают по схеме ИГ3>ИГ1>ИГ2, а не ИГ3>ИГ2>ИГ1). Таким образом, результаты говорят в пользу взаимодействия двух факторов, поддерживающих противоположные тенденции – относить придаточное в первую очередь то к ИГ1, то к ИГ3.

Подобное распределение предпочтений при разрешении неоднозначности в предложениях типа (4), как выяснилось в ходе дальнейших исследований, наблюдается и в японском [Miyamoto et al. 1999], немецком [Walter, Hemforth 2001], нидерландском [Wijnen et al. 1999] языках.

Обращаясь к Двухфакторной Модели Гибсона для интерпретации полученных экспериментальных данных, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом: от чего зависит оценка фактора Близости к Предикату в конкретном языке? Почему в одних языках (испанский) он оказывается сильнее, чем в других (английский), когда мы рассматриваем возможность присоединения придаточного к двум ИГ?

С одной стороны, как предположили Э. Гибсон и коллеги [Gibson et al. 1996], предпочтение того или иного типа закрытия может определяться параметрами Универсальной Грамматики: грамматические различия между языками порождают различия в анализе. Следовательно, ожидается, что определенный набор лингвистических параметров будет коррелировать с поведением этого фактора. Причем связь между параметрами Универсальной Грамматики и действием фактора, влияющего на интерпретацию неоднозначных предложений, может быть и непрямой. Иными словами, грамматические характеристики языка не жестко определяют механизм анализа, а влияют на оценку приемлемости различных конструкций в этом языке. Разные языки будут иметь разную частоту встречаемости неоднозначностей конкретного типа и разную частоту того или иного типа закрытия.

Так, Ф. Куэтос и Д. Митчелл [Cuetos, Mitchell 1988] объясняют различия в предпочтениях англо- и испаноязычных носителей в случае с двучленными конструкциями типа (2) допустимостью постановки определения (в частности, прилагательного) перед существительным в этих языках. В испанском определение может стоять между существительным и другим модификатором (предложной группой или определительным придаточным), то есть для вершины придаточного нормально находиться на расстоянии от присоединяемой составляющей. Поэтому в испанском раннее закрытие более ожидаемо и связано с меньшими трудностями понимания, чем в английском.

В свою очередь, Э. Гибсон и коллеги [Gibson et al. 1996] предположили, что для объяснения выбора типа закрытия в конкретном языке нужно обратиться к понятию среднего расстояния между предикатом и его аргументами, которое и определяет силу фактора Близости к Предикации. Чем больше это расстояние, тем более активен должен быть фактор, чтобы позволить синтаксические отношения между линейно неблизкими единицами. С этой точки зрения языки со строгим порядком слов SVO, как английский, будут характеризоваться небольшим значением среднего расстояния и, соответственно, малой силой фактора Близости к Предикату, поскольку аргументы глагола линейно близки к предикату. Наоборот, в испанском, в языке с тем же базовым порядком слов SVO, допускается и порядок VOS, при котором субъект удален от предиката, – следовательно, сила фактора Близости к Предикату увеличивается. На основе предложенной идеи Э. Гибсон и коллеги делают следующее предсказание: языки с порядком слов VOS, VSO, SOV и OSV будут характеризоваться сильной активацией фактора Близости к Предикату, что отразится в предпочтении раннего закрытия. В языках же SVO и OVS ожидается позднее закрытие из-за небольшого допустимого расстояния между предикатом и его аргументами.

Обе предложенные гипотезы [Cuetos, Mitchell 1988] и [Gibson et al. 1996] были опровергнуты фактическим материалом: нидерландский язык, в котором порядок существи-

тельного и прилагательного такой же, как в английском, и бразильский португальский с порядком слов SVO – оба демонстрируют раннее закрытие [Brysbaert, Mitchell 1996; Finger, Zimmer 2000], в то время как для них предсказывалось позднее. Следовательно, расхождение между составляющими ИГ или предикатом и его аргументами не является решающим фактором, на основе которого мы могли бы объяснять существующие межъязыковые различия в интерпретации неоднозначных предложений с определительным придаточным.

Описывая методы, с помощью которых исследователи пытаются решить проблему неоднозначности в системах автоматического анализа текстов на естественном языке, Лазурский и коллеги [Лазурский и др. 2005] отмечают, что эти же методы используются и человеком при естественном анализе: “правильный подход моделирует знание носителем правил и законов родного языка; подход, использующий базы знаний, – не извлекаемые непосредственно из текста знания; статистический подход призван заменить имеющуюся у каждого человека языковую интуицию”. Что касается экстралингвистической информации, которая довольно плохо поддается формализации и экспериментальным исследованиям, то этот компонент не получил пока воплощения в моделях разрешения синтаксической неоднозначности. Идея же влияния вероятностных характеристик языковых единиц на интерпретацию предложений нашла свое место в психолингвистической теории.

2.3. Вероятностный подход

Как альтернатива идее существования правил, определяющих анализ, к исследованию естественного языка был применен вероятностный подход: анализатор независим от грамматики и чувствителен к частоте употребления конструкций определенного типа в языке. Иными словами, анализатор использует только вероятностные отношения между единицами языка, предлагая синтаксическую интерпретацию на основе того, с какой вероятностью анализируемые единицы связывались раньше. При таком подходе мы должны рассматривать принцип Предпочтения Последнего [Gibson et al. 1996] как частноязыковую стратегию, не имеющую ничего общего с базовыми принципами языка или ограничениями на память. Стратегия, благоприятствующая раннему закрытию, имеет с этой точки зрения не меньшую вероятность быть использованной. Ф. Куэтос и Д. Митчелл [Cuetos, Mitchell 1988] обозначают данную гипотезу как **Лингвистический Тюнинг**.

Гипотеза Лингвистического Тюнинга в формулировке Д. Митчелла [Mitchell et al. 1995] предполагает, что решающее воздействие на анализ оказывает прошлый лингвистический опыт носителя конкретного языка. Это означает, что выбор интерпретации предложения определяется конструкциями, наиболее частотными в языке.

Так, например, имеется неоднозначное предложение:

- (5) *Я задаю вопрос, исходя из редакции статьи Конституции, которая требует установления этого обстоятельства для признания неконституционной деятельности партии, и, естественно, исхожу не из программных документов, а из фактов деятельности [А. Яковлев. Омут памяти].*

Если в языке однозначные предложения с ИГ1 в роли вершины придаточного более частотны (пример (6)), чем те, где вершина – ИГ2 или ИГ3 (примеры (7) и (8) соответственно), то и в случае неоднозначности интерпретация в пользу ИГ1 будет предпочтительнее.

- (6) *Под ее руководством была разработана грандиозная программа покорения космоса, которая необычайно высоко подняла престиж державы [В. Быков. Оборонка].*

- (7) *Не останавливаясь здесь более подробно на **понятиях физики живого**, которая будет подробно рассмотрена во второй части, обсудим кратко идеи симметрии-асимметрии применительно к проблемам объектов живой и неживой природы* [В.В. Горбачев. Концепции современного естествознания].
- (8) *Ван Гог вынашивает **идею товарищества художников**, которые превратят в конце концов обывательский городишко Арль в художественную столицу мира или в крайнем случае Франции* [Г. Бурков. Хроника сердца].

Следовательно, в предложении (5) придаточное будет восприниматься как относящееся к ИГ1 и получит интерпретацию: *установления этого обстоятельства требует редакция.*

Непосредственно после того, как была предложена гипотеза Лингвистического Тюнинга, в ее подтверждение нашлись, казалось бы, убедительные свидетельства во французском [Baltazart, Kister 1995], испанском и английском [Cuetos et al. 1996] языках. В корпусе письменных текстов, исследованном в указанных работах, общезыковое распределение частотности конструкций с той или иной ИГ в роли вершины придаточного соответствовало предпочтениям, демонстрируемым испытуемыми в ходе психолингвистических экспериментов. Это означало, что носители языка действительно могут использовать стратегию обращения к своему прошлому языковому опыту (который отражен в корпусе) при разрешении синтаксической неоднозначности. Однако впоследствии были обнаружены несоответствия между корпусными и экспериментальными частотами, в частности, на материале нидерландского языка [Mitchell, Brysbaert 1998]: в то время, как экспериментальные данные свидетельствовали о предпочтении раннего закрытия, в корпусе выявилось доминирование количества случаев позднего. Спустя несколько лет было найдено объяснение данному противоречию: согласно работам [Desmet et al. 2002; Desmet, Gibson 2003], на распределение раннего и позднего закрытия повлияла одушевленность имен, составляющих сложную ИГ. В экспериментах, описанных в статье [Mitchell, Brysbaert 1998], использовался стимульный материал (одушевленное существительное + одушевленное существительное), наименее представленный в корпусе, что и стало причиной различий результатов корпусного исследования и эксперимента.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Одной из задач, которые стояли перед нами в настоящем исследовании, было выяснить, какие правила анализа используют (и используют ли вообще) носители русского языка в процессе понимания неоднозначных предложений, в которых придаточное модифицирует одно из существительных сложной ИГ. Отметим, что в большинстве психолингвистических работ, посвященных данной проблематике, рассматривается конструкция с двучленной ИГ, как в предложениях типа (2). Так, для русского языка была выявлена тенденция к раннему закрытию [Fedorova, Yanovich 2005]. Как показано в работе [Gibson et al. 1996], более сложная структура предложений (с трехчленной ИГ) требует, с одной стороны, усложнения моделей, объясняющих их анализ, но, с другой, позволяет обнаружить факторы, эффект которых маскируется действием других в случае двучленной ИГ. Поэтому в настоящем исследовании мы рассматриваем конструкцию с тремя потенциальными вершинами придаточного:

- (9) *Я задаю вопрос, исходя из **редакции статьи Конституции**, которая требует установления этого обстоятельства для признания неконституционной деятельности партии, и, естественно, исхожу не из программных документов, а из фактов деятельности* [А. Яковлев. Омут памяти].

Как и предложения типа (1), данная конструкция (9) потенциально неоднозначна и имеет три возможных прочтения:

- (9а) Установления этого обстоятельства требует редакция.
(9б) Установления этого обстоятельства требует статья.
(9в) Установления этого обстоятельства требует Конституция.

С другой стороны, мы решили проверить, правомерно ли применение вероятностного подхода для объяснения понимания подобных предложений: мы обратились к проверке гипотезы Лингвистического Тюнинга на материале русского языка. Для этого потребовалось сравнить данные проведенного экспериментального исследования, направленного на выявление предпочтений в интерпретации предложений типа (9), и анализа корпуса письменных текстов, в котором отражены частотные показатели встречаемости того или иного вида закрытия в русском языке.

Одним из пунктов, вызвавших спор сторонников и противников гипотезы Лингвистического Тюнинга, стал вопрос о корректности сопоставления данных корпуса (результата порождения речи) и экспериментов на понимание, которые привлекались для доказательства гипотезы наряду с исследованиями порождения экспериментальных конструкций. Дело в том, что в работе [Gibson, Schütze 1999] у англоговорящих испытуемых было выявлено предпочтение раннего закрытия. Однако корпусное исследование показало, что в текстах частота встречаемости позднего закрытия значительно превосходит частоту раннего. Авторы сделали вывод: при анализе неоднозначных предложений не используются частоты, представленные в корпусе; следовательно, принципы, лежащие в основе порождения и понимания речи, должны различаться. Иными словами, существует фактор, работающий при понимании и не активный при порождении. Впоследствии Т. Десмет и Э. Гибсон [Desmet, Gibson 2003] показали, что выявленные в работе [Gibson, Schütze 1999] противоречия между корпусными и экспериментальными данными оказались связаны не столько с различными механизмами, лежащими в основе понимания и порождения, а скорее с самим стимульным материалом, и обосновали корректность сравнения материала, представленного в корпусе, с данными экспериментов на понимание речи. Наиболее строго аналогичность процессов понимания и порождения в случае синтаксической неоднозначности показана в работе [Desmet et al. 2005], где приведены данные эксперимента, выполненного по методике записи движений глаз, и подтверждено, что если учитывать характеристики существенных – потенциальных вершин придаточного (одушевленность и конкретность), то корпусные частоты согласуются с результатами исследования понимания неоднозначных предложений с определенным придаточным.

3.1. Эксперимент-опросник

При планировании исследования мы исходили из нескольких возможных вариантов механизма анализа неоднозначных предложений типа (9). Во-первых, предпочтения испытуемых могли распределяться следующим образом: как и в случае двучленной ИГ, наиболее предпочтительным было бы отнесение придаточного к ИГ1, следующим по степени предпочтительности стала бы ИГ2, и, наконец, в последнюю очередь испытуемые выбирали бы ИГ3. Такая картина предпочтений свидетельствовала бы о том, что тенденция к раннему закрытию распространяется на все составляющие сложной ИГ. Во-вторых, если в русском языке действует только фактор, благоприятствующий раннему закрытию, тогда разницы в процентном выражении выбора ИГ2 и ИГ3 не будет. Оба случая поддерживают гипотезу о наличии единственного активного фактора при разрешении данного типа неоднозначности. Если же в анализ вовлечены как минимум два фактора, тогда кривая распределения предпочтений будет немонотонной. В соответствии с идеями Э. Гибсона и коллег, можно предполагать, что принцип Предпочтения Последнего действительно взаимодействует с фактором Близости к Предикату, и ИГ1 с ИГ3 будут иметь преимущество перед ИГ2 в процентном выражении.

Стимульный материал состоял из 51 предложения, среди которых экспериментальных было 16, отвлекающих – 32, тренировочных – 3. Отвлекающие и тренировочные

предложения были однозначными, экспериментальные – многозначными и оставляли возможность выбора любой из трех интерпретаций.

- (10) *Почтальон попросил жену разнести письма, потому что его помощник заболел.* (отвлекающее предложение)
(11) *Нам позвонил брат напарника водителя, который вчера видел ограбление.* (экспериментальное предложение)

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 36 русскоязычных испытуемых в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет, студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова.

Процедура проведения эксперимента. Испытуемые тестировались индивидуально, каждый эксперимент продолжался примерно 15 минут. На экране компьютера появлялось предложение, например (10) или (11), испытуемый читал его вслух и затем, нажав кнопку “Дальше”, переходил к следующей странице, где предлагалась перифраза этого предложения с тремя вариантами интерпретации, порядок которых был сбалансирован:

- (10а) *Разносить письма пришлось...*
Почтальону Жене Помощнику
(11а) *Ограбление видел...*
Брат Напарник Водитель

Испытуемый выбирал один из вариантов, произнося его вслух и одновременно нажимая на соответствующую клавишу, и переходил к следующему предложению.

Обсуждение результатов. Анализ результатов эксперимента показал, что случаи отнесения придаточного к ИГ1 составили 39,2%, к ИГ2 – 27,3%, к ИГ3 – 33,5%. То есть наиболее предпочтительной была ИГ1, далее следовала ИГ3, и реже всего вершиной становилась ИГ2. При этом зависимость между способом отнесения придаточного и местом, которое вершина занимает в составе сложной ИГ, является статистически значимой: $F(2,11)=7,83, p<0,001$; $F(2,39)=3,37, p<0,04$ (однофакторный анализ АНОВА).

Полученные результаты частично могут быть объяснены двухфакторной моделью, предложенной в работе [Gibson et al. 1996]. В терминах модели мы наблюдаем в русском языке активацию фактора Близости к Предикату, который оказывается сильнее фактора Предпочтения Последнего. Это проявляется в немонотонности распределения предпочтений испытуемых:

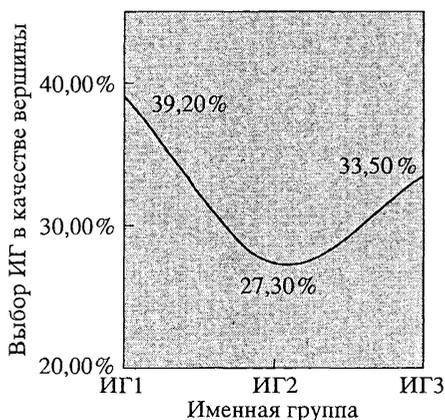


Диаграмма 1. U-образное распределение предпочтений при интерпретации неоднозначных предложений с определительным придаточным и трехчленной ИГ в русском языке

Однако модель Э. Гибсона и коллег предполагает, что удлинение конструкции благоприятствует усилению фактора Предпочтения Последнего. Действительно, это положение нашло подтверждение в испанском [Gibson et al. 1996], немецком [Walter, Hemforth 2001], японском [Miyamoto et al. 1999] и нидерландском языках [Wijnen et al. 1999], в которых наблюдается раннее закрытие, когда выбор заключается между двумя ИГ, но случаи позднего более частотны, если сложная ИГ состоит из трех имен. Однако данные русского языка отражают другое распределение предпочтений: интерпретация в пользу ИГ1 при двучленной конструкции [Fedorova, Yanovich 2005] сохраняется, как показал проведенный эксперимент, и при трехчленной. Причем разница между процентным соотношением выбора ИГ1 и ИГ2 в русском и, например, в нидерландском языках оказывается одинаковой: 39,2% ИГ1 и 33,5% ИГ3 в нашем эксперименте и 38% и 44% соответственно в исследовании [Wijnen et al. 1999].

Таким образом, подтверждается сомнению положение авторов работы [Gibson et al. 1996] о факторе Предпочтения Последнего как универсальном и первичном, только модулирующимся фактором Близости к Предикату, сила которого, в свою очередь, зависит от длины сложной ИГ, содержащей вершину определительного придаточного. Большее число случаев выбора ИГ1 русскоговорящими испытуемыми свидетельствует в пользу того, что фактор Близости к Предикату (или любой другой фактор, благоприятствующий раннему закрытию) оказывается достаточно сильно активирован и в случае удлинения сложной ИГ. Следовательно, именно он должен рассматриваться как первичный, оказывающий наибольшее влияние на интерпретацию неоднозначных конструкций с определительным придаточным в русском языке.

С другой стороны, методика, использованная в проведенном эксперименте (опросник), относится к типу так называемых опосредованных (off-line), когда исследованию подвергаются более поздние этапы анализа предложения, на которых решающими могут оказаться факторы постсинтаксической природы. Наоборот, непосредственные (on-line) методики рассматриваются как отражающие ранние этапы принятия решений относительно синтаксического анализа. Так, например, в работе [Kamide, Mitchell 1997] описаны два эксперимента на материале японского языка: в ходе первого (опросник, опосредованная методика) выявлено предпочтение раннего закрытия для неоднозначных предложений с определительным придаточным, модифицирующим двучленную ИГ; второй же эксперимент (саморегуляция чтения, непосредственная методика) показал, что изначально, в процессе анализа, испытуемые относят придаточное к линейно наиболее близкой ИГ, но по завершении синтаксического анализа целого предложения предпочтение изменяется в пользу раннего закрытия. Чтобы исключить возможность того, что полученные нами результаты зависят от метода исследования, мы планируем провести новый эксперимент – с использованием методики саморегуляции чтения – на том же стимульном материале. Если эксперимент покажет то же распределение предпочтений, это станет более сильным аргументом в пользу Двухфакторной Модели Гибсона, поскольку пока мы не можем исключить возможность того, что фактор, благоприятствующий раннему закрытию, начинает действовать на постсинтаксических стадиях анализа.

3.2. Анализ корпуса

Для проверки гипотезы Лингвистического Тюнинга нам потребовалось сравнить полученные экспериментальные данные с частотностью того или иного вида закрытия в предложениях с определительным придаточным в русском языке. Чтобы определить частоту встречаемости таких конструкций, мы предприняли корпусное исследование.

Описание корпуса. В исследовании был использован Национальный корпус русского языка (www.ruscorgo.ru). Корпус представлен письменными текстами различных жанров и стилей в пропорции, отражающей современный русский литературный язык. В момент проведения исследования (весна 2005 года) Национальный корпус русского языка содержал 13 246 текстов общим объемом 35 238 929 словоупотреблений.

Отбор и классификация контекстов. Поиск осуществлялся по лексико-грамматическим признакам слов, входящих в конструкцию, и параметру расстояния между составляющими конструкции: нас интересовала последовательность трех существительных (причем два последних должны быть в форме родительного падежа и без предлогов), за которыми следует местоимение-прилагательное “который”, являющееся началом определительного придаточного. Поиск по корпусу выдал наличие около трех тысяч описанных контекстов. Часть полученных контекстов не соответствовала предъявляемым к конструкции требованиям и была удалена из совокупности примеров, которые подверглись исследованию. Так, из рассмотрения удалялись предложения, в которых члены сложной ИГ не являлись зависимыми:

(12) *Карьерной была речь маршала Конева, которого Жуков спас от расстрела, заступившись за него перед Сталиным* [А. Яковлев. Омут памяти].

Значительную часть нерелевантных для исследования контекстов составляли примеры из корпуса с неснятой омонимией:

(13) *И приятная новость: нашелся “отец” милой зебры, которая в метро постоянно звонит своим родственникам* [Вечерняя Москва, 2002.04.11].

После отбора интересующих нас примеров “вручную”, мы получили выборку из 822 контекстов. В отношении каждого из оставшихся контекстов было определено, к какой из трех ИГ относится придаточное. Предложения, для которых нельзя было принять такое решение в силу их неоднозначности, были исключены из выборки, например:

(14) *Нет, у нее явное изобилие пространства лица, которое ничто не может спасти* [Г. Щербакова. Мальчик и девочка].

В результате поиска по корпусу было обнаружено 584 контекста, релевантных для анализа, – однозначных предложений, содержащих определительное придаточное, относящееся к трехчленной ИГ, как пример (15):

(15) *Пространство между пластинками несегментированной части мезодермы превращается в полость тела зародыша, которая в организме человека подразделяется на брюшную, плевральную и перикардальную полости* [Р. Самусев, Ю. Селин. Анатомия человека].

Полученные контексты подверглись дальнейшей классификации по количеству имен – потенциальных вершин определительного придаточного, которые в силу своих морфосинтаксических характеристик могут возглавлять придаточное. Так, в предложении (16) возможен единственный выбор вершины в пользу существительного *группа*, поскольку местоимение *которая* согласуется по роду и числу только с ним. В предложениях (17) и (18) возможно соответственно два и три формальных “претендента” на вершину придаточного.

(16) *Клуб обещал помочь Детскому фонду, и они действительно многое сделали, например взяли на себя спонсорство группы врачей, которая отправилась на две недели в Тбилиси со своим оборудованием и провела там серию сложных операций* [В. Фетисов. Овертайм].

(17) *Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны “Двенадцать стульев”* [В. Катаев. Алмазный мой венец].

(18) ...Н. Томским, З. Азгуром и др. создали образец монумента вождя, которому и следовали скульпторы рангом пониже [М. Чегодаева. Соцреализм. Мифы и реальность].

Мы предположили, что для предложений типа (16), (17) и (18) соотношение предложений с различными типами закрытия также может различаться. Говорящий или пишущий, порождая высказывания (17) и (18), может и не осознавать, что в процессе понимания формальные характеристики имен сложной ИГ предоставляют альтернативу в выборе вершины придаточного. Эта альтернатива успешно разрешается, поскольку в понимании задействованы операции над смыслами: в предложении (17) мы относим придаточное к ИГ3 (*юмор*), а в (18) – к ИГ1 (*образец*). Однако без проверки нельзя было сбрасывать со счетов фактор наличия в сложной ИГ формальных вершин – имен с морфосинтаксическим оформлением, удовлетворяющим требованиям к вершине придаточного.

Обсуждение результатов. Процентное соотношение ИГ1, ИГ2 и ИГ3, являющихся вершинами определительного придаточного, отражено в табл. 1. Как видно, наиболее частотны ИГ1-вершины (259 из 584 контекстов). То есть в 44,3% случаев порождения конструкции со сложной ИГ и определительным придаточным вершиной является ИГ1. Реже встречаются предложения, где придаточное модифицирует ИГ2 и ИГ3 (28,1% и 27,6% соответственно). Статистический анализ (однофакторная АНОВА) показал, что позиция вершины в составе сложной ИГ значимо коррелирует с наблюдаемым способом отнесения придаточного: $F(2,1749)=24,57$, $p<0,00001$. Причем соотношение имен, возглавляющих придаточное, приблизительно одинаково для всех трех типов конструкций – с одной, двумя и тремя формальными вершинами. Поэтому мы отбрасываем выдвинутую ранее гипотезу о возможном влиянии фактора количества формальных вершин на распределение и далее рассматриваем выборку контекстов, не классифицируя их по данному признаку.

Присоединение определительного придаточного к ИГ1, ИГ2 и ИГ3 по данным корпуса

Кол-во формальных вершин придаточного	ИГ1		ИГ2		ИГ3		Всего
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	
1 (предложения типа (16))	143	42,3	97	28,7	98	29	338
2 (предложения типа (17))	100	46,7	60	28	54	25,2	214
3 (предложения типа (18))	16	50	7	21,9	9	28,1	32
Всего	259	44,3	164	28,1	161	27,6	584

Таким образом, данные проведенного эксперимента и корпусного исследования свидетельствуют в целом в пользу гипотезы Лингвистического Тюнинга. В эксперименте испытуемые чаще относили придаточное к ИГ1, в корпусе текстов в большинстве случаев придаточное модифицирует ту же ИГ. Это означает, что носители русского языка действительно могут использовать стратегию обращения к своему прошлому лингвистическому опыту при разрешении синтаксической неоднозначности.

При планировании корпусного исследования мы опирались на исходную и получившую наибольшее распространение формулировку гипотезы Лингвистического Тюнинга [Mitchell et al. 1995]: для объяснения работы синтаксического анализатора необходимо учитывать частотность целой синтаксической конструкции. В широком же смысле вероятностный подход к разрешению синтаксической неоднозначности основан на учете частотности того или иного анализа в прошлом языковом опыте, на предположении, что именно анализ “по аналогии” с большой вероятностью будет правильным. При

этом остается открытым вопрос, частотность каких языковых единиц мы учитываем. Теоретически можно рассматривать языковые вероятности любого уровня: частотность лексем, синтаксических конструкций, дискурсивного контекста. Более того, возможен учет характеристик слов (например, одушевленность существительного), экстралингвистического контекста или индивидуальных предпочтений носителя языка [Pickering et al. 2000].

Что касается моделей, учитывающих только лексические вероятности, то и в их пользу свидетельствуют данные ряда исследований [MacDonald et al. 1994; Spivey-Knowlton, Sedivy 1995; Trueswell et al. 1993], однако этот подход не объясняет предпочтения относительно конструкции с определительным придаточным: как обсуждалось выше, Э. Гибсон и коллеги [Gibson et al. 1996] показали, что в случае конструкции с трехчленной ИГ в испанском языке наблюдается предпочтение позднего закрытия, а для двучленной – раннее. Поскольку в конструкциях с двумя ИГ употреблялись две из трех лексем, использованных в экспериментальном материале с тремя ИГ, в данном случае нельзя объяснить выбор того или иного предпочтения лексическими частотами.

Хотя в работе [Mitchell et al. 1995] обозначалась возможность использования смешанного подхода (учета частот синтаксических конструкций и лексики), первый из авторов гипотезы Лингвистического Тюнинга, Д. Митчелл, подчеркивал, что исключительно синтаксическая версия гипотезы согласовывалась со всеми данными, полученными на тот момент. Тем не менее, сейчас уже ясно, что такая версия не является обоснованной и что смешанный вариант имеет большую объяснительную силу. Так, например, Т. Десмет и коллеги [Desmet et al. 2005] предлагают рассматривать категорию одушевленности как дискурсивную переменную, полагая, что это скорее приведет к прогрессу в понимании разрешения исследуемого типа неоднозначности, чем структурная модель. К такому же выводу пришли и авторы работ [Gilboy et al. 1995; Frazier, Clifton 1996; Traxler et al. 1998; Hemforth et al. 2000]. Конечно, как замечено в исследовании [Gilboy et al. 1995], смещение фокуса от синтаксиса к дискурсу не освобождает нас от необходимости искать фактор, управляющий присоединением определительного придаточного к сложной ИГ. Это только значит, что подобные структуры могут нам сказать гораздо меньше о работе анализатора, нежели раньше думалось.

Как показали Т. Десмет и коллеги [Desmet et al. 2002; 2005] и на корпусных, и на экспериментальных данных, при анализе неоднозначных предложений с определительным придаточным необходимо учитывать характеристики существительных – потенциальных вершин придаточного (их одушевленность и конкретность). На материале нидерландского языка было выявлено, что в конструкциях, содержащих одушевленную ИГ1, раннее закрытие встречается чаще, и в большинстве случаев раннего закрытия одушевленные ИГ1 являются конкретными существительными.

В проведенном эксперименте (см. раздел 3.1) мы не контролировали специально такие характеристики ИГ, как одушевленность. В числе шестнадцати экспериментальных единиц были представлены все восемь логически возможных сочетаний одушевленных (О) и неодушевленных (Н) ИГ1, ИГ2 и ИГ3: ООО, ННН, ОНО, НОН, ООН, ОНН, НОО, ННО. Однако примеров сочетаний ННН было пять, ННО – три, ОНО и НОН – по два, остальных – по одному. Несмотря на то, что экспериментальный материал нельзя в строгом смысле назвать сбалансированным, не наблюдалось такой явной неравномерности, как в эксперименте, описанном в работе [Mitchell, Brysbaert 1998], где большинство примеров содержало ИГ с двумя одушевленными существительными. К тому же в эксперименте Т. Десмета и коллег [Desmet et al. 2002] показано, что ИГ1-одушевленная увеличивает процент раннего закрытия, а в нашем случае более двух раз (если бы сочетание каждого вида встречалось два раза, материал был бы сбалансирован) представлены сочетания ННН, ННО, которые не содержат ни на месте ИГ1, ни на месте ИГ2 одушевленного имени. Следовательно, можно предположить, что в проведенном эксперименте влияние категории одушевленности было минимальным.

С другой стороны, мы проанализировали корпусный материал на предмет распределения одушевленных существительных. Оказалось, что одушевленность ИГ действи-

тельно тесно связана с модификацией этой ИГ придаточным: в случае, когда одна из ИГ является одушевленной (ОНН, НОН, ННО), придаточное относится именно к ней. Если в конструкции имеется несколько одушевленных ИГ (ООО, ОООН, ОНО, НОО), то вершиной являлась та из них, которая расположена ближе к вершине предикации (для ООО, ОООН, ОНО – ИГ1, для НОО – ИГ2). Наконец, в случае ННН придаточное чаще относится к ИГ1. Иными словами, наблюдается следующая закономерность: в корпусе чаще всего вершинами определительных придаточных являются ИГ1, при этом если позицию ИГ1 занимает одушевленное существительное, то с вероятностью 75% она является вершиной придаточного. Следовательно, материал русского языка свидетельствует о том, что, рассматривая гипотезу Лингвистического Тюнинга в ее “синтаксическом” варианте (по Д. Митчеллу) и обнаруживая данные в ее пользу, необходимо учитывать и характеристики составляющих исследуемой конструкции, поскольку вопрос о языковых единицах, на которые “настраивается” анализатор, еще не получил окончательного разрешения.

Более того, обращаясь к порождению речи, мы обнаруживаем тенденцию связывать одушевленные сущности с позицией субъекта. В работе [Bock et al. 1992] описан эксперимент, в ходе которого испытуемых просили описать картинку, содержащую одушевленного участника в роли пациента и неодушевленного в роли агенса. И испытуемые демонстрировали тенденцию к образованию пассивных конструкций, где одушевленный пациент занимал позицию субъекта. Аналогично, когда испытуемых просили оценить степень приемлемости предложения, они приписывали больше баллов в случае одушевленного субъекта, чем неодушевленного [Corrigan 1986]. Таким образом, как отмечено в работе [Кибрик 2004], одушевленность является немаркированным когнитивным свойством участника ситуации, занимающего позицию субъекта. Та же идея нашла отражение в шкале одушевленности, в соответствии с которой выстраивается иерархия реализации тех или иных синтаксических средств [Silverstein 1976].

Описанная тенденция связывать одушевленность с позицией субъекта действия и может выражаться в наблюдаемом предпочтении присоединять определительное придаточное к одушевленному имени. В определительном придаточном местоимение, замещающее соответствующее полнозначное существительное, чаще всего находится в позиции подлежащего [Desmet et al. 2005], а появление одушевленного подлежащего наиболее ожидаемо. Следовательно, местоимение скорее будет замещать одушевленное, чем неодушевленное имя, а все придаточное будет скорее отнесено к одушевленному существительному.

Таким образом, очевидно, что выбор вершины определительного придаточного не определяется только настройкой на синтаксические конструкции, которые составляют лингвистический опыт носителя языка. Модель, ориентированная на объяснение явления позднего / раннего закрытия в различных языках, не может игнорировать характеристики конкретных слов, заполняющих конструкцию, и должна предусматривать использование этой информации при анализе. В частности, это касается одушевленности имен, входящих в сложную ИГ, которая модифицируется определительным придаточным. Для того, чтобы строго показать, насколько тип закрытия коррелирует с оформлением ИГ по категории одушевленности, требуется новое исследование, в котором экспериментальный материал был бы сбалансирован по этому признаку и содержал блоки однотипных предложений, различающихся только сочетанием одушевленных и неодушевленных имен в пределах сложной ИГ. Такой эксперимент позволит говорить о влиянии фактора одушевленности на разрешение синтаксической неоднозначности в процессе понимания.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшее распространение в исследованиях синтаксической неоднозначности получили два подхода:

- предлагающий некие правила, в соответствии с которыми происходит понимание предложений с несколькими возможными вариантами интерпретации,

- ориентированный на вероятность того или иного вида анализа на основе предшествующего опыта взаимодействия с подобными конструкциями.

В рамках направления, связанного с постулированием правил, спорят, одинаковы ли эти правила для всех языков или специфичны для каждого. Подобно тому, как специалисты в области автоматической обработки текстов опытным путем пришли к тому, что использование смешанной модели “правила + вероятности” является наиболее эффективным, в рамках психолингвистической теории, как нам представляется, гибридный подход также имеет преимущества.

Проведенный нами эксперимент показал, что при понимании неоднозначных предложений с определительным придаточным, модифицирующим трехчленную ИГ, испытуемые демонстрируют одновременное действие противоположных тенденций – относить придаточное к ИГ1 и к ИГ3. Наблюдаемый факт соответствует Двухфакторной Модели Гибсона, которая предлагает правило действия двух факторов: Предпочтения Последнего и Близости к Предикату, взаимодействие которых и отражается на картине предпочтений.

С другой стороны, во второй части предпринятого исследования мы изучили корпусные данные с целью подвергнуть проверке гипотезу Лингвистического Тюнинга, связывающую указанные межъязыковые различия с частотностью того или иного анализа в прошлом лингвистическом опыте. Как и экспериментальный материал, корпус демонстрирует наибольшее процентное выражение случаев отнесения придаточного к ИГ1. Однако, ориентируясь только на анализ вероятностей, мы не смогли бы предсказать, что второй по степени предпочтительности в роли вершины придаточного выступает наиболее близкая к нему ИГ3, поскольку по данным корпуса ИГ–2 и ИГ–3 вершины представлены в русском языке приблизительно в равном процентном соотношении.

Кроме того, более детальный анализ корпуса показал, что тип закрытия зависит не только от того, какое место занимает имя в составе сложной ИГ, но и от характеристики этого имени по категории одушевленности. Это свидетельствует о недостаточности рассмотрения языковой настройки только на синтаксические конструкции.

Таким образом, накопленные к данному моменту экспериментальные и корпусные данные говорят о том, что для адекватного описания механизмов разрешения синтаксической неоднозначностью в процессе понимания необходимо привлекать модели, учитывающие и вероятности употребления языковых единиц (причем не только синтаксического уровня), и правила, составляющие языковую компетенцию носителя языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богуславский и др. 2003 – *И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, В.Г. Сизов, И.С. Чардин*. Использование размеченного корпуса текстов при автоматическом синтаксическом анализе // Труды международной конференции “Когнитивное моделирование в лингвистике–2003”. Варна, 2003.
- Дрейзин 1988 – *Ф.А. Дрейзин*. Синтаксическая омонимия // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1988.
- Гладкий 1985 – *А.В. Гладкий*. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М., 1985.
- Иомдин и др. 2005 – *Л.Л. Иомдин, И.М. Богуславский, А.В. Лазурский, Л.Г. Митюшин, В.Г. Сизов, Л.Г. Крейдлин, А.С. Бердичевский*. Интерактивное разрешение неоднозначности в процессе автоматической обработки текстов: проблемы и перспективы // Труды Международного семинара Диалог. М., 2005.
- Иорданская 1967 – *Л.Н. Иорданская*. Синтаксическая омонимия в РЯ (с точки зрения автоматического анализа и синтеза) // НТИ. 1967. № 5.
- Кибрик 2004 – *А.Е. Кибрик*. Лингвистическая реконструкция когнитивной структуры // Первая Российская конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. Казань, 2004.
- Лазурский и др. 2005 – *А.В. Лазурский, А.С. Бердичевский, Л.Г. Крейдлин, Л.Г. Митюшин, В.Г. Сизов*. Интерактивное разрешение лексической и синтаксической неоднозначности в

- системах автоматической обработки естественного языка // Сборник работ стипендиатов компании Яндекс (http://company.yandex.ru/grant/2005/01_Lazursky_102921.pdf).
- Секерина 2002 – *И.А. Секерина*. Психоллингвистика // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002.
- Федорова, Янович 2005 – *О.В. Федорова, И.С. Янович*. Разрешение синтаксической многозначности в русском языке: роль длины и структуры придаточного // Труды Международного семинара Диалог. М., 2005.
- Abdelghany, Fodor 1999 – *H. Abdelghany, J.D. Fodor*. Low attachment of relative clauses in Arabic // Poster presented at AMLaP'99, Edinburgh, UK, September 23–25, 1999.
- Baltazart, Kister 1995 – *D. Baltazart, L. Kister*. Corréation entre détermination et sélection d'un anaphorisé dans ne structure N de N // Paper presented at the Séminaire "Anaphore et Référence", Nancy (CRIN), 20–22 September, 1995.
- Bock et al. 1992 – *J.K. Bock, H. Loebell, R. Morey*. From conceptual roles to structural relations: Bridging the syntactic cleft // *Psychological review*. 1992. 99.
- Brysaert, Mitchell 1996 – *M. Brysaert, D.C. Mitchell*. Modifier attachment in sentence parsing: Evidence from Dutch // *Quarterly journal of experimental psychology*. 49A. 1996. 3.
- Chomsky 1965 – *N. Chomsky*. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.
- Corrigan 1986 – *R. Corrigan*. The internal structure of English transitive sentences // *Memory and cognition*. 1986. 14.
- Cuetos, Mitchell 1988 – *F. Cuetos, D.C. Mitchell*. Cross-linguistic differences in parsing: Restrictions on the use of the Late Closure strategy in Spanish // *Cognition*. 1988. 30.
- Cuetos, Mitchell, Corley 1996 – *F. Cuetos, D.C. Mitchell, M.M.B. Corley*. Parsing in different languages // *M. Carreiras, J.E. García-Albea, N. Sebastián-Gallés* (eds.). *Language processing in Spanish*. Mahwah (NJ), 1996.
- Desmet et al. 2002 – *T. Desmet, M. Brysaert, C. De Baecke*. The correspondence between sentence production and corpus frequencies in modifier attachment // *Quarterly journal of experimental psychology*. 2002. 55A (3).
- Desmet et al. 2005 – *T. Desmet, C. De Baecke, D. Drieghe, M. Brysaert, W. Vonk*. Relative clause attachment in Dutch: On-line comprehension corresponds to corpus frequencies when lexical variables are taken into account // *Language and cognitive processes*. 2005. 20.
- Desmet, Gibson 2003 – *T. Desmet, E. Gibson*. Disambiguation preferences and corpus frequencies in noun phrase conjunction // *Journal of memory and language*. 2003. 49(3).
- De Vincenzi, Job 1993 – *M. De Vincenzi, R. Job*. Some observations on the universality of the Late-Closure strategy // *Journal of psycholinguistic research*. 22. 1993. 2.
- De Vincenzi, Job 1995 – *M. De Vincenzi, R. Job*. An investigation of Late Closure: The role of syntax, thematic structure, and pragmatics in initial and final interpretation // *Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition*. 21. 1995. 5.
- Ehrlich et al. 1999 – *K. Ehrlich, E. Fernández, J.D. Fodor, E. Stenshoel, M. Vinereanu*. Low attachment of relative clauses: New data from Swedish, Norwegian and Romanian // Poster presented at the 12th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 18–20. New York, 1999.
- Fedorova, Yanovich 2005 – *O. Fedorova, I. Yanovich*. Early preferences in RC attachment in Russian: The effect of working memory differences // Paper presented at FASL–14. May 6–8. Princeton, 2005.
- Fernández 2000 – *E. Fernández*. Bilingual sentence processing: relative clause attachment in English and Spanish. Doctoral dissertation. CUNY graduate center. New York, 2000.
- Finger, Zimmer 2000 – *I. Finger, M. Zimmer*. Relative clause attachment preference in Brazilian Portuguese. Unpublished manuscript, 2000.
- Fodor 1998 – *J.D. Fodor*. Learning to parse? // *Journal of psycholinguistic research*. 27. 1998. 2.
- Fodor 2001 – *J.D. Fodor*. Prosodic disambiguation in silent reading // Paper presented at the 32nd meeting of the North East linguistic society (NELS). New York, 2001.
- Frazier 1990 – *L. Frazier*. Parsing modifiers: Special parser routines in the human sentence processing mechanism? // *D.A. Balota, G.B. Flores d'Arcais, K. Rayner* (eds.). *Comprehension processes in reading*. Hillsdale (NJ), 1990.
- Frazier, Clifton 1996 – *L. Frazier, C.J. Clifton*. Construal. Cambridge (Mass.), 1996.
- Frazier, Clifton 1997 – *L. Frazier, C.J. Clifton*. Construal: Overview, motivation, and some new evidence // *Journal of psycholinguistic research*. 26. 1997. 3.
- Gibson et al. 1996 – *E. Gibson, N. Pearlmutter, E. Canseco-Gonzalez, G. Hickok*. Cross-linguistic attachment preferences: Evidence from English and Spanish // *Cognition*. 1996. 59.

- Gibson, Schütze 1999 – E. Gibson, C.T. Schütze. Disambiguation preferences in noun phrase conjunction do not mirror corpus frequency // *Journal of memory and language*. 1999. 40.
- Gilboy et al. 1995 – E. Gilboy, J.M. Sopena, C. Clifton, L. Frazier. Argument structure and preferences in the processing of Spanish and English complex NPs // *Cognition*. 1995. 54.
- Grice 1975 – H.P. Grice. *Logic and conversation* // P. Cole, J.L. Morgan (eds.). *Speech acts*. New York, 1975.
- Hemforth et al. 1996 – B. Hemforth, L. Konieczny, C. Scheepers. Syntactic and anaphoric processes in modifier attachment // Poster presented at the 9th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 21–23. New York, 1996.
- Hemforth et al. 2000 – B. Hemforth, L. Konieczny, H. Seelig, M. Walter. Case matching and relative clause attachment // *Journal of psycholinguistic research*. 29. 2000. 1.
- Igoa, Carreiras, Meseguer 1998 – J.M. Igoa, M. Carreiras, E. Meseguer. A study on Late Closure in Spanish: Principle-grounded vs. frequency-based accounts of attachment preferences // *Quarterly journal of experimental psychology*. 51A. 1998. 3.
- Kamide, Mitchell 1997 – Y. Kamide, D.C. Mitchell. Relative clause attachment: Non-determinism in Japanese parsing // *Journal of psycholinguistic research*. 1997. 26.
- Lovrić 2002 – N. Lovrić. It's the prosody that matters in Croatian // Poster presented at the 15th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 21–23. New York, 2002.
- Lovrić, Fodor 2000 – N. Lovrić, J.D. Fodor. Relative clause attachment in sentence parsing: Evidence from Croatian // Poster presented at the 13th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 30 – April 1. La Jolla (CA), 2000.
- MacDonald et al. 1994 – J.L. MacDonald, N.J. Pearlmutter, M.S. Seidenberg. Lexical nature of syntactic ambiguity resolution // *Psychological review*. 1994. 101.
- Mitchell, Brysbaert 1998 – D.C. Mitchell, M. Brysbaert. Challenges to recent theories of cross linguistic variation in parsing: Evidence from Dutch // D. Hillert (ed.). *Sentence processing: A cross linguistic perspective*. San Diego (CA), 1998.
- Mitchell et al. 1995 – D.C. Mitchell, F. Cuetos, M.M.B. Corley, M. Brysbaert. Exposure-based models of human parsing: Evidence for the use of coarse-grained (non-lexical) statistical records // *Journal of psycholinguistic research*. 24. 1995. 6.
- Miyamoto et al. 1999 – E.T. Miyamoto, E. Gibson, N.J. Pearlmutter, T. Aikawa, S. Miyagawa. A U-shaped Relative Clause attachment preference in Japanese // *Language and cognitive processes*. 1999. 14 (5/6).
- Pickering et al. 2000 – M.J. Pickering, M.J. Traxler, M.W. Crocker. Ambiguity resolution in sentence processing: evidence against frequency-based accounts // *Journal of memory and language*. 2000. 43.
- Quinn et al. 2000 – D. Quinn, H. Abdelghany, J.D. Fodor. More evidence of implicit prosody in reading: French and Arabic relative clauses // Poster presented at the 13th Annual CUNY Conference on human sentence processing. March 30-April 1. La Jolla (CA), 2000.
- Silverstein 1976 – M. Silverstein. Hierarchy of features and ergativity // R.M.W. Dixon (ed.). *Grammatical categories in Australian languages*. Canberra, 1976.
- Spivey-Knowlton, Sedivy 1995 – M. Spivey-Knowlton, J.C. Sedivy. Resolving attachment ambiguities with multiple constraints // *Cognition*. 1995. 55.
- Traxler et al. 1998 – M.J. Traxler, M.J. Pickering, C. Clifton. Adjunct attachment is not a form of lexical ambiguity resolution // *Journal of memory and language*. 1998. 39.
- Trueswell et al. 1993 – J.C. Trueswell, M.K. Tanenhaus, C. Kello. Verb-specific constraints in sentence processing – separating effects of lexical preference from garden-path // *Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition*. 1993. 19.
- Walter, Hemforth 2001 – M. Walter, B. Hemforth. Attachment preferences of extraposed and adjacent relative clauses following three-site NPs in German // Poster presented at the 11th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 19–21. New Brunswick (NJ), 2001.
- Walter et al. 1999 – M. Walter, B. Hemforth, L. Konieczny, H. Seelig. Same size sisters in German? // Poster presented at the 12th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 18–20. New York, 1999.
- Wijnen et al. 1999 – F. Wijnen, C. Troos, H. Quené. Prosodic phrasing and relative clause attachment in a three-site context // Poster presented at the 12th Annual CUNY conference on human sentence processing. March 18–20. New York, 1999.

© 2006 г. П. П. ВЕТРОВ

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО СИНТАКСИСА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА*

В статье на материале ФЕ-идиом китайского языка показывается, как в предложении может мобилизоваться их собственный внутрисинтаксический потенциал, в результате чего части ФЕ “вплетаются” в состав предложения, приравниваясь по своему синтаксическому статусу к самостоятельным членам предложения. Неправомерно утверждать, что синтаксис ФЕ полностью сходен с синтаксисом слов. ФЕ обладает особым свойством – свойством сочетаемости, которое следует понимать не только как валентную способность, но и как то свойство, благодаря которому устойчивые переосмысленные словосочетания способны “перерождаться” в новые синтаксические единицы, семантически связанные друг с другом, но состоящие при этом из нескольких элементов, которые находятся в разных синтаксических позициях.

В современной науке о языке синтаксис фразеологических единиц (далее – ФЕ) на материале индоевропейских языков (русский, английский, немецкий и т.д.) представлен работами А.М. Чепасовой, Е.И. Дибровой, А.В. Жукова, В.Н. Телия, Н.Н. Амосовой, С.Г. Тер-Минасовой, И.И. Чернышевой, Д.О. Добровольского и др. исследователей, где сформулированы основы структурного и коммуникативного подхода к синтаксису устойчивых словосочетаний. При этом нельзя не отметить, что проблемы синтаксиса ФЕ разрабатываются на материале очень незначительного количества языков. В частности, синтаксис фразеологизмов китайского языка не разработан в должной мере даже лингвистами КНР. Занимающиеся вопросами фразеологии китайские исследователи в большинстве случаев уделяют внимание только культурологическим, семантическим и этимологическим аспектам описания ФЕ, что же касается грамматического аспекта, то в лучшем случае дается лишь описание различных фразеобразовательных моделей китайских ФЕ [Вэнь Дуань-чжэн 1981; Сюй Го-цин 1999; Сян Гуан-чжун 1979; Хуан Юэ-чжоу 1980; Чан Цзинь-юй 1995; Чжан Гун-гуй 1991]. Вопросы же грамматики ФЕ китайского языка, а точнее их синтаксического потенциала, фактически не затрагиваются¹. В отечественном языкознании фразеология также в достаточно полной мере изучена только с точки зрения семантики, морфологии и стилистики, в то время как вопросы синтаксиса ФЕ до сих пор по большей части остаются в тени. “Область фразеологии – по преимуществу область семанτικο-стилистических исследований, так как фразеологическая единица представляет собой сложное семантическое целое весьма многообразной структуры” [Бабкин 1965: 5]. Между тем без обращения к синтаксической структуре и к синтаксическому потенциалу ФЕ невозможно адекватно передать их функциональную специфику как в лексикографии, так и в практике обучения языкам вообще. В этой связи весьма показательно высказывание В.Н. Телия, которая указывает на то, что «синтаксическое поведение идиом еще нуждается в исследовании его с уче-

* Предлагаемая статья является частью выполняемой темы по плану Института языкознания РАН.

¹ В качестве редкого исключения относительно указанной тенденции можно упомянуть монографию [Чжэн Дин-оу 1999], где в приложении № 3 без каких-либо комментариев приведены примеры функционирования некоторых ФЕ, когда их составные компоненты по отдельности (самостоятельно) включаются в строй предложения-высказывания.

том отрицательных данных “лингвистического эксперимента” (в смысле Л.В. Щербы)» [Телия 1988: 56]. Исходя из сказанного, в данной статье мы делаем попытку дать теоретическое осмысление функциональной “реанимации” внутренних синтаксических свойств китайских ФЕ в их взаимосвязи с синтаксисом внешнего порядка. Иными словами, мы ставим перед собой задачу показать, что внутренний и внешний синтаксис ФЕ китайского языка тесно связаны между собой. Но прежде чем перейти к рассмотрению феномена “оживления” генетического синтаксиса включенной в предложение-высказывание ФЕ-идиомы, необходимо сказать несколько слов о том, что именно понимается нами под терминами “внешний” и “внутренний” синтаксис.

Как сформулировано К.Я. Сигалом, «у ФЕ существует два синтаксических измерения: одно (внутреннее) – “превращенная форма”, отображенная в семантической модели ФЕ, ... другое (внешнее) – синтаксическая сочетаемость ФЕ и зоны их иррадиации в коммуникативно-синтаксическом пространстве текста» [Сигал, Ветров 2006]. Иными словами, у ФЕ имеется внутренний и внешний синтаксис.

В свое время на явление внутрисинтаксического “оживления” ФЕ в русском языке одними из первых обратили внимание В.П. Жуков и А.И. Молотков. Так, в частности, А.И. Молотков писал, что, “где бы и как бы ни располагались компоненты фразеологизма среди слов текста, границы фразеологизма очерчиваются только составом его компонентов”, однако “вместе с тем... в границы фразеологизма все же могут иногда попадать слова, которые вступают в определенные отношения и связи не с фразеологизмом в целом, а только с отдельными компонентами его” [Молотков 1977: 67]. Кроме того, А.И. Молотков четко разграничил понятия “границы фразеологизма” и “состав компонентов фразеологизма”, указав, что они не тождественны друг другу, что слова, распространяющие отдельные компоненты ФЕ, “не могут рассматриваться как члены данного предложения, стоящие в одном ряду с подлежащим, сказуемым, дополнением, так как входят в состав предложения о п о с р е д о в а н н о – через фразеологизм” [Молотков 1977: 68], не затрагивая его категориальной сущности. Позднее Н.М. Шанский уточнил тот семантический тип ФЕ русского языка, который допускает распространение своего компонентного состава, это явление характерно для фразеологических единств, это одна из их отличительных особенностей. “Фразеологические единства допускают вставку других слов: *тянуть (служебную) лямку*. Это свойство фразеологических единств обособляет их не только от фразеологических сращений, но и от подавляющего большинства фразеологических сочетаний и выражений” [Шанский 1985: 61].

Сходные явления преобразования внешней синтаксической формы ФЕ отмечались отечественными учеными-фразеологами и на материале других языков. Так, Н.Н. Амосова на материале английского языка детально показала, что «сама по себе воспроизводимость постоянного контекста “в готовом виде” вовсе не обязательно вызывает “омертвление” синтаксических отношений между его компонентами» [Амосова 1963: 162], что “синтаксические показатели внутренней раздельнооформленности (некоторых. – П.В.) фразеологических единиц – это реально проявляющиеся синтаксические отношения между их компонентами” [Амосова 1963: 158]. Еще в начале 1960 годов ею отмечалось, что положение, согласно которому ФЕ выступают в речи в качестве единого и притом неразложимого члена предложения, верно далеко не для всех форм употребления ФЕ. Иначе говоря, любой член предложения может быть выражен посредством ФЕ, но только такой ФЕ, которая, по выражению Н.Н. Амосовой “не подлежит синтаксическому разложению на самостоятельные члены включающего предложения” [Амосова 1963: 162], это ФЕ типа *to set (my, his, the man's, Arthur's) teeth on edge* (дословно ‘вставить в чьи-либо зубы [острое] лезвие’) ‘вызывать ощущение оскомины; раздражать кого-либо, действовать кому-либо на нервы’. Н.Н. Амосова в своем исследовании “неосознанности”, или фиктивности, синтаксической структуры ФЕ, пользуясь методикой “логических вопросов” по отношению к составным компонентам ФЕ-идиом (фразеологических единств), показала, что существует группа таких подвижных ФЕ, в которых не наблюдается реальных признаков “омертвления” синтаксических отношений между их компонентами, напротив, у этих ФЕ имеется ряд показателей их “живости”:

1. синтаксическая обратимость ФЕ (например: *I crossed the Rubicon – the Rubicon was crossed*); 2. самостоятельная синтаксическая связь одного из их членов с переменным компонентом (например: *What a tempest you make in a teapot!*? “Что за бурю ты устроил в стакане воды!” [в оригинале – “в чайнике”]); 3. способность к подстановке слова-заместителя вместо одного из компонентов [Амосова 1963: 163–164].

С.Г. Тер-Минасова, анализируя фразеологические единицы английского языка с точки зрения их включенности в отношения двойной оппозиции “свобода – связанность”, справедливо указывает, что, хотя главной характерной чертой этих особых языковых единиц является их устойчивость, стабильность и “крупноблочность”, тем не менее «было бы неверно рассматривать образования такого рода как некие застывшие, раз и навсегда созданные “окаменелости”» [Тер-Минасова 2004: 66]. И далее автор приходит к следующему важному выводу: “чем больше семантическая неделимость, неразложимость фразеологических единиц, чем крепче их устойчивость, тем чаще они подвергаются разложению, тем больший стилистический эффект имеет это разложение” [Тер-Минасова 2004: 67].

В.М. Мокиенко по этому поводу пишет, что еще Ш. Балли выявил роль плеоназма как противоположности эллипсиса во фразеологии и заметил, что “элементы фразеологического оборота могут быть отделены друг от друга прочими словами предложения, и от этого единство сочетания ничуть не нарушается” [Мокиенко 1980: 103; Балли 1961: 99].

С последним утверждением трудно полностью согласиться: семантическое единство устойчивого сочетания слов, коим является ФЕ, при описанных трансформациях нарушается, и нарушается весьма значительно. Причина этого кроется в том, что при расщеплении состава ФЕ и распространении его отдельных компонентов происходит существенное изменение степени семантической спайки составных компонентов ФЕ, если же выражаться более точно, то наблюдается определенная деформация (но не разрушение!) семантической целостности между составными компонентами расщепленной ФЕ. Данный вывод основывается на данных, полученных нами в ходе экспериментального определения степени структурно-семантической целостности китайских ФЕ разных моделей. Это исследование заключалось в том, что испытуемым предлагалось несколько групп предложений, каждая группа содержала одну и ту же ФЕ-идиому, структура которой в норме допускает ее расщепление, т.е. слитно-раздельное существование, а также распространение составных компонентов переменными членами предложения. В каждой группе с одной и той же ФЕ-идиомой насчитывалось от четырех до семи примеров ее употребления, причем первые предложения каждой группы имели в своем составе ФЕ-идиому, употребленную как одно целое, в последующих же примерах эта ФЕ включалась в предложение не целиком, а своими расчлененными или позиционно инверсированными частями, каждая из которых при этом синтаксически “оживала”, принимая на себя функции того или иного члена предложения. Таким образом, получалось, что как минимум две из синтаксических позиций в предложении были заняты составными компонентами данной ФЕ-идиомы. Перед испытуемыми – носителями китайского языка (в количестве 10 человек) – была поставлена задача: в каждом из предъявленных предложений подчеркнуть содержащуюся в них ФЕ-идиому. Результаты данного эксперимента обнаружили следующую закономерность. Во-первых, пока испытуемый имел дело с теми ФЕ, которые были включены в предложение как одно простое целое, он без труда обнаруживал их и выделял подчеркиванием. Однако как только испытуемый сталкивался с расчлененной формой существования ФЕ или с ее инверсированными друг относительно друга компонентами, или со случаями распространения одного из составных компонентов ФЕ переменными элементами (а часто с двумя факторами одновременно), он (обычно не без размышлений!) в абсолютном большинстве случаев выделял либо только один из “оживших” компонентов ФЕ, который всегда соответствовал части ФЕ, содержащей большее количество слого-морфем (каждая из которых на письме соответствует иероглифическому знаку), либо подчеркивал общей чертой и саму ФЕ и переменные элементы, относящиеся к одному из ее компонентов. Это наиболее типичные

реакции испытуемых, которые как раз и свидетельствуют о том, что нарушение формальной целостности ФЕ влечет за собой также нарушение ее семантической целостности. Восприятие языковым индивидом одной и той же ФЕ-идиомы, подвергшейся в речи различным преобразованиям, сводится к тому, что ФЕ предстает в сознании то как некое гибридное образование, состоящее из компонентов переразложившейся ФЕ и прилегающих к ним переменных элементов, то как фрагмент, в котором сфокусирована наиболее акцентирующая сема от общего значения ФЕ.

Обобщая все вышесказанное, приведем мысль К.Я. Сигала относительно проблемы внешнего и внутреннего синтаксиса во фразеологии любого языка вообще: «Несомненно, ... что фразеология, как бы ни трактовали ее уровневую природу, образует особый сегмент в сфере номинативных ресурсов речевой деятельности и в ходе осуществления речемыслительных процессов выступает как поставщик, с одной стороны, связанных с одним определенным концептом и тем самым семантически цельных знаков номинации, а с другой стороны, синтаксически неэлементарных и воспроизводимых в константном (или минимально варьируемом) лексическом наполнении конструкций, в которых внутренние синтаксические формы в той или иной степени деактуализованы и приобретают поэтому статус “превращенной формы”, а внешние синтаксические формы зависят чаще всего от влияния семантики конкретной фразеологической единицы (далее – ФЕ) на проявление активной / пассивной валентности грамматически главенствующего компонента ФЕ. Иначе говоря, в механизм структурирования речевого высказывания фразеологизм потенциально может включаться и как симплекс, и как комплекс. По-видимому, с этим парадоксом во фразеологии связано представление о неполноте или о незавершенности списка критериев фразеологичности, ибо фразеологический семиозис насыщает языковую систему слишком разными знаковыми единицами, – разными как по степени семантической слитности и по синтаксическому формату, так и, главное, по способности быть проницаемыми “живыми” синтаксическими связями в актах речевой деятельности» [Сигал, Ветров 2006].

Прежде чем перейти к внутрисинтаксической характеристике китайских ФЕ, необходимо особо отметить, что понимается нами под терминами “дополнение” и “обстоятельство” применительно к китайскому языку в отличие от их понимания некоторыми другими исследователями грамматического строя китайского языка.

Так, А.А. Драгунов, рассматривая пример 念了三个月(的)书 *niànle sān gè yuè shū* (няньлэ сань гэ юэ (дэ) шу) ‘учился три месяца’, пишет, что “если глагол в китайском языке имеет при себе дополнения – числительно-предметное и обычное прямое, то первое превращается в своего рода определение ко второму” [Драгунов 1952: 190]. Мы же, со своей стороны, примем за основу более узкое и одновременно традиционное в общетеоретическом плане понимание термина “дополнение”. Дополнением мы будем считать только тот член предложения, который передает значение объекта (воздействия), мысли и чувства субъекта (прямое дополнение), кроме того, дополнение также может означать адресата и орудие действия (косвенное дополнение). Таким образом, в примере А.А. Драгунова, при указанном понимании, какое-либо дополнение вообще отсутствует. В данном примере, являющем собой неполное предложение, можно выделить сказуемое 念了书 *niànle shū* (няньлэ шу) ‘учился’ и обстоятельство длительности действия 三个月 *sān gè yuè* (сань гэ юэ) ‘три месяца’, которое, по метафорическому выражению Н.В. Солнцовой [Солнцева 1985: 183], “инкорпорируется” внутрь указанного сказуемого, выраженного здесь сложным словом-биномом 念书 *niànshū* (няньшу) ‘учиться’ с глагольно-именной структурой. Именная морфема в этом слове представляет собой так называемое “пустое дополнение / объект” в силу того, что эта вторая именная морфема подвержена десемантизации. Именная часть 书 *shū* (шу) ‘книга’, оказавшись отделенной от предшествующей глагольной 念 *niàn* (нянь) со значением ‘заучивать [наизусть]’, не становится от этого объектом действия, так как только обе части вместе, а не по отдельности, т.е. глагольная часть 念 *niàn* (нянь) и именная часть 书 *shū* (шу) способны передавать значение ‘учиться’. Иначе говоря, при вклинивании переменного компонента

создается иллюзия того, что оторванные друг от друга морфемы приобретают статус слова, однако значение этих морфем при этом не меняется: первая морфема в сочетании со второй дистанцированной по-прежнему дают аддитивное значение ‘учиться’, но не ‘читать вслух книгу’². В этом состоит специфическая особенность синтаксиса китайского языка, в котором при выражении объектных, атрибутивных и различного рода обстоятельственных отношений часто используется прием вклинивания обстоятельства (длительности или кратности), прямого дополнения, а также определения внутрь сложных слов, которым свойственно слитно-раздельное существование. В первую очередь это относится к сложным словам, построенным по модели “глагол + имя (пустое дополнение)”. Слова с таким функциональным свойством именуется китайскими лингвистами как 离合词 *líhécí liúhécí* (дословно ‘слова, способные к расчленению’). Приведем примеры в порядке перечисленных членов предложения, где в китайском варианте части расщепленного сложного слова указаны жирным выделением, а обстоятельства, определения и дополнения отмечены жирными точками, в русском варианте (в его дословном переводе) части расщепленного сложного слова выделены двойным подчеркиванием, вклиниваемые второстепенные члены даются в угловых скобках:

英子娘流了一宿的泪 *Yīngzi niáng liú-le yī xiǔ de lèi* “Мать Инцзы плакала всю ночь напролет” (дословно: ‘Мать Инцзы лила + <одна ночь> + слезы’) (обстоятельство длительности);

他睡了十个小时觉 *Tā shuì-le shí-gè xiǎoshí jiào* “Он проспал десять часов” (дословно: ‘Он спал + <десять часов> + сон’) (обстоятельство длительности);

早上他喜欢洗冷水澡 *Zǎoshang tā xǐhuàn xǐ lěng shuǐ zǎo* “По утрам он любит принимать холодный душ” (дословно: ‘По утрам он любит мыться / орошать + <холодная вода> + купанье’) (определение);

今天他站最后一班岗 *Jīntiān tā zhàn zuìhòu yībān gǎng* “Сегодня он несет свою последнюю вахту” (дословно: ‘Сегодня он стоит + <последний> + <один – счетное слово> + пост’) (порядковое определение);

你应该辞他的职 *Nǐ yīnggāi cí tāde zhí* “Ты должен его уволить” (дословно: ‘Ты должен ликвидировать <его> должность’) (притяжательное определение);

我希望能见上你一面 *Wǒ xīwàng néng jiànshàng nǐ yī miàn* “Я надеюсь, что мы еще увидимся с тобой” (дословно: ‘Я надеюсь, что смогу увидеть + <тебя> + <один> + лицо’) (дополнение прямое и обстоятельство кратности);

他帮了我很大的忙 *Tā bāng le wǒ hěn dà de máng* “Он очень здорово мне помог” (дословно: ‘Он помог + <мне> + <очень большие> + хлопоты’) (дополнение и определение);

他们下了两盘棋 *Tāmen xià-le liǎng pán qí* “Они сыграли две партии в шашки / шахматы” (дословно: ‘Они сыграли + <две партии> + шашки’) (обстоятельство кратности).

Явления вклинивания второстепенных членов предложения аналогичным образом распространяются и на те ФЕ, которые, как и сложные китайские слова (“лихэцы”), способны к слитно-раздельному существованию. Так, с одной стороны, может наблюдаться вклинивание ФЕ в состав сложного слова глагольно-именной структуры. Такая вклиниваемая ФЕ выступает в качестве уточняющего (атрибутивного) компонента по отношению к именной морфеме сложного слова, поглощающего эту ФЕ. Приведем

² Употребляясь самостоятельно, простое слово 念 *niàn* (нянь) имеет значение ‘читать вслух’, а слово 书 *shū* (шуй) означает ‘книга’.

пример подобного вклинивания ФЕ (в переведенном дословно на русский язык предложении вклиниваемая ФЕ выделена угловыми скобками):

这次招聘咱们就是吃了不识货的亏，让人家把两个真正的人才给抢走了。Zhè cì zhāopìn zánmen jiùshì chīle bù-shí-huò-de kuī, ràng rénjiā bǎ liǎng-gè zhēnzhèng-de réncái gěi qiǎngzǒule. “На этот раз при подборе работников мы просчитались из-за своей некомпетентности, позволили другим перехватить у нас двух хороших специалистов” (дословно: ‘На этот раз при найме [работников] мы понесли <не разбираемся в товаре> ущерб, ...’).

Употребленная в данном примере ФЕ 不识货 *bùshíhuò* (бу ши хо) означает ‘не отличать истинное от ложного, хорошее от плохого’ (дословно: ‘не разбираться в товаре’)³. В предложении она выполняет функцию определения по отношению к именной части 亏 *kuī* (куй) ‘ущерб, убыток’, которое входит в состав сложного слова 吃亏 *chīkuī* (чуйкуй) ‘(по)нести ущерб’.

С другой стороны, ФЕ с глагольно-именной структурой сама способна к разрыву за счет вклинивания в ее состав переменных элементов, представляющих собой определенный член предложения (определение или различные типы обстоятельство). Указанная способность употребления китайских ФЕ-идиом данной структуры реализуется в речи настолько часто, что можно говорить о ее регулярности, и, следовательно, расщепление ФЕ-идиомы в таком случае далеко не всегда связано с созданием особого стилистического эффекта. Например:

1. 碰钉子 *pèng dīngzi* (пэн динцзы) ‘потерпеть неудачу; получить отказ; подвергнуться критике, порицанию’ (дословно: ‘напороться на гвоздь’);

1'. 这个人 不碰几回钉子是不会虚心的。Zhè gè rén bù pèng jǐ huí dīngzi shì bù huì xūxīnde. “Пока этого человека не покритикуют раз-другой, он не станет скромнее” (дословно: ‘Этот человек [пока] не наткнется <несколько раз> [на] гвоздь, не станет скромнее’);

2. 泡蘑菇 *pào mógu* (пао могу) ‘намеренно тянуть время’ (дословно: ‘замачивать [сушеные] грибы’);

2'. 她今天上午什么也没干，泡了半天蘑菇。Tā jīntiān shàngwǔ shénme yě méi gàn, pào le bàn-tiān mógu. “Сегодня с утра она вообще ничего не делала, полдня лодыря гоняла” (дословно: ‘...замачивала <полдня> грибы’).

В то же время среди китайских ФЕ-идиом встречаются и такие, структура, или внешняя форма, которых в норме не предполагает каких бы то ни было преобразований (под которыми мы понимаем распространение компонентного состава, его расщепление, изменение исходного порядка следования составных компонентов ФЕ), однако когда это все же происходит (а происходит это всегда осознанно!), то, как пишет Тер-Минасова, такое явление можно назвать преднамеренной деформацией. Под деформацией такого рода подразумевается преднамеренное обыгрывание образов, сознательная перестройка фразеологической единицы, иначе говоря, индивидуально-авторская стилистическая игра. «При такой деформации реализуется “потенциальное” значение компонентов фразеологических единиц, последние выступают самостоятельно, в том значении, которое в скрытом виде присутствовало в них как членах фразеологизма» [Тер-Минасова 2004: 68]. Таким образом, возможно выделить два типа преобразований ФЕ-идиом – во-первых, это регулярные трансформации, предусмотренные или обусловленные языковой нормой; во-вторых, это намеренные деформации индивидуально-авторского харак-

³ Комментарий: Возможно, что данная ФЕ происходит от поговорки (так называемые “сехоуэй” – речения с усекаемой концовкой) 乡下人看古董 – 不识货 *xiāngxià rén kàn gǔdǒng – bùshíhuò* (сянся жэнь кань гудун – бу ши хо) ‘деревенский мужик смотрит на антикварную вещь – не знает, что за товар’.

тера, которые основаны на осознанном отклонении от языковой нормы (таковы приводимые ниже примеры № 6.2, 8, 9). В связи с этим, при описании свойств китайских ФЕ-идиом с позиции внутреннего синтаксиса следует различать, к какому из типов относится то или иное ее преобразование.

Итак, особенности внутреннего синтаксиса китайских ФЕ в первую очередь очень хорошо прослеживаются на материале ФЕ-идиом, построенных по модели “переходный глагол + управляемое имя (объект)”. По-видимому, вовлеченность ФЕ-идиом, основанных на данной синтаксической модели, в процесс оживления внутренней синтаксической среды – универсальная черта в сфере фразеологии языков различной типологии. Это, в частности, согласуется и с наблюдениями Н.Н. Амосовой, указывающей на то, что “в сфере фразеологических единиц (как и в сфере переменных сочетаний слов. – П.В.) преобразование также не столь редкое явление и также имеет ограничения. Оно возможно главным образом в глагольных идиомах и фраземах⁴ с объектным отношением между компонентами” [Амосова 1963: 164]. Кроме указанной модели, “оживление” внутренней синтаксической структуры можно наблюдать среди ФЕ-идиом, построенных по модели “подлежащее (имя существительное) + качественное сказуемое (имя прилагательное)” (примеры № 6.1, 6.2), а также среди отдельных ФЕ-идиом, построенных по модели полного или неполного предложения (примеры № 7, 8, 9), в составе которых всегда присутствуют, как минимум, два составных компонента, выраженных именем существительным / именем собственным и глаголом.

Составные части таких ФЕ в речевом потоке часто допускают вклинивание в свой состав уточняющих переменных (служебных слов, знаменательных слов и словосочетаний), в результате чего основные компоненты ФЕ начинают функционировать как части, дистантные по отношению друг к другу. В таких случаях можно говорить о том, что происходит своеобразное расчленение. При таком употреблении фразеологизма его составные компоненты начинают сближаться со словами в их свободном употреблении. В подобных случаях разрыв компонентов ФЕ часто сопровождается их взаимной линейной перестановкой. Рассмотрим соответствующие примеры.

1. 背黑锅 *bēi hēi-guō* (бэй хэй-го) ‘быть несправедливо обиженным, незаслуженно обвиненным’, ср. русск.: *быть, стать козлом отпущения* (дословно ‘нести на спине (1) закопченный котел (2)’). Ср.: 我背着这个黑锅快二十年了 *Wǒ bēi-zhe zhègè hēi-guō kuài èrshí nián le* ‘Вот уже скоро будет двадцать лет, как меня все еще считают виноватым в этом’ (дословно: ‘Вот уже скоро будет двадцать лет, как я **ношу на спине этот закопченный котел**’).

В данном примере первый из компонентов ФЕ – глагольное сказуемое 背 *bēi* (бэй) ‘нести на спине’ оформляется видовым суффиксом 着 *zhe* (чжэ), который является показателем состояния и здесь передает значение неконтролируемости, заключающейся в том, что субъект состояния предстает как “страдательный”, неагентивный. Второй компонент 黑锅 *hēi-guō* (хэй-го) ‘закопченный котел’ распространяется словом 这个 *zhègè* (чжэ-гэ) ‘этот’.

2. 翘尾巴 *qiào wěiba* (цяо вэйба) ‘зазнаваться, проявлять высокомерие’ (дословно: ‘задирать хвост’), ср. русск.: *задирать нос*. Ср.:

2.1. 他从来不翘尾巴 *Tā cónglái bù qiào-wěiba* ‘Он никогда не задается’ (дословно: ‘Он никогда не **задирает хвост**’).

Этот пример раскрывает нам только внешнесинтаксическую характеристику рассматриваемой ФЕ: сочетание синтагматически предшествующего глагольного компонента 翘 *qiào* (цяо) ‘задирать’ с постпозитивным именным 尾巴 *wěiba* (вэйба) ‘хвост’

⁴ Фраземами Н.Н. Амосова называет единицы “постоянного контекста, в котором значение семантически реализуемого слова является фразеологически связанным” [Амосова 1963: 59], т. е. фактически речь идет о фразеологических сочетаниях типа *dog's life* “тяжелая жизнь” или *to knit (one's) brows* “насупить брови”.

обладает единой функциональной нагрузкой, в предложении данная ФЕ занимает синтаксическую позицию глагольного сказуемого. Однако при условии инверсированного порядка слов-компонентов этой ФЕ их внутрисинтаксические отношения выйдут за рамки границ ФЕ и включаются в синтаксический строй всего предложения, например:

2.2. 他尾巴翘到天上去了 *Tā wěiba qiào dào tiānshàng qù le* “Он слишком зазнался” (дословно: ‘Он хвост задрал в небо / до неба’).

В этом примере глагольный компонент 翘 *qiào* (цяо) ‘задрал’ оформляется постпозитивным “аффиксальным” предлогом 到 *dào* (который в китайстике традиционно называется направительной морфемой), данный предлог-аффикс вводит направление действия – ‘в небо’ (到天上 *dào tiānshàng*). Исходя из синтаксических особенностей рассматриваемой ФЕ, компонент ‘задрал’ вместе с распространяющей его частью ‘в небо’ следует определить как обстоятельство местоимения, вместе с тем, с точки зрения семантики, примыкающий к глаголу распространитель ‘в небо’ выполняет функцию обстоятельства степени, – в данном случае степени высокомерия описываемого субъекта.

2.3. 只要听到表扬的话, 他的尾巴就开始翘起来了 *Zhǐyào tīngdào biǎoyángde huà, tāde wěiba jiù kāishǐ qiàoqǐlái-le* “Стоит ему только услышать похвалу в свой адрес, как он сразу же начинает зазнаваться” (дословно: ‘Стоит ему только услышать похвалу в свой адрес, как его хвост сразу же начинает (при)подниматься’).

Данный пример интересен тем, что компоненты ФЕ, в словарно закрепленном представлении единицы примыкающие друг к другу (ср. с 2.1), выполняют одну функцию – функцию глагольного сказуемого, однако, будучи инверсированными друг относительно друга, они функционально размежевываются: компонент 尾巴 *wěiba* (вэйба) ‘хвост’ распространенный притяжательным местоимением 他的 *tāde* (тадэ) ‘его’, занимает позицию подлежащего, а второй компонент 翘 *qiào* (цяо) ‘задирать’, оформленный формообразующим аффиксом 起来 *qǐlái* (цилай) со значением начала и продолжения действия, образует вместе с распространяющим его фазисным глаголом 开始 *kāishǐ* (кайши) ‘начинать’ составное глагольное сказуемое *kāishǐ qiàoqǐlái-le* ‘начинает (при)подниматься’.

3. 开后门 *kāi hòu-mén* (кай хоу-мэнь) 1. ‘по блату’; 2. ‘делать кому-либо что-либо по блату, используя свое привилегированное положение’ (дословно ‘открывать (1) заднюю дверь (2)’ [в смысле ‘дверь с черного хода’]). Ср.: 这个后门我不能给你开 *Zhègè hòu-mén wǒ bù néng gěi nǐ kāi* “Этого по блату я не могу для тебя сделать” [имеется в виду моральная установка говорящего, а не отсутствие возможности оказать по блату услугу кому-либо] (дословно: ‘Эту заднюю дверь я не могу тебе открыть’).

Приведенный пример демонстрирует то, как изначально употребляющаяся в одной синтаксической позиции ФЕ способна к функциональному расчленению, т. е. ее слова-компоненты фактически преобразуются в разные члены предложения вместе с переменными компонентами, их распространяющими (как в примере 2.3): инверсированное прямое дополнение (这个后门 *zhègè hòu-mén* ‘эту дверь’) и сказуемое (不能开 *bù néng kāi* ‘не могу открыть’). Составное сказуемое в данном предложении выражено сочетанием модального глагола 能 *néng* (нэн) ‘могу’ в отрицательной форме и глагольного компонента ФЕ 开 *kāi* (кай) ‘открыть’, это сочетание является предикативным узлом всего высказывания, в котором есть только один абсолютно независимый член предложения – подлежащее 我 *wǒ* (во) ‘я’, а вся остальная часть предложения образована компонентами самой ФЕ и распространяющими членами предложения, примыкающими к ним.

4. 拍马屁 *pāi mǎpì* (пай ма-ни) ‘подхалимничать’ (дословно: ‘похлопывать лошадиный круп’). Ср.: 他拍马屁拍到我头上来了 *Tā pāi mǎ-pì pāi dào wǒ tóushàng lái le* «Он стал “подъезжать” ко мне» или “Он начал мне лстыть” (дословно: ‘Он похлопывает коня по крупу + хлопнул по мне’ [по моей голове]).

В этом предложении именной компонент 马屁 *mǎpì (ма-пи)* ‘лошадиный круп’ синтаксически “оживает” за счет повторения глагольного компонента 拍 *pāi (най)* ‘похлопывать’. Повтор глагольного компонента в предложении обусловлен следующим обстоятельством: поскольку динамическое обстоятельство местоназначения вводится посредством постпозитивного “аффиксального” предлога 到 *dào (дао)*, присоединяемого непосредственно к глаголу, то в условиях наличия у переходного глагола-сказуемого прямого дополнения в постпозиции, грамматическая норма требует удвоения отдельно взятого глагола-сказуемого с тем, чтобы к нему можно было беспрепятственно присоединить “аффиксальный” предлог *dào*, вводящий динамическое обстоятельство. Таким образом, внутрисинтаксические отношения ФЕ выходят за ее собственные границы и включаются в связи с остальными членами предложения. Следует заметить, что в китайском языке переходный глагол в основном употребляется с дополнением: даже если значение этого глагола нет необходимости конкретизировать, все равно в качестве дополнения применяется какое-либо слово с общим значением, которое в китаистике называется “пустым дополнением”. В данном примере своеобразным аналогом такого “пустого дополнения” является слово-компонент *mǎpì (ма-пи)* ‘лошадиный круп’.

5. 摊底牌 *tān dǐpái (тань динай)* ‘обнаруживать, раскрывать свои замыслы, планы’ (дословно ‘раскрыть карты’). Ср.: 你敢把你的牌摊出来吗 *Nǐ gǎn bǎ nǐde pái tānchūlái ma?* “Ты что, рискнешь раскрыть все свои карты?” (дословно: ‘Ты осмелишься + предлог *bǎ* + свои карты выложить?’)

Здесь изначально семантически и грамматически слитная ФЕ подвергается синтаксической декомпозиции благодаря инверсированному порядку своих компонентов. Инверсированный порядок слов-компонентов ФЕ в данном случае индуцируется специальным предлогом 把 *bǎ (ба)* (на русский язык не переводится), который предназначен для выноса прямого дополнения в препозицию к сказуемому. Этот предлог используется тогда, когда прямое дополнение обозначает объект, известный собеседникам, причем сказуемое в этом случае, как правило, выражается осложненным глаголом, т.е. глаголом, оформленным каким-либо аффиксом с результативным или направительным значением.

6. 脸皮厚 *liǎnpí hòu (ляньпи хоу)* (о нахальном, бесцеремонном человеке) (дословно ‘кожа лица (1) толстая (2)'). Ср.:

6.1. 某些同学连留级都不怕, 某些同学连留级都不怕 *Mǒuxiē tóngxué lián liújí dōu bù pà, zhè liǎnpí yě gòu hòude* “Некоторые учащиеся даже не боятся остаться на второй год, это очень приличное нахальство” (дословно: ‘Некоторые учащиеся даже не боятся на второй год остаться, такая [их] кожа лица довольно толста’).

Вторая часть данного сложного предложения полностью построена за счет ресурсов рассматриваемой ФЕ, части которой расчлениются и вступают в предикативную связь друг с другом, фактически становясь полноценными членами предложения.

6.2. 他脸皮厚得能烙饼 *Tā liǎnpí hòude néng lào bǐng* “Он наглый до крайности” (дословно: ‘Его кожа лица толста так, что [на ней] можно печь лепешки’).

В этом примере задействована ФЕ с внутрисинтаксической моделью “имя существительное (подлежащее) + имя прилагательное (сказуемое)”. В результате того, что второй компонент рассматриваемой ФЕ (слово ‘толстая’) распространяется предложением ‘можно запекать лепешки’ и, следовательно, превращается в сказуемое, главный компонент 脸皮 *liǎnpí (ляньпи)* ‘кожа лица’ в этой связи в синтаксическом отношении “отторгается” от своего генетически зависимого компонента 厚 *hòu (хоу)* ‘толстая’ и превращается в подлежащее, осложненное уточняющим притяжательным определением ‘его’.

7. (用) 八抬大轿抬不动 *(yòng) bā tái dà jiào tái bù dòng* (юн батайдэцзяо тайбудун) [обычно говорится о чьих-либо настойчиво предпринимаемых попытках склонить кого-либо к некоему решению – как правило, говорится, когда с кем-либо очень трудно договориться, а также когда какого-либо очень важного и известного человека (специали-

ста) чрезвычайно сложно пригласить куда-то с целью услуги, консультации, сотрудничества и т.п.] ‘несмотря на максимально прилагаемые усилия (уважение или просто настойчивость) быть не в состоянии убедить кого-либо прислушаться к себе, принять приглашение или откликнуться на просьбу’ (дословно ‘паланкин⁵, рассчитанный на восемь носильщиков, не сдвинуть [с места]’). Мы приводим здесь лишь наиболее часто встречаемую форму данной ФЕ, которая, впрочем, далеко не всегда употребляется в форме особого потенциального наклонения (в терминологии А. А. Драгунова).

7.1. 我们(用)八抬大轿都抬不动他, 他好大的架子 Wǒmen (yòng) bā táidàjiào dōu táibudòng tā, tā hǎo dàde jiàzi! “Мы к нему и так и сяк, из кожи вон лезли, но ничего не вышло, у него столько гонора!” (дословно: ‘Мы [в значении ‘нам’] + на паланкине, рассчитанном на восемь носильщиков + даже + [было] не сдвинуть / не поднять с места + его...’).

В данном примере синтаксически “оживают” (актуализируются) все составные компоненты ФЕ: составной компонент 用 yòng (юн) ‘с помощью, посредством’ начинает работать как инструментальный предлог (если он вообще употребляется, так как в разговорной речи его часто опускают), компонент 八抬大轿 bā táidàjiào (батайдэцзяо) ‘паланкин, рассчитанный на восемь носильщиков’ превращается в косвенное дополнение, а третий глагольный компонент 抬 tái (тай) ‘поднимать; нести’ вовлекается в формирование особого типа сказуемого, выраженного глагольной формой потенциального наклонения. Кроме того, синтаксическому “оживлению” глагольного компонента tái ‘поднимать’ способствует еще и то, что к сказуемому, построенному на его основе, примыкает объект воздействия 他 tā (та) ‘он / его’, который вступает со сказуемым в присловную зависимость. Аналогичные процессы происходят с рассматриваемой ФЕ и в следующих примерах:

7.2. 我们(用)八抬大轿抬他来, 看他来不来 Wǒmen yòng bā táidàjiào tái tā lái, kàn tā lái bù lái “Мы окажем ему самые высокие почести, [вот тогда и] посмотрим, придет он или нет” (дословно: ‘Мы на паланкине, рассчитанном на восемь носильщиков, понесем/подыдем его, посмотрим придет ли он’) [говорящий до конца не уверен в успехе предприятия].

7.3. 我们用八抬大轿一定把他抬来 Wǒmen yòng bā táidàjiào yīdìng bǎ tā táilái “Нам несомненно удастся пригласить его, проявив к нему максимум почтения” (дословно: ‘Мы на паланкине, рассчитанном на восемь носильщиков, обязательно его принесем/подыдем’) [говорящий твердо уверен в успехе предприятия].

8. 半路杀出个程咬金 bàn lù shāchūge chéngyǎojīn (бань-лу шачугэ чэн яоцзинь) ‘в делах вдруг произошли кардинальные непредсказуемые изменения’, ср. русск.: откуда ни возьмись; неожиданно-негаданно (дословно ‘на полпути [с боем] вырвался Чэн Яоцзинь⁶’).

Пример: 我当时真弄不清这个程咬金是怎样从半路杀出来弄乱我的整个人生的 Wǒ dāngshí zhēn nòngbuqīng zhègè chéngyǎojīn shì zěnyàng cóng bàn-lù shāchūlái nòngluàn wǒde zhěnggè rénshēngde. Перевод: “В то время я и в самом деле не мог понять, каким же об-

⁵ Комментарий: Паланкин – крытые носилки, служащие средством передвижения для представителей знати в Китае и ряде других стран Дальнего Востока вплоть до конца XIX века, могли быть рассчитаны на разное количество носильщиков в зависимости от особенностей конструкции самого паланкина и социального статуса его владельца.

⁶ Комментарий: Чэн Яоцзинь (程咬金) – известный военачальник начала династии Тан, который не обладал особым полководческим талантом, и, тем не менее, в сражениях он нередко одерживал победу над своими противниками, прибегая к военной хитрости и внезапному маневру.

разом эта случайность полностью перевернула всю мою жизнь”⁷ (дословно: ‘В то время я и в самом деле не мог понять + этот **Чэн Яо-цзинь** каким образом + из / от / с [предлог] + **полпути вырвался** навстречу + перевернул всю мою жизнь’) [из рассказа “有一首歌” (“Есть такая песня”), опубликованного на сайте <http://www.blund.net/essay/1/info/11446.htm>].

Приведенная в данном примере ФЕ (выделена жирным шрифтом) включается в состав так называемого в китаистике “членного предложения”, выступающего в функции прямого дополнения. Согласно общепринятой в китайской лингвистике концепции синтаксического анализа (которой будем придерживаться и мы⁸), позаимствованной 50 лет назад и разработанной также отечественными китаистами (см., например [Румянцев 1954]), под “членным предложением” понимается такой член предложения, который выражен в свою очередь целым предложением. В китайском языке целым предложением могут быть выражены практически все члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, определение и реже обстоятельство, обычно их именуют как “членное подлежащее”, “членное сказуемое” и т. д. Те специфические усложненные предложения-высказывания, в состав которых входят “членные предложения” называются *包孕句* *bāoyǔjù* (*бао юнь цзюй*), в переводе с китайского – “включающее, или объемлющее предложение” (где 1-е слово означает ‘обертывать’, 2-е – ‘беременность; беременный’, 3-е – ‘предложение’). По этой логике само “членное предложение” можно также назвать “включенным предложением” [Солнцев 1995: 313]. Вообще данный тип предложений представляет собой специфическую особенность не только китайского языка, но и некоторых других формоизолирующих языков. Так, по данным В.М. Солнцева, данное явление отмечается, например, во вьетнамском языке и в языке лаха. Особенностью членных предложений является то, что они всегда вводятся в предложение без специальных союзов. «Сам эффект существования в изолирующих языках таких “членных предложений” обусловлен тем, что они не нуждаются в союзах для их включения в состав предложения. Они именно и представляют собой как бы развернутые до предложения члены, которые всегда можно заменить на “однословные члены”» [Солнцев 1995: 313]. Действительно, такие развернутые до целого предложения члены с грамматической точки зрения (т.е. только с учетом сохранения исходной структуры предложения, а не его исходной семантики) могут быть заменены каким-либо одним знаменательным словом. “По этой причине их (членные предложения. – П.В.) нет смысла рассматривать как придаточные в отличие, например, от русского языка, где мы говорим о придаточ-

⁷ В рассказе идет речь о выпускнике средней школы, которому очень нравилась биология и, поэтому, когда ему удалось поступить в институт, набрав для этого необходимое количество проходных баллов, он был очень рад, так как ожидал, что сможет и дальше углубленно изучать свой любимый предмет. Однако по недоразумению его распределили учиться совсем на другое отделение, не имевшее ничего общего с биологией, с которой он до этого связывал все свое профессиональное будущее.

⁸ Разумеется, данная концепция не лишена определенных недостатков, но этот вопрос уже выходит за рамки нашего исследования. Так, в данной концепции в ряде случаев смешиваются две различные синтаксические категории: формально-структурная (собственно синтактика) и коммуникативная (прагматическая), что хорошо видно на следующем примере: 他讲课很出色 *Tā jiǎngkè hěn chūsè* “Он читает лекции (преподает) превосходно”. Приведенное предложение с точки зрения тема-рематического членения (т.е. с позиции исходной установки говорящего) допускает два варианта разбора: 1) 他 (цезура) 讲课很出色 “Он (тема) + читает лекции превосходно (рема)”, где также дополнительно подразумевается: “Он силен именно в преподавании, а как в остальных сферах деятельности – неизвестно”; 2) 他讲课 (цезура) 很出色 “Он читает лекции (тема) + превосходно (рема)”, где характеризуется уже не субъект деятельности ‘он’ (как в первом варианте), а сама эта деятельность (преподавание), в которой он великолепно себя проявляет. Данный пример позаимствован нами из [Лью Юэ-хуа 2002: 456], где авторы, показывая, что одно и то же предложение может быть рассмотрено с двух точек зрения, неизменно пользуются при этом терминами только одного порядка – “подлежащее” и “сказуемое”, хотя фактически речь идет о “теме” и “реме”.

ных дополнительных, придаточных определительных и т.п.” [Солнцев 1995: 313]. Для иллюстрации типичного членного предложения возьмем пример, где оно соответствует прямому дополнению:

他要我第二天再来 *Tā yào wǒ dì-èr tiān zài lái* “Он просит, чтобы я на следующий день снова пришел” (дословно: ‘Он просит + я [на] второй день снова приходить’). Данное предложение можно перестроить в 他要什么 *Tā yào shénme?* “О чем он просит” или “Что он хочет” (дословно: ‘Он просит что’).

Разумеется, если все же провести аналогию с русским языком (насколько это вообще возможно!), исключительно с точки зрения смысловых отношений между частями приведенного предложения-высказывания (пример № 8), то членное дополнение, входящее в него, в этом плане обнаруживает свое сходство с изъяснительным придаточным одночленного сложноподчиненного предложения русского языка.

Говоря о понятии “членного предложения” в рамках рассмотренной выше традиционной концепции синтаксического анализа “включающих”, или, говоря шире, усложненных предложений, следует особо подчеркнуть, что ФЕ-идиому, построенную по модели предложения и включенную в предложение-высказывание на правах отдельного (одного) члена предложения, не следует рассматривать как “членное предложение”, так как, утверждая это, мы приходим тем самым к отрицанию того, что идиоматичная фразеологическая единица, употребленная как одно целое, представляет собой сложную языковую единицу, формально эквивалентную слову, что, естественно, не верно. Именно здесь оказывается важным положение о необходимости разграничения внешнего и внутреннего синтаксиса во фразеологии, неоправданное смешение которых способно привести к заведомо ошибочным выводам. Так, например, В.М. Солнцев, говоря о “членном обстоятельстве” в китайском языке, приводит следующий пример, когда обстоятельство в предложении может быть выражено в свою очередь предложением: 他人不知鬼不觉地进去 *Tā rén-bù-zhī-guǐ-bù-jué-de jìnqù* “Он незаметно вошел” (дословно ‘он + ФЕ-идиома [люди не знают, дьявол не чувствует] + атрибут. служ. сл. + вошел’) [Солнцев 1995: 313]. Очевидно, что приведенный В.М. Солнцевым пример является некорректным, так как в синтаксической позиции обстоятельства в этом примере находится не предложение, образованное свободными словами (как в примерах “членных предложений”, данных выше), а ФЕ-идиома, в данном случае представляющая собой неразложимый языковой знак, имеющий в своей основе фразеобразовательную модель, которая лишь по своему генотипу восходит к предложению. И здесь не важно, с каким из языков мы имеем дело, так как теоретическая необходимость различения внешнего и внутреннего синтаксиса ФЕ важна для любого языка в силу того, что, во-первых, ФЕ-идиомы существуют практически во всех языках (это языковая универсалия), а, во-вторых, ФЕ-идиома представляет собой сложный языковой знак. Ведь не утверждают, например, в русистике, что в предложении типа *Зрителей – яблоку негде упасть* (пример Н.Ю. Шведовой, взятый ею из газеты) выражение *яблоку негде упасть* – это предложение (а не фразеологизм!) в роли сказуемого.

Итак, данная ФЕ (в примере № 8) включается в состав “членного предложения” не целиком, занимая одну синтаксическую позицию, а распределяется в нем по частям – всеми тремя своими составными компонентами. Каждый из этих компонентов занимает определенную самостоятельную синтаксическую позицию в рамках “членного дополнения”. Так, последний (третий) в постоянном составе ФЕ компонент 程咬金 *chéngyǎojīn* (чэн яо-цзинь), будучи распространен указательным местоимением 这个 *zhègè* (чжэ гэ) ‘этот’, выдвигается в начало (в экспозицию) членного дополнения и становится его подлежащим, второй составной компонент 杀出来 *shāchūlai* (шачулай) ‘вылетел / вырвался’ превращается здесь в часть составного глагольного сказуемого, а оставшийся компонент 半路 *bàn-lù* (бань-лу) ‘на полпути’ оформляется предлогом 从 *cóng* (цун) со значением ‘из, от’, выполняя функцию обстоятельства исходного места действия и перемещается в интропозицию между подлежащим и сказуемым. В общих чертах формулу этого специфического предложения, имеющего в составе своего “членного дополне-

ния” синтаксически “ожившую” ФЕ-идиому, можно схематично отобразить так: П¹ + Обст.¹ [темпоральное] + С¹ + Д¹ (П² + связка + Обст.² [образа действия] + Обст.² [исходного места действия]) + С² – С² [составное глагольное] + Д² + атриб. служ. сл.)⁹.

9. 气炸了肺 *qì zhà le fèi* (*ци чжалэ фэй*) ‘быть сильно разозленным, раздраженным; испытывать крайней степени возмущение’ (дословно ‘воздух разорвал легкие’).

Пример: 然而, 我忍辱负重的结果, 不是使他们忘记这个绰号而是助长了他们的气势, 竟然有人找我寻觅香蕉, 我感到莫名其妙, 因为我从不吃香蕉, 然而他们竟然也用惊讶的口吻问我: “猩猩, 怎么会不爱吃香蕉呢?” 这可气炸了我的心、肝、肺。于是, 我马上大叫: “我不是猩猩!” *Rán'ér, wǒ rěn-rú-fù-zhòng de jiéguǒ, bùshì shǐ tāmen wàngjì zhè gè chuòhào ér zhùzhǎng-le tāmen de qìshì, jìngrán yǒu rén zhǎo wǒ xúnmi xiāngjiāo, wǒ gǎndào mò-míng-qí-mào, yīnwei wǒ cóng bù chī xiāngjiāo, rán'ér tāmen jìngrán yě yòng jīngyà de kǒuwě'n wèn wǒ: “Xīngxīng, zěnmē huì bù ài chī xiāngjiāo ne?” Zhè kě qì-zhà-le wǒ-de xīn, gān, fèi. Yúshì, wǒ mǎshàng dà jiào: “Wǒ bù shì xīngxīng!”* Перевод: «Однако то безразличие, с которым я отнеслась к своему прозвищу (горилла. – П.В.), не только не заставило их забыть о нем, но, наоборот, только раззадорило их, ни с того ни с сего некоторые из них стали обращаться ко мне, желая получить банан, я же не знала, что и думать, ведь я вообще не ем бананов, но они вдруг удивленным тоном спрашивали меня: “Горилла, как же так, ты не любишь бананы?” Это уже меня окончательно вывело из себя. И тогда я закричала: “Я не горилла!”» (дословно: ‘Это уже + воздух разорвал + мой / мое [мест. 1-го лица в притяжательной форме (я + атриб. служ. сл.)] + сердце, печень, легкие’.) [газета “Meiri xinbao” (每日新报) от 07.10.2002, статья “Как быть, если тебе дали прозвище?” (被叫绰号怎么办)].

Заключительный пример расщепления и распространения компонентного состава рассматриваемой ФЕ-идиомы представляет собой яркий случай намеренного преобразования ее формы, что продиктовано осознанным намерением говорящего выразить свое эмоциональное отношение (негодование, иронию и т.п.) за счет языковой игры, составляющей в данном случае основу стилистической деформации фразеологизма. «Подобная деформация возможна лишь в тех типах фразеологических единиц, в которых отчетливо осознаются лексико-фразеологические формы слов-компонентов, т.е. в “собственно идиомах»» [Тер-Минасова 2004: 68].

* * *

На материале ФЕ-идиом китайского языка мы стремились показать, как в предложении может мобилизоваться их собственный внутрисинтаксический потенциал, в результате чего части ФЕ, подобно своим структурным генотипам, “вплетаются” в состав предложения, приравниваясь по своему синтаксическому статусу к самостоятельным членам предложения. Поэтому неправомерно утверждение о том, что синтаксис ФЕ полностью сходен с синтаксисом слов. Как явствует из приведенных примеров, ФЕ при определенных условиях способна к функциональному расчленению, когда ее составные компоненты занимают одновременно две или даже три различные синтаксические позиции, что и вызывает парадоксальный эффект “оживления” синтаксиса каждого компонента ФЕ в отдельности при относительном сохранении их общей семантической целостности. Иначе говоря, у ФЕ есть особое свойство, – свойство сочетаемости, которую здесь следует понимать не только как валентностную способность, а как то свойство, благодаря которому устойчивые переосмысленные словосочетания способны “перерождаться” в новые синтаксические единицы, семантически связанные друг с другом, но

⁹ Членное дополнение в данном предложении-высказывании взято в круглые скобки. Члены предложения второго уровня, соответствующие в данной схеме составным компонентам рассматриваемой ФЕ-идиомы, выделены жирным шрифтом. Сокращения традиционные: П – подлежащее, С – сказуемое, Д. – дополнение, Обст. – обстоятельство.

состояние при этом из нескольких элементов, находящихся в разных синтаксических позициях. Разумеется, что такие метаморфозы характерны не для всех ФЕ-идиом китайского языка (равно как и для ФЕ-идиом любого другого языка вне зависимости от его типологических свойств), а только для тех единиц, структура которых в принципе допускает те или иные грамматические изменения. С этой точки зрения важно замечание Е.И. Дибровой, писавшей в свое время, что “по наличию грамматических видоизменений все ФЕ делятся на обладающие такими видоизменениями и ФЕ фиксированного типа” [Диброва 1979: 117].

Анализ приведенного речевого материала позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, ФЕ-идиомы в типологически различных языках (в частности, в китайском) обладают внутренним и внешним синтаксисом, во-вторых, между этими двумя синтаксическими измерениями ФЕ-идиом имеется четкая взаимосвязь, заключающаяся в том, что ФЕ-идиома необязательно замыкается в границах одной синтаксической позиции, а способна включаться как в целом, так и своими составными частями в синтаксическую комбинаторику предложения-высказывания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амосова 1963 – *Н.Н. Амосова*. Основы английской фразеологии. Л., 1963.
Бабкин 1965 – *А.М. Бабкин*. Русская фразеология как объект исследования и преподавания // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Вологда, 1965.
Балли 1961 – *Ш. Балли*. Французская стилистика. М., 1961.
Вэнь Дуань-чжэн 1981 – *Вэнь Дуань-чжэн*. Семантика “сехойуэй” // Китайская филология (Чжунго юйвэнь). 1981. № 6, (на кит. яз.).
Диброва 1979 – *Е.И. Диброва*. Вариатность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1979.
Драгунов 1952 – *А.А. Драгунов*. Исследования по грамматике современного китайского языка. Т. 1. Части речи. М.; Л., 1952.
Лю-Юэ-хуа 2002 – *Лю-Юэ-хуа* (ред.). Практическая грамматика китайского языка. Пекин, 2002, (на кит. яз.).
Мокиенко 1980 – *В.М. Мокиенко*. Славянская фразеология. М., 1980.
Молотков 1977 – *А.И. Молотков*. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.
Румянцев 1954 – *М.К. Румянцев*. Предложение-подлежащее в китайском языке. М., 1954.
Сигал, Ветров (в печати) – *К.Я. Сигал, П.П. Ветров*. Синтаксис и фразеология в межуровневом взаимодействии (в печати).
Солнцев 1995 – *В.М. Солнцев*. Введение в теорию изолирующих языков. М., 1995.
Солнцева 1985 – *Н.В. Солнцева*. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
Сюй Го-цин 1999 – *Сюй Го-цин*. Систематизированная теория словарного состава современного китайского языка (глава 5 “Специфическая часть лексики – фразеология”). Пекин, 1999, (на кит. яз.).
Сян Гуан-чжун 1979 – *Сян Гуан-чжун*. “Чэньюй”-речения и их взаимосвязь с окружающим миром, культурными традициями и особенностями языка // Китайская филология (Чжунго юйвэнь). 1979. № 2, (на кит. яз.).
Телия 1988 – *В.Н. Телия*. Структура и состав словарной статьи для идиом в Автоматизированном словаре // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для машинного фонда русского языка (Материалы к методической школе-семинару). М., 1988.
Тер-Минасова 2004 – *С.Г. Тер-Минасова*. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. М., 2004.
Хуан Юэ-чжоу 1980 – *Хуан Юэ-чжоу*. Абстрактное значение, выражаемое числительными в составе “чэньюй”-речений // Китайская филология (Чжунго юйвэнь). 1980. № 6, (на кит. яз.).
Чан Цзинь-юй 1995 – *Чан Цзинь-юй*. Лексика китайского языка и культура (главы 5, 6, 9, 10). Пекин, 1995, (на кит. яз.).
Чжан Гун-гуй 1991 – *Чжан Гун-гуй*. О [фразеобразовательной] модели “А + *tou* [голова] + С + *nao* [мозг]” // 3-й международный симпозиум по вопросам преподавания китайского языка: Сб. науч. трудов. Под ред. редакционного совета [сб.-ков науч. трудов симпозиума]. Пекин, 1991, (на кит. яз.).
Чжэн Дин-оу 1999 – *Чжэн Дин-оу*. Теория лексической грамматики и разыскания по синтаксису китайского языка. Пекин, 1999, (на кит. яз.).
Шанский 1985 – *Н.М. Шанский*. Фразеология современного русского языка. М., 1985.

© 2006 г. Ж. БАГАНА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗНОШЕНИЯ АФРИКАНСКИХ ФРАНКОФОНОВ

Статья посвящена вопросам общей характеристики африканских франкофонов в условиях афро-французского билингвизма. Описываются процессы интерференции – взаимопроникновение фоном двух языков и смешение произносительных навыков билингвов. Подробно рассматриваются случаи влияния фонетической системы африканских языков на произношение африканцев, говорящих на французском языке. Во французском языке стран Африки, как показывается в статье, складываются регулярные отклонения от общепользуемой нормы в плане произношения и просодических характеристик. Они охватывают также социально-культурные факторы, влияющие на степень интерференционных процессов. Автор приходит к выводу, что отклонения от центральнофранцузского варианта проявляются лишь на фонетическом уровне и не затрагивают фонологическую систему языка.

Данная работа посвящена описанию механизмов интерференции, возникающей на фонетическом уровне французского языка африканских стран в результате его использования африканским населением. Мы постараемся показать зависимость степени интерференционных явлений как от лингвистических, так и от социокультурных факторов.

Анализ функциональных и структурных характеристик тех разновидностей языка, каждая из которых обслуживает особое национальное сообщество, в российской социолингвистике позволил выделить особое понятие “национальный вариант языка”. Под ним обычно понимается особая форма существования данного языка как совокупности территориально ограниченных вариантов литературного языка, а также его социальных и территориальных диалектов и профессиональных языков.

Французский язык не является национальным вариантом в Африке, ибо здесь он не стал родным языком местного населения. Тем не менее, в нем, как и в национальных вариантах (например, французский язык во Франции, в Бельгии, Швейцарии), складываются свои регулярные отклонения от общепользуемой нормы в плане произношения, лексики, грамматики и стилистического оформления речи.

Результаты исследований африканских вариантов французского языка позволяют говорить о том, что особенности произношения вместе со спецификой словаря составляют основную массу отличительных признаков, противопоставляющих центральнофранцузский вариант местным вариантам. По мнению А.И. Чередниченко, африканизмы на фонетическом уровне представляют собой исторически сложившуюся совокупность признаков, характеризующих этот ареал как в целом, так и по отдельным его зонам [Чередниченко 1983: 73].

Фонетические особенности французского языка на территории Африки в основном являются следствием интерференции иноязычных фонетических систем. Как отмечает А.М. Молодкин, фонологические черты языка, изучаемого в качестве второго, могут рассматриваться под углом интерференции со стороны родного языка, вследствие чего фонологическая система разновидности второго языка формируется в результате приспособления к ней существующей фонологической системы родного языка [Молодкин 2001: 144]. Стоит отметить, что интенсивность интерференции на фонетическом уровне зависит от ряда социолингвистических факторов (соотношение и статус контактирую-

сих языков, особенности языковой политики) и условий общения (степени владения языком, ситуации общения, социальной принадлежности говорящих). Отличительные признаки, возникающие в звуковом строе неродного языка, характеризуют речь всего языкового коллектива, хотя их количество зависит от традиций семейного и социально-бытового говорения, а также от образовательного уровня говорящего. О.А. Гулыга, в свою очередь, подчеркивает, что наблюдения над фонологией делают возможным анализ специфического варьирования – социоситуативного. Именно звучащая устная речь выдает социальный статус говорящего [Гулыга 2003: 170]. Однако необходимо отметить тот факт, что не каждая местная особенность может быть истолкована как свидетельство о принадлежности к определенной социальной группе. Переход индивидуального или группового признака произношения в признак общетерриториальный лишает его социальной окраски и говорит о возникновении местного варианта литературного произношения. Особенности произношения французского языка в Африке проявляются в системе гласных (вокализме) и системе согласных (консонантизме), а также в просодических характеристиках речи (ударении, ритме, мелодике речи). Наличие отличительных черт свидетельствует о становлении в Африке нового стиля литературного произношения, не похожего на стиль центральнофранцузского варианта. Новая разновидность произношения, однако, не является повторением разговорного стиля произношения Франции, так как используется в различных видах публичной речи.

Для описания специфических черт африканского произношения на французском языке приведем краткую характеристику центральнофранцузского произносительной нормы. Фонетическая система французского языка представлена двумя группами фонем: гласных и согласных. Разделение на данные группы производится по трем критериям: физиологическому, акустическому и фонематическому. Гласные звуки подразделяются на чистые и носовые. Во французском языке 12 чистых [α], [a], [e], [o], [i], [u], [y], [œ], [ø], [ε], [ɔ], [ə] и 4 носовые фонемы [ã], [õ], [ẽ], [ỹ].

Система согласных насчитывает 20 фонем: [p], [b], [t], [d], [k], [g], [m], [n], [ŋ], [f], [v], [s], [z], [l], [r], [j], [ʃ], [ʒ], [w], [ç].

Система французских гласных количественно превосходит аналогичные системы в других романских языках. Большое количество гласных звуков является одной из причин неустойчивости французского вокализма, выхода из употребления некоторых звуков, стирания фонологических различий между существующими оппозициями. В отличие от системы гласных система согласных французского языка характеризуется относительной стабильностью. Тем не менее, в африканском ареале в потоке живой речи наблюдаются многочисленные изменения и колебания в реализации как гласных, так и согласных звуков.

Фонетическая система африканских вариантов французского языка обладает некоторыми чертами, не свойственными центральнофранцузскому варианту. Среди многочисленных заимствований, даже тех, которые считаются полностью интегрированными в систему языка, отмечают появление фонем, не представленных в центральнофранцузском варианте языка. Например, глухой велярный (заднеязычный) [x] в словах *caaxanerie* “хвастовство”, *xala* “злой рок”, *xalam* “музыкальный инструмент”, *xessal* “крем для отбеливания кожи”, *xata* “деревя”. Эта появившаяся во французском языке фонема не представляет трудностей для франкоязычных африканцев, часть которых использует в речи глухой велярный [x], другая произносит его на французский манер, используя взрывной глухой согласный [k], передаваемый на письме буквосочетанием *kh*: *khessal* “крем для отбеливания кожи”.

Еще одной чертой регионального французского языка в области консонантизма, придающей ему особый колорит, можно считать доминирование апикального [r] над увулярным щелевым [R]. Эта особенность отмечается как у коренных, так и некоренных носителей французского языка. В Африке, в частности, данный звук можно встретить в *rekk* “только”. Во Франции представлены оба варианта – [r] и [R], но в силу исторически сложившейся ситуации главенствующее положение занял [R], который называют “[R] parisien” (парижское [R]). Что касается [r], то на сегодняшний день он, кроме Африки, встречается в ряде региолектов на юге Франции.

Звук [R] представляет для африканцев определенную трудность, и поэтому в речи большинства из них доминирует [r]. Причиной этому считается как специфика собственно африканской артикуляционной базы, так и желание некоторых африканцев своим особым произношением подчеркнуть национальную принадлежность. В целом изменения в произношении [r] носят чисто фонетический характер и не затрагивают фонологического статуса этой фонемы в системе согласных.

Кроме указанных примеров, представляется возможным говорить о многочисленных случаях фонологической францизации африканских заимствований. Отметим особое произношение групп преназализованных согласных (носовой + смычный; носовой + щелевой) [mb], [mp], [mpf], [mbv], [nd], [nt], [ns], [nz], [ng], [nk], [nts], [mz] и сокращение их до простых взрывных [b], [t], [p], [f], [v], [d], [g], [k], [ts], [z]. Наличие преназализованных фонем во французской речи наблюдается лишь в тех областях франкоязычной Африки, где подобное явление присутствует в местных языках. Такие сочетания звуков встречаются как внутри слова (*nungu* “перец” в Конго), так и в начале слова (*ndamba* “порода коров” в Бенине, Кот-д’Ивуаре, Мали, Сенегале, Того; *mbulamadi* “колонизатор” в Руанде и Демократической Республике Конго). Произношение подобных звуковых сочетаний не свойственно центральнофранцузскому варианту.

Описанные группы согласных сохраняются в заимствованных именах собственных, причем как таковые они употребляются и в центральной разновидности языка Франции (*Nganga, Nkala, Ntsiala*). Что касается имен нарицательных, то их произношение варьируется в зависимости от региона Африки. Так, в Центральной Африке начальная группа согласных сохраняется как в произношении, так и на письме: *ndoki* “людоед”, *mbuta* “старик”, *nguir* “мешок” в Конго.

Многие лингвисты придерживаются мнения, что данные звуки представляют собой особые группы фонем. Но Ж.-П. Макута-Мбуку считает, что это отдельные фонемы [Makouta-Mboukou 1973: 133].

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих различия европейского и африканского произношения таких слов и словосочетаний французского языка, в которых встречаются подобные сочетания согласных:

Различия центральнофранцузского и африканского произношения

Французское произношение	Африканское произношение
les ambassadeurs – “послы” [lɛz ɑ̃ ba sadœ:R]	[lɛzɑ mba sadœ:R]
les enveloppes – “конверты” [lɛz ɑ̃ v l o p]	[lɛ zɑ mbvelop]
bambou – “бамбук” [bɑ̃: bu]	[bɑ mbu]
un peu de viande – “немного мяса” [œ̃ pø d (ə) vjɑ: d]	[ẽ mpe de vjɑ: n d(ə)]
deux entonnoirs – “две воронки” [dø zɑ: tonwa: R]	[de z ɑ ntonwa:r]
la mangue – “манго” [lɑ mā: g]	[lɑ mɑ ng (ə)]
campement – “лагерь” [kɑ̃: p mā]	[kɑ mpe mā]
il a encore volé – “он снова украл” [il ɑ̃ œ: k o:R vole]	[il ɑ ɑ nkor vole]

В данных примерах наблюдается замена африканцами носового гласного носовым согласным, который специфическим образом начинает сочетаться с последующим смычным или щелевым звуком. Отметим при этом, что если носовой гласный находится в конце слова, то он в произношении франкоязычных африканцев сохраняется как таковой.

Следующая африканская особенность проявляется в произношении носового [ɲ] в начальной позиции некоторых полностью интегрированных во французский язык Африки заимствований. Ср. слово *niama-niama* “закуска” (распространено в западной части африканского континента). Подобная фонетическая специфика французского языка в Африке проявляется достаточно часто и может быть отнесена к типичным идеолектальным проявлениям.

Нередко наблюдается частичная или полная деназализация гласного, предшествующего носовому согласному, как, например, в случае со словом *samba-linguère*, которое в Сенегале имеет значение “благородный и щедрый человек”. Кроме того, вопреки традиции центральнофранцузского варианта, историческая долгота носовых гласных здесь часто не соблюдается. Носовые [ã], [ɔ̃], [ẽ] в словах *lande* “песчаные равнины”, *ombre* “тень”, *peinture* “живопись” нередко произносятся не долго, как того требует центральнофранцузская норма, а кратко, в результате чего имеет место их деназализация. Частичная или полная потеря носового признака может быть обусловлена и влиянием местных языков, лишенных подобного явления. Однако необходимо отметить, что хотя деназализация и свойственна лишь некоторым социальным слоям населения, она представляет собой реальную угрозу чистоте французского языка. Языковая практика большинства франкоговорящих африканцев свидетельствует о сохранении назальности.

Как известно, во Франции второй половины XX века были отмечены изменения в фонологической подсистеме носовых гласных, а именно в связи с утратой фонологического признака у гласного [œ̃]. Известно, что во Франции он в большинстве случаев заменяется на [ɛ]: *brun* [brœ̃] – “коричневый” и *brin* [brɛ̃] “побег, стебелек”. Как указывает А. Соважо, утрата носового [œ̃] не может повлечь за собой никаких структурных потрясений для системы гласных в целом, поскольку эта фонема встречается в редких случаях и служит для различения практически только двух вышеупомянутых слов [Sauvageot 1962:157]. Но в отличие от Франции, в Африке подобные преобразования касаются также замены фонемы [œ̃] на [ɔ]. Так, слово *emprunter* “заимствовать” может звучать как [ãr̃ɔ̃te]. Влияние языков банту на фонологию французского языка проявляется и в том, что стирается различие между чистыми гласными. Дело в том, что языки банту делятся на два типа. Фонетическая система отдельных языков банту содержит 5, а другие 7 гласных, то есть в обоих случаях значительно меньше, чем во ФЯ. Система пяти гласных включает звуки [i], [e], [a], [o], [u]. Система семи гласных содержит звуки [i], [e], [ɛ], [a], [ɔ], [o], [u]. Большинство языков банту, кроме эвондо (Камерун) и рунди (Бурунди), относится к первой системе.

Отсюда можно сделать вывод о большей, чем во французском языке, устойчивости фонологических систем гласных в языках банту. Так, большинству языков банту не свойственны:

- 1) оппозиция [i] / [y];
- 2) оппозиция [e] / [œ], [e] / [ø];
- 3) оппозиция чистый / носовой звук; тем не менее, в некоторых языках наблюдается носовая реализация чистых звуков;
- 4) лишь немногим языкам банту свойственна оппозиция [e] / [ɛ], [o] / [ɔ].

Исходя из вышеприведенных данных, представляется возможным сделать вывод, что несоответствие фонетических систем языков банту и французского языка определяет некоторые трудности в обучении французскому языку местного населения.

Что касается особенностей произношения согласных, то в первую очередь отметим частое использование практически во всех африканских разновидностях французского

языка аффрикат (полусмычных) [dz], [ts], [tʃ], [dʒ], на письме представленных буквосочетаниями *dz, ts, tch, dj* в начальной позиции. Особенно часто они встречаются в именах собственных, хотя в Демократической Республике Конго и Республике Конго их присутствие заметно и в именах нарицательных. В Пуэнт-Нуаре (Республика Конго), где распространен язык вили, аффриката [tʃ] встречается в таких словах, как *tchikouanga* “небольшой маниок”, *tchilondo* “рыба”, *tchikoumbi* “брачный обычай”. Нередко реализация данной аффрикаты связана с влиянием лексики испанского происхождения: *tchapalo* “пиво из определенного сорта ячменя” (Бенин, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Того). На юге Конго под влиянием языка лари можно услышать *Bandza-Ndounga* (деревня на юге страны), *niondzi* “маленькая рыбешка”, *niandzi* “муха, вошь”. Аффриката [dʒ] свойственна словам арабского происхождения и не очень распространена на “Черном” континенте: *djinn* “джин, дух” (в мусульманской мифологии); *kahouadji* “хозяин кафе” [Дебов 1996: 70].

Кроме возникновения новых фонем, для африканских вариантов французского языка характерно увеличение частоты использования некоторых уже существующих фонем. Речь идет о звуках [j] и [w], часто встречающихся в начальной позиции: *yamba* “индийская конопля” (Сенегал, Кот-д’Ивуар, Мали); *wax* “ткань высокого качества”.

Фонетические особенности французского языка Африки характеризуются также неполным соблюдением правил стандартного языка и часто касаются противопоставления по степени напряженности артикуляции, а также оппозиции по глухости / звонкости. При этом многие преобразования происходят в результате фонетической интерференции со стороны языков банту. Так, не соблюдается правило центральнофранцузского варианта, касающееся сохранения звонкой согласной между гласными. Кроме того, часто [ʒ] заменяется на [z] или [s], а [ʃ] – на [s]. Например:

- a) *toujours* “всегда” – *tuoussor*; *joli* “красивый” – *soli*; *bonjour* “здравствуйте” – *bonsour*;
- b) *méchant* “злой” – *messan*;
- c) *les enfants* “дети” – *les s’enfants*;
- d) *gentille* “милая” – *zentille*;
- e) *malade* “больной” – *malatt*.

Приведенные выше примеры являются следствием явления “недоразличения” (*sous-différenciation*). Система согласных языков банту представляет несколько трудностей в отношении системы французского языка и сужается при использовании с альвеолярными и переднеязычными согласными до одной фонемы [s]. Примеры (a), (b) соответствуют сетке языков банту и характеризуют сабир (или французский пиджин), так же, как и элементарный французский язык. Пример (c), наоборот, представляя собой феномен “недоразличения”, характеризует скорее стремление африканцев к правильной французской речи. Использование фонемы [z] в примере (d) может быть интерпретировано как знак женского рода: *zentille* (ж. р.) – *sentil* (м. р.). Пример (e) заслуживает особого внимания. Звук [d] в конце слова произносится как глухой [t] и даже как [tt], так как в языках банту есть традиция произносить конечные звонкие согласные таким образом, чтобы они казались оглушенными.

Степень присутствия местных произносительных особенностей, обусловленных влиянием местных языков, в африканском варианте французского языка во многом, как мы уже говорили, зависит от социального статуса его носителей. Но было бы ошибочным полагать, что именно все местные особенности французского произношения являются следствием отрицательных факторов социального порядка и, прежде всего, следствием низкого образовательного уровня говорящих. Как отмечает А.И. Чередниченко, замена губно-зубного [v] губно-губным сонантом [w] характерна, например, для речи образованных людей, у которых родным языком является волоф [Чередниченко 1983: 88]. Кроме того, произносительные особенности зависят от региона, где используется тот или иной вариант французского языка, а также от реальных условий общения, так как следует отметить, что на территории Африканского континента существует не одна, а несколько разновидностей французского языка.

Подводя итоги, подчеркнем, что произносительные привычки в складывающихся вариантах еще далеки от той степени фиксации и кодификации, которая присуща центральнофранцузскому стандарту. Африканские варианты произношения нестабильны и испытывают постоянную конкуренцию со стороны литературных вариантов европейского ареала. Тем не менее, необходимо согласиться с зарубежными и отечественными лингвистами в том, что африканские варианты произношения французского языка имеют право на существование, так же как имеют право на существование канадский, бельгийский и другие варианты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гулыга 2003 – *О.А. Гулыга*. Дидактический акцент как проявление социоситуативного варьирования // *Функционирование языковых единиц в аспекте национально-культурной специфики*. М., 2003.
- Дебов 1996 – *В.М. Дебов*. Словарь особенностей французского языка в Алжире. Иваново, 1996.
- Молодкин 2001 – *А.М. Молодкин*. Взаимодействие языков разного типа в этнокультурном контексте. Саратов, 2001.
- Чередниченко 1983 – *А.И. Чередниченко*. Язык и общество в развивающихся странах Африки. Киев, 1983.
- Маkouta-Mboukou 1973 – *J.-P. Makouta-Mboukou*. Le français en Afrique Noire (Histoire et methodes de l'enseignement du français en Afrique noire). Paris, 1973.
- Sauvageot 1962 – *A. Sauvageot*. Français écrit, parlé. Paris, 1962.

© 2006 г. А. Л. ГОЛОВАНЕВСКИЙ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА

В статье рассматривается круг вопросов, связанных с пониманием некоторых слов в языке поэзии Тютчева. Отдельные тематические разновидности лексики в контексте его поэзии выступают с совмещенными значениями. Совмещение значений в каждом из этих слов чаще всего происходит за счет семантического расширения первичного этимологического значения и наслоения дальнейших значений слова. Также поднимается вопрос о способах лексикографирования подобных слов в готовящемся “Полном поэтическом словаре Ф.И. Тютчева”, так как одни и те же слова в определенных контекстах выступают только в одном значении, в других – впитывают дополнительные значения, т.е. контекст не снимает, а порождает лексическую неоднозначность конкретного слова.

Ф.И. Тютчев, по мнению многих исследователей, породил особый поэтический язык. Когда говорят об этой “особости”, имеют в виду его одичность, архаичность, философичность, космичность. Поэтому не случайно, что поэзия Тютчева уже в XIX в. стала благодатным материалом, к которому обращались не только писатели, поэты, критики, литературоведы. Его творчество стало предметом философских комментариев В.С. Соловьева, С.Л. Франка, обращался к нему Н. Бердяев и другие философы. Понятно, что исследователи должны в полной мере учитывать последствия “особости” поэтического словаря Тютчева. И здесь прежде всего необходимо определить, как сложность языка проявляется на лексико-семантическом уровне. Известно, что исследование семантики стихотворений поэта остается самым слабым местом в лингвистической тютчеведии. Без конкретных, целенаправленных, системных исследований семантики нельзя успешно решить задачу создания “Поэтического словаря Ф.И. Тютчева”, которую поставила перед собой кафедра русского языка Брянского госуниверситета. Работа над “Поэтическим словарем Ф.И. Тютчева” высветила такую особенность его семантики, как неоднозначность отдельных групп слов в конкретном поэтическом контексте.

Одним из первых, оценивших это свойство словаря, был литературовед Л.В. Пумпянский, который в числе многочисленных признаков “иератического языка” называл и “свойственное Тютчеву в беспримерной степени смещение слова, наклон его оси, едва заметное перерождение его смыслового веса”. По его наблюдениям, в “Проблеске” есть уже ряд “наклонных слов”. К таковым он относил *утомительные сны, потрясающие звуки*, где слово *утомительный* «наклонено по направлению к “утомляющие”, а также к “томные”, а смысловая стрелка слова “потрясающие” колеблется между причастием и прилагательным, – колеблется на наших глазах и не может остановиться ни на том, ни на другом». В этих и других употреблениях Пумпянский видит “не просто отдельные случаи смыслового наклона, но поражающую своей последовательностью и разработанностью культуру интимно-загадочного жреческого языка” [Пумпянский 1928: 52–53].

В символистской, скорее намекающей, чем характеризующей терминологии Пумпянского просматривается понимание действительно важной семантической особенности поэтической лексики Тютчева – ее неоднозначности в конкретном контексте. Уже в статьях, написанных в 60-е годы XX в., доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР Б.М. Козырев отметил эту особенность лексики не как случайную, а скорее как закономерную. Он выделил две важные черты лексической семантики стихотворений Тютчева: 1) использование в узловых пунктах таких слов, которые в

данном контексте могут иметь несколько значений; 2) использование приема этимологизации, или “обнажение первичных смыслов” [Козырев 1988: 73–83]. Отдельные замечания по употреблению Тютчевым неоднозначных слов имеются у известного тютчеведа А.А. Николаева. По его наблюдениям, в стихе “Разоблаченная с утра сияет Белая гора...” причастие *разоблаченная* означает и ‘открывшаяся, очистившаяся от облаков’ и ‘лишенная таинственного ореола’, и даже “изобличенная” [Николаев 1988: 8]. Указание на «способность возбуждать у слов появление “колеблющихся признаков”, сообщать им в тексте помимо основного дополнительные семантические и эмоциональные наслоения», по словам А.Д. Григорьевой, отмечается многими исследователями [Григорьева 1980: 10].

Можно сказать, что на сегодняшний день нет более или менее значительных работ, в которых проблема поэтической неоднозначности языка Тютчева решалась как центральная. Наши предварительные наблюдения также пока не выходят за рамки одиночных или тематически-групповых описаний примеров с реализованной лексической неоднозначностью [Голованевский 2004а: 7–8; 2004б: 44–50; 2004в: 542–545].

В настоящей статье приводятся новые факты поэтической неоднозначности. Следует сразу оговориться, что и в наше время эти поиски не выходят за рамки описания изолированных примеров, не выстроены в более или менее обозримую систему. Необходимо искать новые методологические подходы к исследованию проблем неоднозначности, значительно расширять фактографическую базу таких исследований, готовить необходимые предпосылки для создания словарей лексической неоднозначности поэтических текстов различных авторов. “Было бы интересно и поучительно провести фронтальное исследование русской поэзии на выявление в ней неоднозначности” [Перцов 2000: 57].

В процессе предварительной работы над “Поэтическим словарем Ф.И. Тютчева” проведены наблюдения над неоднозначным использованием лексики в отдельных стихотворениях, написанных Тютчевым в различные периоды его творчества. Они позволяют выявить характерные для поэта группы лексики с совмещенными значениями и, что немаловажно, приемы создания неоднозначности. По мере пополнения наблюдаемого массива лексики появляются все больше оснований утверждать, а не предполагать, как казалось Б.М. Козыреву, что среди “основных элементов поэтического произведения... в самых типичных для Тютчева и лучших созданиях его наибольшим своеобразием и художественной действенностью отличается, как мне кажется, семантика” [Козырев 1988: 78].

Вначале обратимся к стихотворению “Проблеск” (1825 г.), в котором внимание Л.В. Пумпянского заострено на значении причастия *потрясающие* в двустипии: “*То потрясающие звуки, // То замирающие вдруг...*” (26, с. 70)¹, выступающего, с точки зрения современного понимания, в роли причастия-прилагательного и соответственно совмещающего в себе лексические значения обеих частей речи: 1) “звуки, воспринимаемые слухом” (причастие от глагола *потрясать*); 2) “звуки, производящие очень сильное впечатление” (прилагательное). Причастное (процессуальное) значение лексемы проясняется в антонимической паре причастий *потрясающие* – *замирающие*, признаковое значение проявляется в общем контексте стихотворения: впечатление, настроение слушателя от легкого звона струн воздушной арфы.

У прилагательного *утомительный* мы не усматриваем второго значения, так как причастие *утомляющий*, к которому, по мнению Пумпянского, “наклонено прилагательное *утомительный*”, имеет с ним одинаковое значение “то, что утомляет, утомило”. Но в завершающем стихотворении четверостишии *И отягченную главою, / Одним лучом ослеплены, / Вновь упадем не к покою, / Но в утомительные сны* причастие *отягченную* совмещает в себе такие значения: 1) “склоненной, не до конца поднятой головой” (см. предшествующее четверостишие *Едва усилием минутным / Прервем на час*

¹ Все иллюстрации приводятся по изданию: Ф.И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Л., 1987. В тексте указывается название стихотворения, его номер и страница.

волшебный сон, / И взором трепетным и смутным, / Привстав, окинем небосклон); 2) “обремененная мыслями” (которые и утомляют сны). В этих стихах прилагательное *смутный* (взор) тоже неоднозначно: 1) “не до конца проснувшийся”; 2) “неясный”. Здесь причастие *отягченный* и прилагательное *смутный* выступают в контекстно-авторских и зафиксированных словарями значениях. В стихотворении “Как птичка, с раннею зарей...” (1835) Тютчев возвращается к неприятной ему ситуации пробуждения от сна или бессонницы: *Хоть свежесть утренняя веет / В моих всклокоченных власах, / На мне, я чую, тяготеет / Вчерашний зной, вчерашний прах!* (106, с. 125). Как видим, здесь не просто повторяется содержательная ситуация, но и поэтическая форма ее создания: *глава* — *власы*, *отягченная* — *тяготеет*. *Тяготеть* в этом контексте: 1) “испытывать на себе тяжесть” (зноя, праха); 2) “страшить, грозить”. Совмещение этих значений вызвано, по нашему мнению, тем, что в предлоге *на* совмещаются объектные значения предложного (*на мне*) и творительного (*надо мной*) падежей.

При выявлении значений лексических единиц в стихотворении “В деревне” (1869) отметим явную неоднозначность подчеркнутых слов в приводимых фрагментах: *Какой же смысл в движенье этом? / Зачем вся эта трата сил? / Зачем испуг таким полетом / Гусей и уток окрылил? / Да, тут есть цель! В ленивом стаде / Замечен страшный был застой, / И нужен стал, прогресса ради / Внезапный натиск роковой. / ...Иной, ты скажешь, просто дает, / А он свершает высший долг — / Он, осмысляя, развивает / Утиный и гусиный толк* (322, 245).

“Стихотворение это написано Тютчевым в одно из самых последних пребываний в принадлежавшем ему имении с. Овстуг и вызвано видом собаки, гнавшей за стадом гусей и уток”, — сказано в примечаниях используемого издания. Следовательно, в стихотворении реализованы два подтекста — бытовой (внешний) и философский. Философские термины-антиподы *движенье* — *застой*, попадая в бытовой контекст, не утрачивают своего терминологического значения. При этом на них накладывается и бытовое, нейтральное значение, соответствующее общему содержанию стихотворения. Оно-то и выходит на первый план. *Движение*. 1) “Перемещение с одного места на другое” (гусей, уток, собаки); 2) (филос.) “Развитие противоположное застою”. *Застой*. 1) “Отсутствие движения”; 2) (филос.) “Остановка в развитии, состояние общества, характеризующееся отсутствием развития”.

Иной тип совмещения значений в слове *окрылить*. Здесь совмещаются 1) прямое (этимологическое) значение “стать на крыло, полететь” и 2) переносное “ободрить, вдохновить на что-либо”. Такой же тип совмещения в глагольной лексеме *лаять*: 1) “издавать характерные для собаки звуки”; 2) переносное “бранить, ругать”.

Каждое из этих значений опирается на семантическую неоднозначность, т.е. неоднозначность тютчевского словоупотребления. Многозначность отдельных лексем в поэтическом тексте может иметь и каламбурный характер. В частности, употребление глагола *лаять* каламбурно из-за своей ассоциированной стилистической сниженности. Каламбурность, как правило, рассчитана на определенный языковой эффект, а совмещение лексических значений не преследует таких целей. Но заданная каламбурность и совмещенная многозначность в тексте не всегда четко разграничиваются, так как в том и другом случае используется свойство многозначной языковой единицы, семантическая структура которой характеризуется тем, что “отдельные значения, отчетливо отграничиваемые друг от друга в определенных позициях, в других позициях оказываются совместимыми, выступающими нераздельно” [Шмелев 1973: 77]. Скорее всего каламбурность может быть (но не обязательно) одним из типов лексической неоднозначности. Как семантико-стилистическое явление каламбурность шире совмещающей неоднозначности. За пределами каламбурной совмещающей неоднозначности остаются различные ее типы, которые с трудом поддаются попыткам систематизации. Так, предлагаемые Анной Зализняк минимально возможные типы некаламбурного совмещения значений: “склеивание” (объединение в одном слове... двух отчетливо различных, но не взаимоисключающих его пониманий, не создающее никакого специального эффекта); “сплав” (два, вообще говоря, отчетливо различных значения как бы соединя-

ются в одно); “мерцание” (когда два или более различных значения присутствуют в слове одновременно, что создает эффект “мерцания”) и называемый Т.М. Николаевой “принцип тернарной семантики” [Анна Зализняк 2004: 26–29] – являются, на наш взгляд, лишь предпосылками для всесторонней и глубокой разработки этой проблемы. Пока, к примеру, трудно понять, чем различаются “сплав” и “склеивание”, если в том и другом случае в одном слове объединяются значения. А эффект “мерцания” напоминает “способность возбуждать у слов появление колеблющихся признаков”.

Возникает вопрос о способах лексикографирования подобных слов в готовящемся “Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева”, так как отдельные слова могут в одних контекстах иметь только одно значение, в других – совмещенные значения. Рассмотренный выше неоднозначный глагол *окрылить* в данном контексте однозначен: ...*К вам пишу, с одра привстав, / И привет мой хромоногой / Okрылит пусть телеграф* (Князю Вяземскому, с. 269). Здесь значение *окрылить* – “отправить, быстро доставить” ассоциировано внутренним сравнением “как птица”, поэтому оно дополняется оборотом “как на крыльях”.

Пожалуй, самым распространенным приемом достижения неоднозначности является совмещение первичного и вторичного, метафорического, значений. Оно свойственно таким словам, в которых первичное значение лежит на поверхности, т. е. первословно. Тютчевское словоупотребление не ограничивается только таким значением, оно включает в свою семантику и дальнейшие значения, развившиеся в процессе употребления конкретных слов. В их числе существительные, прилагательные, глаголы. Так, корневая лексема *плам-* у Тютчева употребляется как существительное *пламень* (9), *пламя* (7), прилагательное *пламенный* (16), глагол *пламенеть* – *пламенить* (8), дееспричастие *пламенея* (1), наречие *пламенно* (3)², в первой части сложных прилагательных *пламенно-живой*, *пламенно-чудесный*. В словах с этим корнем словари выделяют обычно только прямые значения, связанные с огнем и горением и только в прилагательном *пламенный* указывается переносное значение – “пылкий, страстный” (о человеке). В следующих тютчевских контекстах прилагательное *пламенный* совмещает в себе как минимум по два значения: *Под раскаленными лучами, // Зарывшись в пламенных песках, // Оно стеклянными глазами // Чего-то ищет в облаках* (Безумие, с. 86); *О, как пронзительны и дики, // Как ненавистны для меня // Сей шум, движенья, говор, крики // Младого пламенного дня!..* (“Как птичка, с раннею зарей...”).

Первое значение прилагательных *пламенный* в обоих стихотворениях “горячий, жаркий”, второе – цветное, “цвет солнца”. В этих контекстах значение слова *пламя* тесно связано не просто с огнем, жаром, а именно с их первоисточником – солнцем. Не ставя перед собой цель выяснять доказательства этимологической связи слов *огонь* (*пламя*) и *солнце*, обратим внимание на то, что П.Я. Черных не исключает возможности появления суффикса *-н-* в основе **stl-n* под влиянием основы **ogn-* [Черных 1999: 186]. Между прочим, в словарях русского литературного языка связь между значениями слов *пламя* и *солнце* не просматривается. Более прозрачна связь первичного и вторичных значений у прилагательного *кровавый* (11) в таком четверостишии: *Так!.. Но прощаясь с римской славой, // С Капитолийской высоты // Во всем величье видел ты // Закат звезды ее кровавый!..* (Цицерон, с. 104–105). Неоднозначность определяемого слова *кровавый* обусловлена такой же неоднозначностью определяющего существительного *закат*. *Кровавый (закат)* – это 1) “относящийся к крови, с большим количеством жертв”; 2) “цвета крови: красный, багровый”, т.е. в одной лексеме совмещается одновременно два типа значений – прямое и переносное.

При выяснении значений слова *закат* необходимо учитывать его двустороннюю сочетаемость: 1) *закат звезды* и 2) *закат кровавый*. В результате этого слово одновременно реализует два значения: 1) “заход звезды за линию горизонта”; 2) “завершение

² В скобках указано количество употреблений слов в поэзии Ф.И. Тютчева.

эпохи римской славы”³. Случаи двусторонней связи лексем в поэтическом тексте всегда вызывают дополнительные вопросы. Вот и здесь можно говорить о неоднозначности существительного *звезда*: 1) “планета звездной системы”; 2) “счастье, удача”. Во втором случае речь идет о звезде Римской республики, очевидцем которой, так же как и ее упадка, был Цицерон.

Последнее четверостишие этого небольшого стихотворения тоже требует семантических разъяснений: *Счастливы, кто посетил сей мир // В его минуты роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир. // Он их высоких зрелищ зритель, // Он в их совет допущен был — // И заживо, как небожитель, // Из чаши их бессмертье пил!*

Здесь мы не будем останавливаться на выяснении значения прилагательного *роковой*, которое в поэзии Тютчева в различных формах употребляется более 40 раз, в то время как существительное *рок* в трех падежных формах встречается всего 7 раз. Нас интересуют значения подчеркнутых слов. *Высоких зрелищ* – это, конечно, 1) “относящихся к небу”, где проживают всеблагие, и 2) “возвышенных, значительных по содержанию” (зрелищ). Местоимение *их*, можно предполагать, относится одновременно к существительным *чаши* и *бессмертье*. В этом случае последняя строка понимается: “пил из чаши богов бессмертный напиток, который пьют сами небожители-боги и в их числе Цицерон”. Весь этот метафорический контекст держится на неоднозначном употреблении глагола *пить*: 1) “поглощать напиток”; 2) переносное “вбирать в себя нематериальное, духовное, принадлежащее другим”. Отсюда: *бессмертье* – “напиток, принадлежащий богам”; *чаши* – “сосуд, из которого пьют боги”.

Надо сказать, что для Тютчева характерны не просто “склеивание”, “сплав” или “мерцание” значений. Часто результатом этих совмещений является сознательное сталкивание разных значений. Так, привычным для поэта является первоначальное сталкивание двух значений слова *покров* в таких стихах: *Угоден Зевсу бедный странник, // Над ним святой его покров!..* (Странник, с. 187); *...Господь милосердный, будь бедным покров!* (“Все бешеной буря...”, с. 130). Первое значение слова *покров* связано с пространственным положением странника: 1) “то, что прикрывает его от невзгод сверху”; 2) *устар.* “защита, покровительство”. Для Тютчева архаическое значение этого слова является основным. Семантическое расширение первичного этимологического значения (между прочим, словари часто не учитывают этот фактор при подаче значений в словарной статье, руководствуясь принципом актуальности) в тютчевском лексиконе – очень распространенный прием. Совмещение первичных и дальнейших значений характерно для слов различных частей речи.

Мысль изреченная есть ложь.

(1) Взрывая, возмутишь ключи, –

(2) Питайся ими – и молчи.

(Silentium, с. 106)

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,

(3) На мне, я чую, тяготее

Вчерашний зной, вчерашний прах!..

(“Как птичка, с раннею зарей...”, с. 125)

Та ж торжествующая сила
Благоволенья и любви,

(4) Не отступив, приосенила

Часы последние твои.

(Памяти М.К. Политковской, с. 262)

³ В примечаниях ПСС Ф.И. Тютчева строка *Закат звезды ее кровавый* комментируется так: “Речь идет о гибели потопленной в крови гражданской войны 48–45 гг. до н. э. римской аристократической республики, идеологом которой был Цицерон” (с. 380).

- Я поздно встретился с тобою
На жизненном твоём пути,
Но с задушевною тоскою
(5) Я говорю тебе: прости.
(Там же)
- И самого меня являешь ты
Очам души моей – и мир ее,
(6) Чудесный мир, разоблачаешь мне.
(Державный дух! с. 117)
- Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
(7) Эта нить порой гласит.
(Вот от моря и до моря, с. 191)
- (8) Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать – удел завидный...
- (9) Отраднo спать, отрадней камнем быть.
(Из Микеланджело, с. 192)

Во всех подчеркнутых глаголах легко выделяются их первичные значения, усваиваемые на уровне наивной картины мира, и, наряду с ними, вторичные, реализованные контекстом.

(1) Возмутить: “сделать какую-либо водную поверхность мутной”. Вторичное значение глагола *возмутить* – “приводить водную поверхность в движение”.

(2) Питаться: “поглощать что-либо внутрь”. Вторичное значение глагола *питаться* связано с духовной, интеллектуальной восприимчивостью.

(3) Тяготеть: 1) “испытывать тяжесть”; 2) “находиться во власти чего-либо”.

(4) Приосенить. В Словаре современного русского литературного языка дано лишь одно устаревшее поэтическое значение слова “слегка прикрывать, осенять” [ССРЛЯ 1961: 649]. Но здесь, бесспорно, наряду с этим, вторичным, значением на первый план выходит этимологическое значение “осеннее увядание”.

(5) В форме повелительного наклонения глагола прости, предполагаем, совмещаются значения глагола совершенного вида *простить* “проявить снисходительность” и формы глагола несовершенного вида *прощай* “прощание перед длительным расставанием”.

(6) Здесь в контексте метафорической перифразы “*очи души моей*” – *мир души* употребляется многозначный глагол разоблачать. В понимании Тютчева *разоблачать* это: 1) “лишать покрова, снимать завесу облачности”; 2) “делать ясным, хорошо доступным зрению” [Голованевский 2004б: 48]. Эти значения современные словари квалифицируют как устаревшие. Для Тютчева они таковыми не были.

(7) Гласит. Первичное значение этого глагола “издавать звук, голос”, свойственное восточнославянскому варианту *голосить*. Вторичное значение отмечается в словарях – “возвещать, сообщать, свидетельствовать” [ССРЛЯ 1954: 131].

(8–9) Будить – спать. Первичные значения обоих глаголов связаны общим семантическим компонентом “пребывать в состоянии сна”. В значении глагола *будить* этот компонент осложняется дополнительной семой “прерывать”. Закономерно, что вторичные, переносные, значения у глаголов развиваются одновременно. И, попадая в подобные контексты, они реализуют одновременно оба антонимических значения; 1) “прерывать сон” – “находиться в состоянии сна”; 2) “возбуждать к действию” – “бездействовать”.

Столь же ярко совмещение лексических значений проявляется в отглагольном существительном *насаждение*: *Как насаждения Петрова // В Екатерининской долине // Де-*

ревья пышно разрослись, – // Так насаждаемое ныне // Здесь русское живое слово // Рас-
сти и глубже коренись (“Как насаждения Петрова...”, с. 244).

Насаждения Петрова это: 1) “сад, разведенный по приказанию Петра I вокруг построеного им загородного дворца в Екатеринентале (Екатерининской долине)”; 2) “наследство Петра I”. Переносное значение отглагольного существительного связано с вторичным значением глагола *насаждать* “устанавливать, вводить что-либо” [СЦРЯ 2001: 402], которое было употребительным в пушкинскую эпоху.

В этой статье мы отметили некоторые приемы поэтической стилистики, посредством которых создается неоднозначность тютчевского слова. Не приходится сомневаться в том, что эти приемы не изолированы, а системны. Считаем, что выявления всех или по крайней мере основных элементов этой системности – необходимое условие создания “Поэтического словаря Ф.И. Тютчева”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Голованевский 2004а – *А.Л. Голованевский* и др. Поэтический словарь Ф.И. Тютчева: загадки, гипотезы, отгадки // Вестник Брянского государственного университета. Брянск, 2004. № 2.

Голованевский 2004б – *А.Л. Голованевский*. О лексикографировании высокочастотных слов в “Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева” // Вопросы лексики и фразеологии русского языка. Памяти профессора Р.Н. Попова: Сб. науч. ст. Орел, 2004.

Голованевский 2004в – *А.Л. Голованевский*. На пути к созданию “Поэтического словаря Ф.И. Тютчева” // Русский язык и славистика в наши дни. Мат-лы Междунар. науч. конф., посвященной 85-летию со дня рождения Н.А. Кондрашова. М., 2004.

Григорьева 1980 – *А. Д. Григорьева*. Слово в поэзии Тютчева. М., 1980.

Зализняк 2004 – *Анна Зализняк*. Феномен многозначности и способы его описания // ВЯ. 2004. № 2.

Козырев 1988 – *Б.М. Козырев*. Письма о Тютчеве // Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988.

Николаев 1988 – *А.А. Николаев*. “Понятным сердцу языком...” // Русская речь. 1988. № 6.

Перцов 2000 – *Н.В. Перцов*. О неоднозначности в поэтическом языке // ВЯ. 2000. № 3.

Пумпянский 1928 – *Л.В. Пумпянский*. Поэзия Ф.И. Тютчева // Уралия. Тютчевский альманах. 1803–1928. Л., 1928.

ССРЛЯ 1954 – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т. 3. М.; Л., 1954.

ССРЛЯ 1961 – Словарь современного русского языка: В 17 т. Т. 11. М.; Л., 1961.

СЦРЯ 2001 – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением императорской Академии Наук. Кн. 1. А–Н. СПб., 2001. [Репринтное издание]

Черных 1999 – *П.Я. Черных*. Историко-этимологический словарь русского языка. 3-е изд. Т. 2. М., 1999.

Шмелев 1973 – *Д.Н. Шмелев*. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

The grammar of causation and interpersonal manipulation / Ed. by Masayoshi Shibatani. Amsterdam: John Benjamins, 2002. xviii + 551 p.

Сборник, выпущенный под редакцией известного типолога Масайоси Сибатани, посвящен типологии каузативных конструкций, их видам, взаимоотношениям с другими грамматическими категориями (аппликатив, фаза), а также месту каузатива в концептуализации отношения “межличностной манипуляции” в тех или иных языках. Большинство статей посвящено языкам Южной и Центральной Америки, мало рассматривавшимся в связи с каузативной проблематикой.

Во вступительной статье “Основные проблемы грамматики каузации” М. Сибатани рассматривает базовые свойства каузативных конструкций. Поскольку сборник в значительной мере посвящен типологии средств выражения каузатива, автор ставит вопрос: какие предикаты становятся лексическими каузативами, а какие подвергаются морфологической каузативации. Отмечено, что существование в языках мира антикаузативов уже означает, что встречаются лексические каузативы (исходно переходные глаголы); впрочем, на наш взгляд, такие пары отличаются от лексических каузативов наличием специального **показателя** изменения валентности. Следовательно, подтверждается идея Хаспельмата [Haspelmath 1993] о том, что декаузативации подвергаются ситуации, часто возникающие без участия агенса, а каузатив в этом случае лексикализуется¹. С

другой стороны, при таком подходе не учитываются лабильные глаголы, покрывающие в разных языках разные области.

Морфологические каузативы гораздо более продуктивны, но их образование тоже ограничено. Например, как отмечено еще в [Недялков, Сильницкий 1969], они часто сочетаются с непереходными глаголами и чаще с пациентивными, чем с активными непереходными. Возможно, это объясняется тем, что при инактивных глаголах вакантна роль агенса, заполняющаяся каузатором. Помимо этого, при агентивных глаголах требуется больше усилий, чтобы каузировать событие (нужна воля каузируемого). С другой стороны, переходные и агентивные глаголы сочетаются с аналитическими каузативами, что отражает разделенность каузативного события на два подсобытия. Если один и тот же глагол может образовывать лексические и морфологические каузативы, вторые соответствуют менее прототипическому способу каузации. Различию между лексическими, морфологическими и аналитическими каузативами в семантике соответствуют синтаксические противопоставления, обсуждаемые в статье М. Сибатани и П. Пардеши в настоящем сборнике.

Другие плохо определенные термины – “прямая” и “непрямая” каузация. В лингвистических работах точного определения не дается, хотя делаются намеки на то, что непрямая каузация предполагает посредника между каузатором и каузируемым событием. В работах сборника (в частности, в статье Сибатани и Пардеши) определяющими для этого различия считаются пространственно-временные отношения между событиями и их участием. Предлагается более тонкая классификация: физическая манипуляция (пациентивный каузируемый, прямой контакт каузатора с

¹ Вообще говоря, неочевидно, что лексические каузативы всегда обозначают более прямую каузацию, чем морфологические. Возможно, такое впечатление складывается из-за того, что лексические каузативы часто закреплены за небольшим классом конвенционализованных ситуаций, а морфологические не дифференцированы по типу каузации.

каузируемым), директив (словесное побуждение)².

В сборнике подробно анализируются соотношения между способами выражений каузации. Авторы осознают, что рассматривать каузативные конструкции только как несколько отдельных, автономных типов недостаточно, эти типы конкурируют друг с другом и в глагольной системе в целом, и применительно к одним и тем же лексемам.

Статья М. Сибатани и П. Пардеши “Каузативный континуум” обобщает некоторые типологически распространенные свойства каузативов. Ее темой являются виды каузации и типологически значимые взаимоотношения между семантическими свойствами каузативных показателей и особенностями плана выражения. Авторы пытаются более строго определить различные типы каузации, поскольку строгих определений многих терминов до этого не предлагалось. В работе подробно анализируется понятие *sociative causation* (ассоциативная каузация), используемое для обозначения каузации, промежуточной между прямой и непрямой, рассматриваются различные ее виды: содействие (совместное действие), помощь (ассистив) и наблюдение, различающиеся степенью участия каузирующего в развертывании каузируемой ситуации и интеграции каузируемой ситуации в ситуацию каузации, данные свойства меньше всего проявляются при каузативе наблюдения. Также проводится различие ассоциативной и непрямой каузацией.

Также в статье рассматриваются случаи полисемии аппликативного и ассоциативного значений. На примерах из маратхи, японского языка и др. авторы рассматривают связь между семантикой показателей и такими характеристиками, как продуктивность и локус выражения значения (кумулятивно с основным значением лексемы, с помощью морфологических показателей, а также отдельных лексем). Авторы приходят к выводу, что параметр продуктивности лучше показывает связь между семантическими и формальными характеристиками, поскольку дает возможность построить более точную шкалу. В статье приводятся таблицы, показывающие корреляции

между внешним выражением и семантикой каузативных показателей.

В работе М. Ашара “Каузация, конструкции и языковая экология: пример из французского” рассматриваются четыре вида французских каузативных конструкций с глаголами со значением каузации, различия и общие черты в их семантике. Каузативная ситуация описывается средствами когнитивной лингвистики как процесс, связанный с передачей энергии “causer → causée → каузируемая ситуация”.

Забегая вперед, скажем, что выводы Ашара напрямую согласуются с тенденциями, выявленными Сибатани и Пардеши: конструкции различаются по степени интеграции каулируемой ситуации в состав каулирующей, при этом наименее продуктивные и наиболее грамматикализованные конструкции иконически обозначают большую интеграцию. Эти характеристики напрямую зависят от того, является каулируемый агентивным (источником энергии) или пациентивным участником. Фактивность каузации играет меньшую роль.

Конструкции с предлогами *de* и *à* различаются местом фокуса: на реакции каулируемого на воздействия или на событиях как едином целом. Далее автор рассматривает некаузативные употребления глаголов, могущих обозначать каузацию, и делает вывод о том, что оно коррелирует с типом каузативных конструкций, в которых они употребляются. В заключение проводятся параллели между каузативными конструкциями и другими французскими конструкциями с аналогичным оформлением частей, а также упоминаются каузативные конструкции, представляющие собой смешение двух из четырех типов. Делается вывод, что именно понятие конструкции является ключевым для изучения выражения каузации во французском языке.

Цели статьи Р. Завала “Каузативы и аппликативы в языке олутек” – проследить зависимость способов образования каузатива в языке олутек (семья мише-соке, Мексика) от семантики исходного глагола и связь между выражением каузативного и аппликативного значений. Вопрос о взаимодействии этих двух значений связан с темой всего сборника: место каузатива среди категорий, обозначающих взаимодействие между людьми или предметами. В работе выделяются шесть классов глаголов: глаголы положения в пространстве, предикаты приобретения свойства (отадъективные) и превращения в объект (отсубстантивные), неагентивные непереходные и лабильные глаголы, а также агентивные глаголы с возможностью опущения объекта. Классификация строится по признаку маркированности / немаркированности стативной, инхоативной или

² Нужно сказать, что ни вступительная статья, ни какая-либо другая из статей сборника не отражают в полной мере двойственную структуру данного противопоставления: с одной стороны, оно связано со способом каузации, с другой – с наличием предметного посредника между каузатором и каузируемым.

каузативной формы. Для установления классов выделяются различные критерии: семантика (класс глаголов положения в пространстве), синтаксис (класс лабилных глаголов), смешанные критерии (отадъективные глаголы приобретения свойства), однако эти классы не пересекаются и имеют ряд свойств, важных для изучения дериваций. Возможность образования каузатива и аппликатива зависит от класса. Затем автор приводит все типы аппликативных дериваций (добавление актанта со значением цели, инструмента, места, а также комитативного актанта).

Два каузативных суффикса различаются тем, какой из объектов – каузируемый или исходный прямой объект – стоит выше в иерархии. Как и во французском языке, каузативные конструкции различаются не только по семантике каузативного показателя, но и по свойствам объектов, хотя в данном случае речь прежде всего идет о синтаксических свойствах. Анализируя синтаксические свойства показателей, автор приходит к некоторым выводам об их происхождении.

Статья Д. Пэйна “Каузативы в языке ашенинка” посвящена описанию выражения каузации в аравакском языке ашенинка, распространенном на территории Перу. Этот язык имеет и аналитические, и продуктивные морфологические, и непродуктивные морфологические и лексические средства передачи каузативной семантики. При этом в лексических единицах со значением каузации выделяются два непродуктивных каузативных аффикса. Оба они подразумевают прямую контактную каузацию, причем каузатор оказывает на каузируемого физическое воздействие. Морфологический каузатив более продуктивен и применяется для описания широкого спектра ситуаций, в том числе с неодушевленным каузатором. При этом возможны два основных понимания: ассоциативная каузация (‘заставить X-а страдать, страдая вместе с ним’) и умышленное действие, направленное только на каулируемого, при этом первое понимание – более сильное, что является необычным для ассоциативного значения каузатива.

Как видно из приводимого материала, каузативные показатели могут иметь аппликативные значения, что, судя по материалам сборника, довольно распространено в языках благодаря наличию в каузативе ассоциативного компонента. Однако эта проблематика подробно не рассматривается. Зато детально анализируется противопоставление лексического и морфологического каузатива, в частности, в сочетании с глаголами речи. Ситуация в ашенинке демонстрирует иконизм способа выражения каузации: аналитический каузатив упо-

требуется при прежде всего дистантной манипуляции, совершаемой каузатором над каулируемым. В отличие от двух остальных типов каузатива – контактного и ассоциативного, – в данном случае каузация не является фактивной.

В заключение автор делает некоторые выводы о происхождении показателей каузатива. Один из них – *-ta-* – является древнейшим показателем каузатива. Другие показатели происходят из формантов с комитативным значением и близким к нему значением ‘вдохшевлять’. Таким образом, большинство каузативных показателей языка ашенинка происходят из показателей со значением совместности действия, что подчеркивает связь каузатива с другими категориями, несущими компонент взаимодействия между участниками, также и на историческом уровне.

М. Лони в своей статье “О некоторых дублетных формах каузатива в классическом нахуатль” (Мексика, юто-ацтекская семья) также рассматривает противопоставление различных способов образования каузатива, но, в отличие от статьи Пэйна, обсуждаются различия между морфологическими показателями (*-l-tia* и *-tia*)³. Показывается, что, хотя каузативы образуются одним и тем же способом, их семантика различна. Различие заключается, прежде всего, в том, что при каузативе на *-l-tia* каулируемый обладает высокой агентивностью. Именно *-l-tia* употребляется при образовании каузативов от переходных глаголов, даже в случаях, когда исходный глагол стоит в форме объектного имперсонала и его объект не выражен на поверхностном уровне.

Автор замечает, что и в пассивах присутствует формант *-l-* и делает вывод, что *-l-* – и в пассивах, и в каузативах – маркирует перестройку актантной структуры. В случае каузатива от переходного глагола субъект подчиненной предикации теряет самостоятельную референцию (он кореферентен объекту главной). В случае пассива переориентация нужна потому, что исходный субъект становится вторым актантом.

Такое понимание функции показателя *-l-* позволяет объяснить наличие вариантов без *-l-* у некоторых переходных глаголов: как правило, эти варианты означают, что каузатор не воздействует непосредственно на каулируемого, а совершает некоторые действия, которые приводят к каулируемой ситуации (например, встает так, чтобы каулируемый мог его увидеть).

³ При этом часть глаголов образует каузативы путем чередований.

Таким образом, оказывается, что синтаксические свойства и выбор показателя каузатива зависят от типа каузации: от наличия (сознательного) воздействия на каузируемого и от переходности исходного глагола (как показано в нескольких статьях сборника, каузация переходного и непереходного действия различаются не только синтаксически, но и семантически). Кроме того, статья предлагает возможное объяснение для акцессивно-децессивной полисемии (полисемия “каузатив / пассив” наблюдается также, например, в тюркских языках).

Статья А. Стефановича “Каузативные конструкции в языке акавайо” посвящена каузативным конструкциям в языке акавайо (Гайана, карибская семья). Основным средством образования каузативов является присоединение каузативных глаголов. Статья посвящена анализу их семантики, дистрибуции и синтаксиса. Прежде всего, в ответ на вопрос, считать ли каузативами глаголы, обозначающие каузацию состояния, а не действия, автор постулирует каузативный континуум (ср. статью Сибатани и Пардеши): наибольшей каузативностью обладают глаголы каузации переходного действия, далее следуют каузации непереходного действия, превращения каузируемого в участника (переходного) действия (например, ‘сделать убийцей’), придание постоянной характеристики (‘сделать мужчиной’) и, наконец, каузация психологического состояния (‘сделать грустным, огорчить’). Каждый глагол в акавайо обозначает непрерывный участок этой шкалы. В отличие от Сибатани и Пардеши, классифицирующих каузативы по типу взаимодействия каузатора и каузируемого, Стефанович анализирует типы результирующих ситуаций. При этом, как правило, при пересмыслении смысловых глаголов они начинают обозначать более “динамичную каузацию” (близкую к каузации переходного действия).

К сожалению, классификация ситуаций довольно груба и не позволяет сравнить между собой поведение различных глаголов, находящихся на одном полюсе шкалы: в частности, неясно, может ли быть существенной семантическая роль второго актанта исходного глагола: пациенс (‘убивать’), стимул (‘видеть’) и др.

Помимо различных глаголов, в акавайо существует три способа соединения предикаций, обозначающих каузирующую и каузируемую ситуации. Выбор одной из трех каузативных конструкций зависит, как показывает автор, от “силы” каузации и от положения каузатива на шкале каузативности: например, модель с абсолютным каузируемым возможна при каузации постоянного или переменного состояния. При анализе трех каузативных глаголов

автор опирается на их способность сочетаться с той или иной из трех конструкций. Возможно, было бы небезынтересно узнать больше о конструкциях (в частности, в статье почти не описана семантика второй конструкции, где в абсолютиве ставится результат действия).

Для описания семантики каузативных глаголов используются признаки “сильной” каузации, а именно наличие / отсутствие сопротивления со стороны каузируемого, наличие / отсутствие прямого контакта каузатора и каузируемого, наличие / отсутствие активных действий со стороны каузируемого, нанесение каузируемому физического ущерба или его отсутствие.

Кроме типа каузации, как показывает автор, роль играет фокусируемая фаза ситуации: для разных глаголов она различается: в одних случаях акцент стоит скорее на процессе каузации, в других – или на результирующем состоянии.

Глагол *kubi*, в исходном значении употребляющийся приблизительно как английское *do*, делает акцент на результирующем состоянии. С другой стороны, каузация не всегда является фактивной, таким образом, каузация в данном случае не является “сильной”. Как правило, считается, что в прототипическом случае каузатив подразумевает, что результирующее состояние имеет место, и вследствие этого семантика ‘заставлять делать X’ трансформируется в ‘делать X по принуждению’. Возможно, аналитические каузативы ведут себя по-другому – известно, в частности, что для них менее характерно представление каузативной ситуации как единого целого.

Глагол *emaiga*, в прямом значении соответствующий английскому *put in*, подразумевает более “сильную” каузацию. При этом возрастает ее фактивность, но не предполагается отрицательное воздействие на каулируемого.

Наконец, глагол *a'kwarga* ‘заставлять’ предполагает наиболее сильную каузацию с негативным силовым воздействием на каулируемого и фактивность. На шкале “каузация состояния – каузация события” он может появляться только близко к полюсу события.

Свойства глагола *a'kwarga* как каузативного показателя автор связывает с его прямым значением, подразумевающим приложение силы к объекту и прямой контакт агенса с пациенсом, вызывающий изменения в последнем. Выводы, сделанные в статье, могут позволить сделать выводы о грамматикализации каузативных показателей.

Статья Р. Мальдонадо и Ф. Навы «Тараскские каузативы и параметр “сложность события”» рассказывает о выражении идеи каузации в тараскском языке – одном из индейских

языков Мексики, который выделяется в отдельную группу (иногда отдельными языками считаются два его диалекта) – и, в частности, о значении для распределения способов выражения каузации параметра “сложность ситуации”.

Для изучения распределения каузативных показателей используются две шкалы: “сложность ситуации” и “тип воздействия на каузируемого” (прямой / не прямой), которые коррелируют между собой: с возрастанием физического контакта между каузатором и каузируемым возрастает самостоятельность каузируемого, а значит, каузируемая ситуация отделяется от каузации. Именно положение ситуации, обозначаемой глаголом, на каждой из этих шкал позволяет ему сочетаться с теми или иными показателями.

Помимо выражения собственно каузативного значения, в статье рассматривается выражение с помощью каузативных показателей других значений: в частности, показана тесная связь между каузацией и пространственными значениями, а также посессивными отношениями. Так, каузативные показатели могут преобразовывать рефлексивную ситуацию (*ampa-ts’i* ‘помыть (свою) голову’) в нерефлексивную (*ampa-ts’i* *i*-*ku* ‘мыть кому-л. голову’).

Наиболее продуктивным из морфологических показателей является каузативный суффикс *-ku-*. Как правило, он употребляется с основами, присоединяющими локативный суффикс, а также хорошо сочетается с глаголами “ухода за телом” (‘мыть голову’ – ‘мыть кому-л. голову’) и обозначениями состояний. Именно этот показатель обозначает каузацию, наиболее близкую к прототипу: каузируемый не сопротивляется действиям каузатора, каузация является прямой и фактивной. Показатель *-ra-* сочетается, прежде всего, с отагбективными глаголами, но в некоторых случаях он может обозначать и косвенную каузацию, отстоящую дальше от прототипического каузативного значения (‘пить’ – ‘напоить’), а также сочетается с переходными глаголами – в этом случае он обозначает только косвенную каузацию. При образовании каузативов на *-ra-* от переходных глаголов именная группа, обозначающая каулируемого, кодируется так же, как и исходное прямое дополнение, однако это не приводит к неоднозначности, поскольку каулируемый в подобных случаях чаще всего активен, в отличие от исходного объекта.

Наконец, каузативный показатель *-ta-* часто образует глаголы со значением каузации движения. Если *-ku-* обозначает действия над частью целого (например, частью тела), то *-ta-* нейтрализует значение части (‘мыть голову’ – ‘мыть ч.-л.’). Как и *-ra-*, *-ta-* часто обозначает

косвенную каузацию, в том числе не физическую (‘давать знать’). При конкуренции *-ta-* и *-ku-* они во многих случаях противопоставлены по намеренности / ненамеренности каузации (*-ta-* обозначает сознательную каузацию). В некоторых случаях присоединение *-ta-* приводит к нетривиальным преобразованиям (например, к добавлению участника ‘цель’).

В исследовании отмечается, что каузативы на *-ra-* и *-ta-* превосходят каузативы на *-ku-* по силе каузации, поскольку обозначают ситуации, в которых каузатор расходует больше усилий, преодолевая сопротивление каулируемого.

Помимо трех перечисленных выше “чисто каузативных” морфологических показателей, в тараском языке имеется показатель *-tara-*, маркирующий непрямую дистантную каузацию, который обязательно требует присутствия в словоформе другого показателя. Каулируемый при каузативах на *-tara-* самостоятелен, синтаксически он является наивысшим объектом и может становиться подлежащим при пассиве. *-Tara-* функционирует и как инструментальный показатель, поскольку инструмент и каулируемый во многом сходны.

Рассматриваемые каузативные показатели противопоставлены не только по семантике, но и по синтаксическим свойствам получаемой каузативной конструкции: в отличие от *-ra-*, при *-ta-* каулируемый является “первым” (наиболее привилегированным) объектом. Он может подниматься в позицию подлежащего при пассиве и опускаться при рефлексивизации.

Характерной особенностью языка является взаимодействие сложной глагольной морфологии с разнообразием каузативных ситуаций, при этом все варианты маркировки каузации допускают разные типы каузации, в том числе ситуации с высокой сложностью, то есть для языка существует путь, ведущий к началу каулируемой ситуации.

Статья Ф. Кейшалоса «“Перенос свойств” в каузативах языка сикуюни» (агглютинативном языке, распространенном в Венесуэле в районе реки Ориноко, гуахибская группа) посвящена анализу свойств каузативного глагола со значением ‘make’. Сознательно в стороне оставляются морфологическое выражение каузации и аппликативная деривация, о которых говорится лишь кратко: глаголы положения со значением ‘сидеть’, ‘стоять’, ‘лежать’ и ‘быть подвешенным’ в большой степени грамматикализованы и комбинируются со смысловыми непереходными глаголами, обозначая вид и модальность, а их каузативные корреляты комбинируются с переходными глаголами – ср. ‘видеть’ + ‘сидеть’ – ‘смотреть на сидящего X-а’.

Рассматриваемый каузативный глагол *exana* означает 'делать, создавать, превращать' и др. и в некоторых случаях ведет себя, как обычный переходный глагол.

Глаголы с двумя объектами в сикуани демонстрируют модель "первый / второй объект", при которой объект со значением реципиента более привилегирован, нежели объект-пациенс. Именно так ведет себя глагол *exana* в значении 'превращать'.

В качестве каузативного глагола *exana* выступает после основы смыслового глагола, именно к *exana* присоединяются глагольные суффиксы. Автор указывает, что все значения глагола *exana* имеют общий компонент 'приведение объекта в новое состояние с новым пучком свойств, каузируемое внешней силой'. Этот переход на объект нового набора свойств и называется "transfer" – "перенос свойств". При этом объект, переходящий в новое состояние, должен "согласиться" на этот переход – особенно ясным это становится при каузативизации переходных глаголов ('заставить мальчика бить собаку').

Синтаксически каузативы в сикуани нарушают правило, сформулированное в [Comrie 1976]: каузируемый занимает не наивысшую свободную позицию, а всегда позицию прямого объекта. Если изначально она была занята (при каузативах от переходных глаголов), занимающий ее актант становится непрямым объектом. Впрочем, существуют исключения, когда каузируемый занимает не позицию прямого объекта, а позицию косвенного дополнения с локативным суффиксом *-tha*. В частности, при каузативах от аппликативов, вводящих прямой объект, этот объект обладает высокой значимостью и его статус не понижается. Семантическая иерархия значимости является более важной, чем синтаксические иерархии.

При рефлексивизации каузатива от переходного глагола⁴ каузируемый не занимает позицию прямого объекта (в отличие от обычно каузатива от переходного глагола). Эту позицию занимает рефлексивный аффикс, кореферентный каузатору – наиболее значимому актанту.

Другой понижающий механизм – заполнение субъектного слота аффиксом первого лица множественного числа (инклюзивного) *-tsi*, в результате чего конструкция имеет пассивное значение. В том числе "пассивизировать-

ся" может и каузатив (ср. *huna-exana-tsi* 'Его заставили лезть').

Принятый в статье подход к значениям каузативного глагола как к единому целому позволяет поставить ряд важных проблем, в частности, проблему каузативации имен и (имена могут быть актантами лексического глагола 'превратить', а в ряде языков – и каузативных глаголов). Как указывает автор, ряд языков может каузативировать имена, кроме того, имена в языках типа сикуани могут в действительности выступать в роли предикатов, то есть не стоит считать значения 'превратить X в Y' и 'каузировать событие P' автономными друг от друга.

М. Веласкес-Кастильо в статье "Каузативные конструкции в гуарани" весьма полно анализирует и отглагольные, и отыменные каузативные конструкции данного языка.

Лексические каузативы в гуарани обычно не сочетаются с каузативными суффиксами. Как правило, они обозначают ситуации, где каузатор агентивен (как правило, это человек), прямо воздействует на каузируемого, а два подсобытия каузируемой ситуации не разделены во времени.

Наиболее продуктивным типом каузативов является морфологический (аффиксы *mbo/mo-*, сочетающиеся с непереходными предикатами, и *-uka*, модифицирующий переходные).

Первый суффикс может сочетаться с любыми непереходными предикатами. В каузативном предикате каузируемый кодируется **инактивным** префиксом, даже если был **активным** в исходном предикате, что показывает отмеченную в статье М. Сбатани и П. Пардеша в рецензируемом сборнике пациентивность каузируемого при каузативах от непереходных глаголов.

Ряд свойств отличает *mbo*-каузативы от прототипических переходных глаголов. В частности, их формы на *je-* обычно имеют рефлексивное значение, в отличие от *je-*форм большинства переходных глаголов. Еще одно отличие состоит в том, что эти глаголы не сочетаются с номинализатором *je-*.

В случаях, когда конкурируют лексический и морфологический каузативы от одного глагола, в последнем случае каузируемый более активен.

Как и в сикуани, имена сочетаются с аффиксом каузатива: *mbo-kurusu* (CAUS-крест) 'сложить крестом'. С другой стороны, *mbo-* может сочетаться и с активными состояниями. Каузируемый в этих случаях имеет и агентивные свойства, ср. *mbo-guapy* 'усадить', где каузируемый должен по своей воле совершить некоторое действие.

⁴ Имеется в виду конструкция, где каузатор кореферентен исходному прямому объекту, хотя это не указывается прямо.

Суффикс *-ika* сочетается только с переходными предикатами, в том числе с *mbo*-каузативами. Синтаксически каузативная конструкция является дитранзитивной, каузируемый маркируется дативом (помимо него, в предложении может быть и другая дативная группа, например, адресат).

Автор утверждает, что, в отличие от *mbo*-, *-ika* часто обозначает непрямую каузацию: при каузативах от переходных глаголов прямому воздействию каузатора доступен только каузируемый, но не вся каузируемая ситуация. Как кажется, здесь сказывается терминологическая неоднозначность: непрямой каузацией можно называть случай, когда каузатор не прямо воздействует на каузируемого или когда он не прямо воздействует на прямой объект. Автор принимает второе решение. С другой стороны, *-ika* в большей степени подразумевает физическую агрессию каузатора по отношению к каузируемому (например, ‘заставить есть X’, в отличие от ‘кормить’). Вследствие этого каузатором не могут быть неодушевленные предметы и силы.

Особый интересный случай представляет каузативация предикатов с инкорпорированным объектом. Как правило, они считаются непереходными и сочетаются с префиксом *mbo*-, но при инкорпорации части тела глагол остается переходным – прямым объектом является посessor – и сочетается с *-ika*.

Последняя часть работы посвящена аналитическим каузативам с глаголами *heja* ‘позволить’ и *e* ‘сказать’. Конструкцию с ‘позволить’ от нормальных полипредикативных конструкций отличает фактивность, отсутствующая в конструкции с ‘дать’. Следовательно, как замечает автор, вторая конструкция находится дальше от прототипического каузатива.

П.М. Валенсуэла анализирует в своей работе “Каузативация и переходность в шипибо-конибо” типы каузативной конструкции в языке шипибо-конибо – агглютинативном языке эргативного строя (Перу, панаанская семья).

Каузативный аффикс *-ta* сочетается со всеми семантическими и синтаксическими типами основ. Как и в гуарани, каузируемый занимает объектный инактивный слот, даже если исходно маркировался эргативом и был агентивен, а по маркированию не отличается от исходного прямого дополнения.

Существуют менее продуктивные стратегии каузативации. Так, прилагательные, не отличимые в данном языке от стативных глаголов, наречия и послелоги каузативируются с помощью глагола *ak*- ‘делать X-ом’, ограниченное число существительных и непереходных глаголов присоединяют суффикс *-n* (например, *rao* ‘лекарство’ – *raon* ‘лечить’). Нако-

нец, интересные случаи представляют глаголы движения *jo*- ‘come’ и *ka* ‘go’: соответствующие им корни *be*- и *bo*-, обозначающие движения множественных объектов и масс, также используются как каузативы от них.

Синтаксически каузативный показатель *-ak* в значении ‘сделать’ при прилагательных более самостоятелен, чем *-n* и *-ta*. В частности, сочинение основ, обозначающих каузируемое состояние (например, ‘я сделал дом длиннее и шире’), не требует повторения *-ak*, но *-ta* в таких случаях должно быть повторено. Однако когда *-ak* сочетается с глаголами и выступает как транзитивизатор в чистом виде (например, образуя глагол ‘кипятить’ от ‘кипеть’), он ведет себя как *-ta* и *-n*.

Механизмы каузативации обозначают различные типы каузации. В частности, суффикс *-ta* при конкуренции с *-ak* и лексическими каузативами получает непрямую интерпретацию, причем каузация происходит по воле каузатора, а другие средства обозначают прямую, часто ненамеренную каузацию. Однако автор считает, что существенно другое противопоставление *-ak* обозначает, что каузатор **ответствен за смену состояния каузируемого**, который, следовательно, является пациентом, а *-ta* – что каузатор только убыстряет изменения, уже происходящие с каузируемым. Так же противопоставлены *-n* и *-ta*.

С другой стороны, непрямая каузация может быть обозначена декаузативацией лексического каузатива с последующей каузативацией (например, *keyb-ta* ‘кончить: DECAUS-CAUS’ ‘позволить закончиться’).

В шипибо-конибо наблюдается так называемое “адвербиальное согласование” – наречные группы согласуются по переходности с главным предикатом. Интересно, что при каузативах от непереходных глаголов допускаются и переходные, и непереходные формы локативных наречий. Если они выступают в переходной форме, это означает, что данное местоположение занимали и каузатор, и каулируемый, а если в непереходной – только каулируемый (в этом случае каузативация имеет место после согласования).

Статья П. Валенсуэлы интересна не только рассмотрением каузативных конструкций, но и их сопоставлением между собой. Оказывается, что средства маркирования каузатива составляют систему, причем в нее входят и лексические каузативы, не содержащие отдельного каузативного показателя.

В. Васкес Сото в статье “Некоторые ограничения на каузативные конструкции в языке кора” обсуждает каузативные конструкции в юто-ацтекском языке кора (Северо-Западная Мексика). Язык имеет аккумулятивный строй,

глагол согласуется с субъектом и объектом, причем модель согласования зависит от того, выражены ли субъектные и объектные именные группы. Субъект может подвергаться топикализации, но только в предложениях с выраженной субъектной именной группой.

Кора имеет стативные, непереходные и переходные глагольные основы. В частности, антипассивный префикс *tíʔi-* сочетается только с переходными глаголами и превращает их в непереходные. Однако важнее всего то, что только глаголы с переходными основами согласуются с прямым объектом, не повышая свою валентность. Формальных критериев для различения агентивных и неагентивных непереходных глаголов не существует.

Лексические каузативы в кора включают супплетивные пары и лабильные глаголы. В частности, супплетивной является пара 'умереть' ~ 'убить'. При этом оба члена пары имеют еще и по две супплетивных основы, одна из которых используется при единственном числе пациенса, а другая – при множественном, что дополнительно свидетельствует о связи между глаголами 'умереть' и 'убить'.

Лабильные глаголы в кора принадлежат к О-типу, то есть субъекту непереходного употребления соответствует объект переходного. Все эти глаголы прототипически переходны и имеют сильно затронутый действием пациенс: ср. *tapʷa* 'сломать(ся)', *wa-súhʕaʔan* 'порвать(ся)', *hantánaʔakakaʔa* 'разделить(ся)'.

Далее рассматриваются морфологические каузативы. Во-первых, имеется очень интересный многофункциональный суффикс *-re*, присоединяющийся к стативным основам. Этот суффикс может образовывать лабильные глаголы (*beʔ é* 'быть большим' – *beʔé-re* 'стать / сделать большим'), непереходные глаголы, противопоставленные переходным глаголам на *-te* (*hán-ʕina* 'быть горьким' – *hán-ʕina-re* 'стать горьким' ~ *hán-ʕina-te* 'сделать горьким') и переходные глаголы (*súʔumʷa* 'быть черным' – *súʔumʷa-re* 'сделать черным, покрасить в черный цвет'). Переходность деривата зависит от того, происходит действие обычно самостоятельно или с участием агенса.

Собственно каузативными показателями являются *-ra* и *-te*; *-ra* обозначает более прямую каузацию, чем *-te*. Именно *-te* преимущественно образует каузативы от имен.

Только *-te* маркирует каузативы от неагентивных непереходных глаголов, преимущественно с субъектом-экспериенцером. Способ каузации не маркируется. Как правило, *-te* присоединяется к глаголам, обозначающим действия с неагентивным субъектом, которые, однако, прототипически происходят без участия агенса (ср. *naʔaná* 'смеяться').

С другой стороны, из агентивных непереходных глаголов только *ráʔaraʔa* 'лететь' образует морфологический каузатив. Еще несколько из них выступают в каузативной конструкции с глаголом *taʔáih* 'посылать'. Некоторые переходные глаголы, например, *néih* 'танцевать (танец)' могут образовывать каузативы от антипассивов – эти каузативы имеют и манипулятивное ('заставлять танцевать'), и социативно-каузативное значение ('заставлять танцевать с собой'), но в целом этот способ непродуктивен.

Суффикс *-te* также имеет аппликативно-комитативное значение, например, 'придти с Х-ом' от 'придти'. Такие комитативные дериваты образуются, в основном, от глаголов движения. В статье М. Сибатани и П. Пардеши в рецензируемом сборнике отмечается близость значений социативной каузации и совместности.

Единственным классом переходных глаголов, образующих морфологические каузативы, являются ингестивы – обозначения принятия в себя и восприятия субъектом некоторых объектов, воздействующих на него: 'есть', 'пить', 'видеть'⁵. Для них используется суффикс *-raʔa* или комплекс *-raʔa-teʔe*. Каузируемый при этом занимает позицию прямого объекта, вытесняя исходный объект, что обычно для языков с выделением "primary object" (высокозначимого объекта, не обязательно пациентивного). Помимо этого, данные глаголы образуют и аналитические каузативы.

Большинство агентивных переходных глаголов образуют аналитический каузатив с помощью глагола *taʔáih* 'посылать' – от прямого значения сохраняется значение действия, выгодного для каузатора. Главная, каузативная и подчиненная клаузы демонстрируют значительную автономность, например, могут принимать разные аспектуальные показатели.

Неспособность агентивных глаголов образовывать морфологические каузативы автор объясняет тем, что в этом случае в одной клаузе имелось бы два агентивных участника (каузатор и каузируемый) – морфологический каузатив обозначает каузацию неагентивных ситуаций, которые "легче" каузировать прямо (см. упомянутый выше и в других статьях изоморфизм формальных и семантических свойств каузативных конструкций). Интересен факт, почти не затронутый в статье: в кора, вопреки предсказаниям работы [Недялков, Сильницкий 1969], образование каузативов проблема-

⁵ Чаще всего в данный класс включают именно глаголы 'есть' и 'пить', глаголы восприятия являются менее каноническими членами группы.

тивно не для переходных глаголов, а для одного из подклассов **непереходных**, который не сочетается ни с одним из показателей каузатива.

Д. Флек рассматривает выражение каузатива в амазонском языке матсес (паноанская семья) с эргативным строем. Вначале обсуждается определение каузативной ситуации: в частности, предложенное в [Shibatani 1976] (одно из событий должно следовать за другим и быть полностью обусловлено им, по мнению говорящего) и [Lakoff 1987] (прототип включает действие агенса – человека, подверженность пациента изменению и т.д.).

Единственным продуктивным показателем каузатива в матсес является суффикс *-me*. Он может кодировать практически все типы каузатива. Ограничения появляются только в том случае, если суффикс присоединяется к непереходному глаголу, имеющему лексический каузатив: тогда морфологический каузатив кодирует непрямую каузацию.

Синтаксически каузативная конструкция нарушает правила, сформулированные в [Comrie 1976]: каузируемый не занимает наивысшую свободную позицию, а становится прямым объектом. При каузативации переходных глаголов исходный прямой объект также сохраняет свою позицию. То же происходит при непрямых дитранзитивах типа ‘дать’: два объекта неразличимы, оба маркируются абсолютивом (ср. также статью П. Валенсуэлы).

Суффикс *-me* также образует необычную конструкцию с повышением инструмента. Буквально она значит, например, ‘убить топором’, название инструмента маркируется инструментальным падежом, но, по-видимому, является каузируемым (букв. ‘заставить топор убить тапира’). Синтаксически название инструмента ведет себя, как абсолютивный каузируемый в других конструкциях. Такая стратегия пока не получила формального объяснения.

Автор считает, что при каузативном употреблении *-me* добавляет к глаголу самого агентивного участника, а при “инструментальном” – инструмента, промежуточного между агенсом и пациентом и допускает, что при каузативах, обозначающих непрямую каузацию, *-me* тоже добавляет не каузатора, а каузируемого – “посредника” между каузатором и пациентом. Как нам кажется, это решение не слишком приемлемо, поскольку действие, обозначаемое исходным глаголом, совершает все же каузируемый, а значит, более приемлемо считать, что он изначально присутствует в структуре ситуации.

Лексические каузативы матсес делятся на несколько групп. К ним относятся лексикали-

зованные глаголы с дитранзитиватором *-ud* (в отличие от большинства дериватов, они не могут иметь рефлексивного значения) и каузативные переходные глаголы с транзитивизатором *-ua*. Часто он образует глаголы от глаголов, заимствованных из испанского языка (*bende-ua* ‘продать’ от исп. *vender* ‘продать’) и может выражать и прямую, и непрямую каузацию.

Также имеются эквивалентные пары. Класс пар, где непереходный глагол имеет окончание *-ka*, а переходный – *-ke* – это единственный класс непереходных глаголов, не сочетающихся с суффиксом *-me*. Вероятно, это связано с тем, что данные глаголы семантически сочетаются с прямой каузацией, которую выражает переходный член пары, а не с непрямой, выражаемой *-me*. Исторически, возможно, *-ke* был показателем непереходных глаголов, с которым не сочетался *-me*, только начавший распространяться.

Хотя матсес не имеет аналитических каузативов в строгом смысле слова, близкой к каузативной является конструкция с глаголами со значением ‘говорить’ (‘Он сказал ей: “Сделай это” ’), которые в данном языке используются как показатели цитации со значением ‘Он заставил ее сделать это’.

Интересно, что каузативное значение в матсес имеют многие номинализаторы, в частности, *-anmēs* (*iquen* ‘мерзнуть’ – *iquen-anmēs* ‘тот, кто заставляет мерзнуть’). Как правило, эта номинализация используется в крайне непрототипическом для каузатива контексте, когда имеет место ненамеренная каузация неволеитивным каузатором события, оцениваемого отрицательно. Другим показателем каузативной номинализации является сочетание *-me-quad*, а комплекс *an-quad* образует номинализации с каузативным значением антипассивов.

Интересны две особенности языка матсес: во-первых, шкала каузатива от прямой к непрямой более развита в номинализациях (от прямой каузатива в случае *-me-quad* к *an-quad* и *-anmēs*), чем в финитных предикациях. Кроме того, не наблюдается иконизма в сложности формальных средств: непрямая каузатива кодируется простым показателем *-anmēs*. Автор считает, что это свидетельствует о гетерогенности класса каузативных показателей.

За недостатком места мы только упомянем еще две работы сборника – статьи Т. Гивона и Ф. Янга “Cooperation and interpersonal manipulation in the society of intimates” и Б. Малле “Verbs of interpersonal causality and the folk theory of mind and behaviour”. Они не относятся прямо к грамматике каузативных конструкций, а связаны с концептуализацией каузатива и каузальных связей в языке.

Итак, сборник обсуждает ряд важных проблем, связанных с каузативными конструкциями. В первую очередь подробно рассматриваются соотношения каузативных показателей между собой, а также с классами глаголов. Кроме того, проводится глубокий семантический анализ, связывающий типы каузативов и характеристики актантов (в частности, одушевленность и агентивность). Стоит отметить, что сборник посвящен, прежде всего, американским языкам, мало привлекавшимся для типологии каузативных конструкций. С другой стороны, эта фиксированность на одном ареале является и недостатком – она не позволяет понять, насколько в языках мира в целом существенны изучаемые свойства актантов. Однако важно, что сборник проливает свет на противопоставления прямой и непрямой каузации, каузации с агентивным и с пациентивным каузируемым, которые ранее редко получали точное определение.

Кроме того, при изучении ранее мало изучавшихся в данном аспекте языков выяснилось, что и синтаксические свойства каузативных конструкций в них отличаются от привычных: многие из них нарушают правило, согласно которому каузируемый должен занимать высшую вакантную позицию – в них он всегда становится прямым объектом. Это про-

исходит потому, что данные языки различают не прямой и не прямой объект, а главный и неглавные объекты. Главным (primary) и становится каузируемый.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Недялков, Сильницкий 1969 – В.П. Недялков, Г.Г. Сильницкий. Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций. Л., 1969.
- Comrie 1976 – В. Comrie. The syntax of causative constructions: Cross-language similarities and divergences // М. Shibatani (ed.). Syntax and semantics. V. 6. The grammar of causative constructions. New York, 1976.
- Haspelmath 1993 – М. Haspelmath. More on the typology of inchoative / causative verb alternations // В. Comrie, М. Polinsky (eds.). Causatives and transitivity. Amsterdam, 1993.
- Lakoff 1987 – G. Lakoff. Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago, 1987.
- Shibatani 1976 – М. Shibatani. 'Causativization' // М. Shibatani (ed.). Syntax and semantics. V. 5. Japanese generative grammar. New York, 1976.

А.Б. Лемучий

G. Hewitt. Introduction to the study of the languages of the Caucasus. Munich: Lincom Europa, 2004. viii + 346 p.

За последние годы мюнхенское издательство Lincom Europa опубликовало несколько грамматических описаний кавказских языков, авторами которых выступили в том числе и наши соотечественники – ср. грамматики гунизбского, годоберинского, ицаринского языков Дагестана [Berg 1995¹; Kibrik (ed.) 1997; Sumbatova, Mutalov 2003]. Книга “Введение в изучение языков Кавказа”, вышедшая в этом издательстве в серии Lincom handbooks in linguistics, представляет собой общий обзор кавказских языков, под которыми традиционно понимаются языки картвельской (южнокавказской), абхазо-адыгской (западнокавказской) и нахско-дагестанской (восточнокавказской) семей. Из предшествующих обобщающих работ данного типа можно назвать прежде всего “Введе-

ние в кавказское языкознание” Г.А. Климова, опубликованное более 20 лет назад и впоследствии переведенное на немецкий язык [Климов 1986; Klimov 1994]; оно, однако, значительно отличается от книги Дж. Хьюитта как по структуре, так и по способу представления языкового материала.

Автор “Введения в изучение языков Кавказа”, известный английский кавказовед Брайан Джордж Хьюитт, является в первую очередь специалистом по картвельским (прежде всего грузинскому и мегрельскому) и абхазо-адыгским языкам (прежде всего абхазскому). Его перу принадлежит грамматика грузинского и абхазского языков, а также хрестоматии и учебные пособия по этим языкам, монография о грузинских и абхазских подчинительных конструкциях, под его редакцией вышел том по абхазо-адыгским языкам в серии “Автохтонные языки Кавказа”; см. [Hewitt 1979; 1987; 1996; Hewitt (ed.) 1989]. Однако, несмотря на то, что определенный “крен” в сторону южно- и западнокавказских языков в рецензируемой

¹ Памяти автора гунизбской грамматики, Хельмы ван ден Берг (1965–2003), рано умершей исследовательнице кавказских языков из Нидерландов, посвящена рецензируемая книга Дж. Хьюитта.

работе и заметен, в целом все три языковые семьи Кавказа охарактеризованы достаточно полно.

Книга состоит из предисловия, семи глав, небольшого “постскриптума”, а также приложения и достаточно внушительного списка литературы (включающего порядка 400 позиций). В отличие от упоминавшейся выше монографии Г.А. Климова, во “Введении в изучение языков Кавказа” Дж. Хьюитта нет отдельных обзорных глав, посвященных каждой из трех кавказских семей, – главы организованы по тематическому принципу и в основном следуют структуре традиционных грамматических описаний (история изучения, фонетика, морфология, синтаксис, лексика).

В первой главе рассматривается **история изучения** кавказских языков, начиная от первых грамматик и словарей грузинского языка – единственного, по словам автора, автохтонного языка Кавказа, имевшего письменную традицию до XIX века². Обзор кавказоведческих школ XX века следует в основном региональному принципу – немецкую школу представляют прежде всего А. Дирр, Г. Деетерс, В. Бёдер, Й. Гипперт и др., французскую – Ж. Дюмезиль, Ж. Шарашидзе, скандинавскую – Г. Фогт, нидерландскую – А. Кёйперс, английскую и американскую – Г. Аронсон, Д.Э. Холиски, Э. Харрис, сам Дж. Хьюитт и др. Значительное внимание уделено и российскому/советскому кавказоведению, основателем которого можно считать барона П.К. Услара и которая в последние 100 лет была представлена такими исследователями, как А.Г. Шанидзе, Н.Я. Марр, А.С. Чикобава, Г.И. Мачавариани, Т.Е. Гудава, Н.Ф. Яковлев, Е.А. Бокарев, А.А. Бокарев, Г.А. Климов и многие другие. Несмотря на краткость (16 с.), данный исторический очерк – вкуче с прилагаемой библиографией – представляет значительную ценность; из недочетов отметим, однако, нерекие ошибки в транслитерации фамилий современных российских кавказоведов.

Вторая глава посвящена краткому социолингвистическому **обзору кавказских языковых семей** и входящих в их состав языков. При

рассмотрении отдельных языков указывается территория их распространения и ее исторически засвидетельствованные изменения, самоназвания (“native term”) носителей и языков, их численность по последней советской переписи (1989 г.), диалектное членение, влияние других языков, наличие литературных стандартов. К сожалению, схематическое изображение языкового древа приводится только для картвельских языков (с. 20), хотя их внутренняя классификация как раз наиболее проста по сравнению с другими семьями. В заключение главы упоминаются основные гипотезы о внешних связях кавказских языков и о предполагаемом родстве между кавказскими семьями.

В третьей главе дается характеристика **фонологических систем** кавказских языков, в том числе приводятся таблицы согласных и гласных (для избранных представителей каждой семьи), важнейшие правила дистрибуции фонем и их позиционной реализации, упоминаются основные просодические явления. Некоторые особенно интересные или спорные вопросы автор излагает более подробно: это касается, например, ассимиляции в стечениях согласных картвельских языков (прежде всего мегрельского), различных интерпретаций вокализма в абхазо-адыгских языках и тоновых различий в нахско-дагестанских языках. Среди прочего автор отмечает заметный “рост” числа согласных фонем для дагестанских языков в описаниях последних лет, иллюстрируя это таблицами согласных для багвалинского и цахурского языков, по две для каждого – одна из более ранних работ грузинских ученых (Т. Гудава, Б. Гигинейшвили), другая – по недавним московским публикациям (С.В. Кодзасов). Отметим, что особенностью книги Дж. Хьюитта является последовательное использование единой транскрипции МФА (Международной фонетической ассоциации) для всех языковых примеров как в главе по фонетике, так и в последующих главах книги.

Четвертая и пятая главы, на которые в сумме приходится половина всего объема работы, посвящены соответственно **морфологии** и **синтаксической структуре** кавказских языков. В каждой из глав изложение ведется по тематическим разделам, а внутри каждого раздела – по семьям; общий принцип в выборе последовательности языковых семей – от более “простых” к более “сложным” в рассматриваемом аспекте. Так, например, глава по **морфологии** включает два раздела, причем в первом, “Неглагольная морфология” (где речь идет о категории числа, падежа, принадлежности, особенностях парадигм местоимений и прилагательных), изложение начинается с абхазо-адыгских языков, затем следуют картвельские и затем –

² Это высказывание верно в том случае, если имеется в виду непрерывная письменная традиция. Еще одним языком, имевшим – с V века – собственный алфавит и письменные памятники, являлся древнеудинский, или “агванский” (лезгинская группа нахско-дагестанской семьи); однако после VIII в. эта письменность вышла из употребления, а ббольшая часть рукописей была утрачена.

нахско-дагестанские, которым свойственны наиболее сложные системы склонения существительных. Напротив, в разделе “Глагольная морфология” первыми рассмотрены нахско-дагестанские языки, затем картвельские, и последними – абхазо-адыгские, обладающие полисинтетическим глагольным комплексом (так, для абхазского глагола на с. 125–126 перечисляются 12 префиксальных и 11 суффиксальных позиций, заполняемых показателями лично-числового согласования, вида, времени, локализации, актантной деривации, отрицания, вопросительности и др. категорий). Наибольшее внимание в этом разделе уделяется, пожалуй, морфологии согласования, что вполне объяснимо – даже в сравнительно “простых” в данном отношении нахско-дагестанских языках представлено несколько типов согласования (в большинстве языков – по именному классу, в нескольких – по лицу, причем в некоторых языках совмещены оба типа). Иногда, однако, складывается ощущение, что изложение материала слишком перегружено подробностями – например, в том, что касается распределения алломорфов или диахронического развития аффиксов, – и это во многом выводит данную книгу за пределы “вводного курса по кавказоведению” для начинающих.

Глава по синтаксису состоит из разделов, посвященных именной группе (прежде всего согласованию и порядку определений внутри нее, а также сочинению), актантной структуре предложения (т.е. основным типам синтаксических конструкций и средствам повышения и понижения валентности), устройству вопросительных предложений, сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям. Особенно подробно освещается проблема интерпретации картвельской синтаксической структуры – как эргативной или “расщепленно-эргативной” vs. активной (с. 158–168) – в соответствующем фрагменте Дж. Хьюитт выдвигает и собственные гипотезы о происхождении этого достаточно нетривиального соотношения типов падежного кодирования. Можно указать, однако, и на некоторые лакуны в данной главе: например, в ней почти ничего не говорится о фокусной конструкции в нахско-дагестанских языках (образуемой, как правило, путем переноса глагола-связки к фокусируемой составляющей), при том что она характерна для большей части языков этой семьи и представляет значительный интерес для синтаксической типологии; не упомянуты в книге и такие обобщающие работы по дагестанской фокусной конструкции, как [Kazenin 1998; 2002]; ср. также [Сумбатова 2002; 2004].

Шестая глава, “Лексика”, содержит анализ некоторых особых лексических групп кавказ-

ских языков: наиболее подробно описываются системы числительных (интересные, в частности, разнообразными сочетаниями двадцатеричной и десятирочной систем), а также названия дней недели. Кратко характеризуются возможности словообразования и чуть подробнее, однако все же достаточно несистематично, рассматриваются заимствования в абхазо-адыгских и картвельских языках. В частности, автор комментирует распространенный миф о “чистоте” грузинского словарного фонда (т.е. о малом проценте заимствований), который приходилось поддерживать даже в академических изданиях, чтобы избежать “излишнего народного недовольства” (с. 249).

Заключительная, седьмая глава (“Что нам готовит будущее”), начинается с краткого обзора политических событий XIX–XX вв., повлиявших на языковую ситуацию на Кавказе, с особым вниманием к недавним военным конфликтам в Чечне, Абхазии и Северной Осетии. Дальнейшая же часть главы посвящена весьма информативному обзору письменностей, используемых для кавказских языков, с подробными таблицами алфавитов, образцами текстов в оригинальной графике (с транскрипцией) и экскурсами в историю создания письменности. В завершение обзора автор отмечает, что бросаются в глаза “не просто различные, но и до некоторой степени противоречащие друг другу способы представления таких близких диалектов, как адыгейский и кабардино-черкесский, с одной стороны, и абхазский и абазинский, с другой” (с. 273). В связи с этим автор предлагает свой проект “общей орфографии” для абхазо-адыгских языков, которая, по его словам, могла бы “помочь объединить родственные языковые сообщества” (там же). Идея такой общей орфографии возникла у автора еще в 1990-е годы, и российский читатель может быть знаком с публикацией [Hewitt 1999], в которой переход на унифицированную графику на латинской основе был назван “дорогой жизни для исчезающих языков” (a life-line for endangered languages). Однако, несмотря на то, что в новой версии общей орфографии Дж. Хьюитт предлагает два ее равноправных варианта – на основе как латиницы, так и кириллицы – искреннее желание автора предложить народам Кавказа³ упорядоченную и вместе с тем несложную систему

³ Как и в предшествующих работах, в рецензируемой книге автор не исключает возможности того, что предлагаемая им орфография будет использована и для нахско-дагестанских языков.

письма, как кажется, не всегда уравниваются практически с изображениями.

При том, что указания Дж. Хьюитта на последовательность существующих кириллических алфавитов для близких языков полностью справедливы (особенно ярко это заметно на примере абхазского и абазинского, где из 50 одинаковых согласных 30 обозначаются по-разному), многие его конкретные предложения выглядят чрезвычайно странными. Так, автор предлагает в кириллическом варианте “общей орфографии” использовать строчные и заглавные буквы для обозначения разных фонем (например, *к* для /k/ и *К* для /q/), применить заглавное *Я* для увулярного спиранта /R/, а также отмечать лабиализацию буквой *ё* (!). В завершение рассматривается несколько вариантов письма на основе латинской графики, которые также страдают от дистинктивного использования строчных/заглавных букв, а, кроме того, от излишне строгой привязки к традиционной турецкой графической системе и даже к раскладке турецких печатных машинок (в результате чего некоторые предлагаемые графемы трудно передать даже средствами “юникодовской” кодировки в редакторе Word). Заметно, что автор очень вдохновлен своим изобретением, и распространение его системы на все северокавказские языки кажется ему вполне реальным – при этом он не предлагает перехода на альтернативное письмо для картвельских языков, считая грузинский алфавит наиболее подходящим для кавказских фонологических систем, но признавая, что применение его для языков вне Грузии по политическим соображениям невозможно.

В конце книги приводится достаточно большое по объему **приложение** (30 с.), в котором анализируется история и синхронное функционирование картвельских пространственных превербов. По стилю изложения и степени подробности данный текст, однако, рассчитан скорее на специалистов и, как и некоторые указанные выше фрагменты, позволяет говорить о книге Дж. Хьюитта как об авторской монографии не в меньшей степени, чем как о “вводном курсе по кавказоведению”.

Переходя к общей оценке книги, трудно удержаться от ее сравнения с уже упоминавшимся “Введением в кавказское языкознание” Г.А. Климова. Стоит отметить, что не все вопросы, подробно разбираемые Г.А. Климовым, нашли отражение в работе Дж. Хьюитта – так, в ней фактически отсутствует обсуждение сравнительно-исторической реконструкции кавказских языковых семей, а также их ареального взаимодействия в прошлом и настоящем (помимо краткого перечисления основных публикаций по данным темам

в первой и второй главах). Однако конкретно-языковой материал по синхронной грамматике представлен у Дж. Хьюитта, безусловно, гораздо полнее – в его книге огромное количество примеров (с подстрочным грамматическим разбором), а описание морфологических особенностей ряда языков, как мы уже говорили выше, иногда кажется даже слишком подробным. Можно только приветствовать и подробную характеристику алфавитов, используемых литературными кавказскими языками (в книге Г.А. Климова эта информация занимала крайне незначительное место).

Определенным недостатком книги Дж. Хьюитта является некоторая тяжеловесность стиля, а также, местами, слабая структурированность и системность изложения. Как кажется, иерархическое деление больших глав на разделы могло бы быть более дробным, и, кроме того, его следовало бы отразить и в оглавлении книги. Впрочем, последний упрек следует отнести скорее к издателям, нежели к автору – в оглавлении книги на первой странице приведены только названия самих глав, без подразделов; при этом названия некоторых глав не соответствуют тем их названиям, которые фигурируют в основном тексте. Помимо этого, книга бы выиграла и в том случае, если бы названия глав и разделов отличались по оформлению от основного текста (они даже не выделены полужирным). Крайне полезными были бы – особенно во второй главе – и языковые карты с изображением распространения языковых семей и отдельных языков, а также, в качестве приложения, общий список языков и диалектов Кавказа – например, в виде сводной таблицы, с указанием названия, численности и территории распространения идиома.

Несмотря на указанные недочеты, рецензируемый труд, безусловно, дает полное и адекватное представление о кавказских языках на современном этапе их исследования. Искренняя любовь автора к языкам и народам Кавказа, а также несомненный профессионализм и огромная эрудиция в области кавказоведения делают данную книгу ценным источником информации как для самих кавказоведов, так и для филологов, которые смогут найти в ней обсуждение многих интересных и нетривиальных языковых явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Климов 1986 – Г.А. *Климов*. Введение в кавказское языкознание. М., 1986.
Сумбатова 2002 – Н.Р. *Сумбатова*. Глагольная система и структура предложения (о некоторых типологических особенностях дагестанского глагола) // В.А. Плулунян, А.Ю. Урманчиева (ред.). Языки мира. Ти-

пология. Уралистика: Памяти Т. Ждановой. Статьи и воспоминания. М., 2002.

Сумбатова 2004 – *H.P. Сумбатова*. Коммуникативные категории и система глагола (о некоторых типологических особенностях дагестанского глагола) // В.С. Храковский и др. (ред.). 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.

Berg 1995 – *H. van den Berg*. A grammar of Hunzib. Munich, 1995.

Hewitt 1979 – *B.G. Hewitt*. Abkhaz. Amsterdam, 1979.

Hewitt 1987 – *B.G. Hewitt*. The typology of subordination in Georgian and Abkhaz. Berlin, 1987.

Hewitt 1996 – *B.G. Hewitt*. A structural-reference grammar of Georgian. Amsterdam, 1996.

Hewitt 1999 – *B.G. Hewitt*. Roman-based alphabets as a life-line for endangered languages // Я.Г. Тестелец, Е.В. Рахилина (ред.). Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999.

Hewitt (ed.) 1989 – *B.G. Hewitt* (ed.). The indigenous languages of the Caucasus. V. 2: The North West Caucasian languages. Delmar, 1989.

Kazenin 1998 – *K.I. Kazenin*. On patient demotion in Lak // L. Kulikov, H. Vater (eds.). Typology of verbal categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen, 1998.

Kazenin 2002 – *K.I. Kazenin*. Focus in Daghestanian and word order typology // Linguistic typology. 2002. V.6. № 3.

Kibrik (ed.) 1997 – *A.E. Kibrik* (ed.). Godoberi. Munich, 1997.

Klimov 1994 – *G.A. Klimov*. Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft. Hamburg, 1994.

Sumbatova, Mutalov 2003 – *N. Sumbatova, R. Mutalov*. Icarl. Munich, 2003.

Ю. Б. Коряков, Т. А. Майсак

A. Bierich. Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts. Entstehung, Semantik, Entwicklung. Frankfurt-am-Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2005. 326 S.

XVIII век, как известно, стал “судьбоносным” для истории России, ее культуры и языка. Ведь именно в это время складываются основные предпосылки для формирования современного русского литературного языка, развивается активная варируемость самых разнообразных его элементов – от книжного до просторечного и диалектного, мощно активизируется приток европейских заимствований. Именно поэтому язык этого времени давно уже стал объектом интенсивного исследования и словарного описания. Еще при Я.К. Гроте и А.А. Шахматове производились выборки из произведений XVIII в. для картотеки Академического словаря русского языка, а с 1960 г. Г.П. Блок, а затем Ю.С. Сорокин по предложению В.В. Виноградова начали работу по подготовке “Словаря русского языка XVIII в.” [Рогожникова 2003: 84–85]. Е.Е. Биржакова, Л.А. Войнова, Л.И. Кутина, Ю.С. Сорокин, Х. Кайперт, Ф. Оттен и другие слависты посвятили языку этого периода основательные штудии.

Вместе с тем здесь мы сталкиваемся с парадоксом, характерным для развития отечественной и европейской фразеологии. Лексика и грамматический строй русского языка этого периода исследованы действительно детализированно и глубоко. Для Германии, в частности, характерен интерес к этой проблематике в связи с русско-немецкими контактами Петровского времени и возможностью демонстрации обильных лексических европеизмов. Фразеоло-

логический же материал при этом в диахроническом аспекте почти не изучался, что тем более парадоксально, т. к. еще В.Г. Белинский назвал XVIII век “веком фразеологии”. Можно упомянуть здесь лишь монографию А.И. Федорова [Федоров 1973], в которой развитие русской фразеологии XIX века освещалось на фоне фактов XVIII-го века; работы 70-х гг. М.Ф. Палевской [Палевская 1972; 1980], которую интересовали в основном структурные модели глагольных сочетаний; кандидатские диссертации Д.Ю. Алтайбаевой [Алтайбаева 1983] и О.И. Жмурко [Жмурко 1980]; докторскую диссертацию и монографию Т.В. Шевяковой об именных номенклатурных словосочетаниях этого периода [Шевякова 2003] и, наконец, – несколько свежих статейных публикаций Ф. Оттена, лишь недавно [Otten 1999; 2000; 2001; 2002] обратившегося от анализа лексики Петровской эпохи к исследованию фразеологии.

Монография А. Бириха – плодотворная и принципиально новая попытка восполнить эту теоретическую и практическую лауну в славистике. Целью его исследования является комплексный анализ процессов возникновения и развития русской фразеологии XVIII в. Автору удалось аргументированно и объективно ответить на кардинальные вопросы, не получившие до сих пор у фразеологов-славистов убедительного ответа. Во-первых, в работе раскрываются внутренние причины и описывается динамический механизм возникновения

фраzeологической системы языка XVIII в. Вторых, корректно и точно выявляются источники возникновения этой системы. В-третьих, дается scrupulous и последовательное описание парадигматических отношений между элементами фразеологической системы. В-четвертых, предлагается квалификация ее собственно языковых средств. В-пятых, дается пластичное изображение самых активных фрагментов фразеологической картины мира данного периода. Наконец, описанная столь всесторонне фразеология XVIII в. сопоставляется с фразеологической системой современного русского языка, что позволяет определить не только количественную квоту утраченных фразем, но и сделать важные выводы о качественных изменениях, которые эта система претерпела.

Важным моментом является и последовательно историко-этимологическая нацеленность всей работы, поскольку именно этимология фразеологических единиц (ФЕ) до сих пор **остается пока еще недостаточно изученным аспектом общей и русской фразеологии.** Ведь хотя в славистике и особенно в русистике благодаря двадцатилетним усилиям многих славистов, работающих под эгидой Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов, уже немало сделано в этом направлении, лакуны в этой области заполнить пока еще не удалось. По сравнению с математически отточенной этимологической методикой описания индоевропейской лексики, разработанной еще младограмматиками, методика историко-этимологического описания фразеологии нередко приближается к средневековым столкновениям первичного смысла идиом на уровне народной этимологии. Причины недостаточной разработанности историко-этимологического анализа русской фразеологии объясняются по-разному: и отождествлением методики ее анализа с методикой диахронического изучения лексики, и недостаточно сбалансированной “материальной базой” объективного сопоставления русской фразеологии с фразеологией других славянских и неславянских языков, и недостаточно системным описанием диалектной фразеологии в современных словарях и др. Одним из главных камней преткновения, как кажется, здесь является и отсутствие надежных фразеологических данных древнейшего **периода истории славянских языков и периода консолидации литературной нормы.**

Композиция книги соответствует иерархии обозначенных проблем. После краткого введения автор детально рассматривает теоретические вопросы фразеологии, критически обзревая большую европейскую литературу по общей и славянской фразеологии и определяя

основные методы и материальную основу своего исследования. В 3-й главе дается анализ образования фразеологической системы XVIII в., делается удачная попытка реконструкции первичного образа многих конкретных фразем. 4-я глава посвящена семантической характеристике фразеологии XVIII в. с особым углублением в описание фразеологической картины мира того периода и динамику фразеологической номинации. В 5-й главе анализируются процессы развития фраземики XVIII-го века. Во всех пяти главах монографии исследователю за общетеоретическими проблемами не упускает из поля зрения главного – конкретного живого фразеологического материала в его мощном динамическом круговороте Петровского и послепетровского времени.

Динамика, процессы развития – вот ключевое слово всей монографии А. Бириха. Хотя по композиционному наименованию развитие (Entwicklung) – это объект анализа 5-й главы книги (с. 213–248), динамические изменения фразеологической системы XVIII в. интересуют автора во всех названных главах работы. Так, рассматривая общую проблему ограниченной синтаксической сочетаемости, А. Бирих удачно иллюстрирует ограничительные факторы фразеологической системы оригинальными примерами сочетаемости фразеологизма *спустя рукава* из “Виргилиевой Энеиды” Осипова и “Записок” А.Т. Болотова: *спустя мы жили рукава* и *или мы, так сказать, спустя рукава* (с. 32). Для носителя современного русского языка эта сочетаемость необычна, что убедительно подтверждает **наблюдения о сужении сочетаемости компонентов ФЕ при развитии фразеологической системы.**

Даже обсуждая общие вопросы статуса ФЕ и другие многочисленные спорные проблемы фразеологии, А. Бирих включает в их интерпретацию расшифровку конкретных изменений, имеющую и теоретический вес. Именно поэтому принимаемые автором за основу теоретические позиции кажутся объективными и не провоцируют дискуссий, к которым столь привержены фразеологи. Так, нельзя не согласиться с его определением фраземы на основе пяти релевантных характеристик: **раздельнооформленность (Polylexikalität), устойчивость (Stabilität), идиоматичность (Idiomatizität), воспроизводимость (Reproduzierbarkeit) и экспрессивность (Expressivität)** (с. 51–52). Значимость этих релевантных свойств фраземы, особенно **экспрессивности**, аргументируется дополнительно во многих частях работы (ср., например, с. 40, 44, 45) и др. Корректно и решение вопроса о границах фразеологии, в частности, строгое разграничение фразеологизмов и пословиц (с. 13–14). Диахроническая направ-

ленность исследования оправданно влечет за собой рассмотрение автором таких существенных проблем, как типология фразеобразованья (с. 71–78), фразеобразовательных процессов (с. 79–111), методов историко-этимологического анализа (с. 52–63) и др. Теоретическую подоплеку имеют и многие классификации, предлагаемые автором: группировка фразем по стержневому слову и выделение актуальных семантических полей (с. 81–84), классификация метонимических фразем (с. 84–90), распределение жестовой фразеологии (с. 87–89), дифференциация поля “Собственность” (с. 197–202) и др.

А. Бирих убедительно показывает, что методика структурно-семантического моделирования является надежным инструментарием диахронического анализа фразеологии и позволяет реконструировать ее исходную образную систему с той же точностью, с какой младодиграмматические методы обеспечивают конкретную этимологическую реконструкцию слова. Не случайно при этом он возвращается к “классическим” расшифровкам славянских фразем, с которых такая методика начиналась. Возвращается, обогащая эти расшифровки свежим материалом языка XVIII в. Такова, например, интерпретация фразеологизмов *ни си-ней порох*, *беречь как порох в глазе* и их вариантов (с. 216–217), которые в 1973 г., на Варшавском Конгрессе славистов Н.И. Толстой использовал для реконструкции праславянской фраземы **čьrno podъ nogъetъ*.

Яркий, самостоятельный, добытый многолетними и многотрудными поисками фразеологический материал, ставший объектом анализа в работе А. Бириха, имеет также самодовлеющую ценность для понимания специфики русского языка XVIII в. Уже само количество фразем, извлеченных автором из разных источников, впечатляет: оно превышает 5000 единиц (ср. с 4,5 тысячами современных фразем, составивших корпус “классического” словаря под ред. А.А. Молоткова). При этом А. Бирих скромно не включает в это число многие варианты и параллели к таким фраземам XVIII в., добытым им из диалектных и иноязычных словарей. Материал разговорной, диалектной речи и просторечия вообще красной нитью проходит через всю работу, ярко демонстрируя динамичность фразеологической системы исследуемого периода. Вот лишь несколько характерных примеров: *бегать как леший от козла от кого* (с. 121), *бежавши от волка, по-пасть на медведя* (с. 122), *в сапогах ходить* (с. 26, 221), *жил как у печки погорел* (с. 128), *куда ноги несут* (с. 107), *проклажаться как мышь в сметане* (с. 200), *гол как ладонь* (с. 201), *войти в зари* (с. 219). Нередко такой

материал дается целыми “гроздьями”, хорошо подтверждающими констатации автора об активности того или иного образного центра в фразеологической системе. Таков, например, ряд просторечно-диалектных оборотов с компонентом *чёрт* и его синонимами в разделе “Религия и суеверия” (с. 130–134), где сквозь призму фразеологии демонстрируются основные внешние и функциональные характеристики русского дьявола.

Во многих местах книги А. Бирих предлагает читателю **массу уместных славянских параллелей** к анализируемому материалу – например, блр., польск., чеш., словен., хорв. и серб., болг. и др. к оборотам *стоять как вкопанный* (с. 55–56), *пускать пыль в глаза* (с. 61), *правая рука* (с. 152), *жить как мыши в крупе* (с. 177), *ни рак ни рыба* (с. 178), *быть на краю гроба (могилы)* – с. 204) и мн. др. Эффективным аргументом в пользу доказательства европейского влияния на русскую фразеологию XVIII в. являются и постоянно приводимые А. Бирихом параллели из латинского, немецкого, голландского, французского, английского и других языков. Они нередко помогают не только определить направленность языкового взаимодействия, но и прояснить внутреннюю форму некоторых русских оборотов – ср. русск. *прижать к ногтю* и нем. *sich etw. unter den Nagel reißen, jmdn. an die Kandare (unter die Fuchtel) nehmen* (с. 228).

Анализ взаимодействия “национальное – интернациональное” в составе русской фразеологии XVIII в. вообще является одной из теоретических и практических доминант исследования А. Бириха. Его предшественников интересовали прежде всего прямые лексические заимствования типа *парикмахерская* или *Кунсткамера*, которые легко обнаруживаются и доказываются. Задача автора оказалась намного сложнее, ибо большинство европейской фразеологии проникло в русский литературный язык путем калькирования, “переодеваясь” в собственно русские языковые одежды и в этом – основная специфика фразеологических заимствований по сравнению с заимствованиями лексическими (с. 150 и сл.). А. Бирихом разработана эффективная методика обнаружения таких фразеологических калек, основанная как на учете детализированной вариативности той или иной идиомы, так и на их скрупулезной хронологизации, диагностике первой фиксации (с. 150–172). При этом проблема датировки справедливо считается особенно важной, “ибо первая половина XVIII века подвержена немецкому (а для Петровской эпохи также голландскому) влиянию, в то время как во второй половине этого века на русский язык оказывает влияние французский и

несколько менее – немецкий. Применение описанной методики и анализу всего материала может опровергнуть широко распространенное мнение, что в русском языке доля калек из немецкого языка по сравнению с кальками из французского незначительно” (с. 171–172). Этот вывод для исторической фразеологии русского языка трудно переоценить, а методика, разработанная автором книги, наверняка найдет свое продуктивное применение и при исследовании фразеологических заимствований в других славянских языках. В частности, ее уже эффективно применила русская богемистка Л.И. Степанова [Štěpanova 2003] при диахроническом анализе чешской фразеологической системы. В исследовании же А. Бириха данная методика увенчалась рядом точных квалификаций русских идиом именно как германизмов (с. 153–154, 162–167 и др.) или голландизмов (с. 162, 228 и др.), а не как галлицизмов. При этом учитываются не только собственно языковые факторы заимствования, но и экстралингвистические и даже субъективные, – например, владение Екатериной II как немецким, так и французским языком.

Важным инструментарием историко-этимологического анализа для А. Бириха является также методика семантического поля с учетом фразеологической специфики, проявляющейся в концентрации полей вокруг экспрессивных, характерологических концептов. Примером удачного анализа такого рода является анализ поля “Смерть” (с. 96, 203–211), где экспрессия создается как за счет табу соответствующих понятий, так и стилистическими средствами. И здесь общетеоретическая “дальнобойность” проблемы не препятствует концентрации внимания на главном – диахроническом аспекте исследования. Собственно диахронической процедурой является и семантическое распределение фразеологии XVIII в. по тематическим циклам (Sachbereichen), дающее картину мотивационных полей (Motivationsfelder) в ее составе. Демонстрируя универсальный характер таких мотивационных полей (части тела, животный мир, религия и т.п.), А. Бирих никогда не упускает возможности выявить и продемонстрировать читателю собственно национальную специфику тех или иных анализируемых оборотов. Так, им выделяется специально тематический подраздел “Баня”, который уже со времен св. Андрея Первозванного привлекает внимание иностранных путешественников, попавших в Россию (с. 129–130), и не мог не оставить следа во фразеологии.

Объективным показателем динамичности фразеологической системы XVIII в. автор, как уже говорилось, объективно считает вариант-

ность. Вот почему в работе не только фиксируются, но и последовательно анализируются варианты самого разного порядка: морфосинтаксические (с. 236–241), структурные (с. 107–110) и лексические (с. 101–107; 200, 207, 230–235 и др.). Последнему типу варьирования справедливо уделено особое внимание, ибо именно оно отражает специфику развития фразем.

В рецензируемой работе немало и отдельных метких наблюдений, значимых для славянской фразеологии, например: специализированный анализ устойчивых сравнений как особой структурно-семантической группы фразем (с. 90–95; 241–246); рассмотрение механизма Volksetymologie und Figura etymologica как особого способа фразеобразования (с. 44, 100 и др.); описание оборотов библейского происхождения и их специфики в русском языке (с. 155–161 и др.); диагностика отдельных крылатых выражений (с. 155, 156) и др.

Необходимо, наконец, отметить убедительность и эвристическую ценность многих этимологических решений, предложенных А. Бирихом в ходе комплексного анализа названных выше проблем. К таковым относятся расширение оборотов как *вкопанный* (с. 55), *как стена* (с. 63), *свой царь в голове* (с. 108), *кашу заварить* (с. 125), *тугой карман* (с. 128), *ни сучка ни задоринки* (с. 138), *на одну колодку* (с. 138); *откладывать в долгий ящик* (с. 139), *плясать по чьей дудке* (с. 166), *иметь булавку в голове* (с. 169), *подводить кого под монастырь* (с. 179), *дуван дуванить* (с. 215–216), *души не чаять в ком* (с. 234–235) и др. Автор книги не боится опровергать “классические” толкования русских идиом и критически их пересматривает. В частности, им убедительно пересматриваются и некоторые мои этимологические гипотезы – например, о выражениях *стоять на одной доске с кем* (с. 142), *убить бобра* (с. 145–149) или *ни зги не видно* (с. 57–59). Новые историко-этимологические интерпретации А. Бириха можно принять именно потому, что они убедительно подтверждаются как материалом фразеологии XVIII в., так и теоретическими постулатами автора.

Разумеется, при общей оценке научного труда А. Бириха нельзя не обратить внимания и на некоторые дискуссионные моменты фразеологической теории и практики. Сразу же хочу оговорить при этом, что такие моменты – исключения на фоне вышеозначенных бесспорных вкладов автора в эту молодую лингвистическую дисциплину. Теоретическая часть монографии, как уже говорилось, весьма подробно освещает многие актуальные проблемы славянской и немецкой фразеологии. Не всегда, однако, за этим детальным освещением мы находим однозначно сформулированное

мнение самого автора. Большая четкость и эксплицитная выраженность собственной позиции были бы в теоретической части работы, как кажется, вполне уместны.

Некоторую нерешительность проявляет А. Бирих также при историко-этимологической интерпретации таких фразеологизмов, где его богатый материал и исследовательская интуиция могли бы дать новое оригинальное решение. Так, варианты фраземы *втирать очки* ‘обманывать’ – *надевать очки кому, поставить очки кому*, зафиксированные автором в языке XVIII в., и найденный их немецкий прототип *jmdm. eine Brille aufsetzen* (с. 194), как кажется, подсказывают кардинальный пересмотр знаменитой интерпретации В.В. Виноградова, который возводил этот оборот к картежному аргю; а выражения *натянуть нос кому, наставить (приставить, наклеить, налепить) нос кому* и т.п. и немецкая жестовая символика “lange Nase” (с. 196) дают весомый материал для опровержения традиционной “чисто русской” версии выражения *оставить кого с носом* – якобы восходящего к формуле народного свадебного отказа типа *jmdm. einen Korb geben*. Автор, к сожалению, такого интерпретационного шага не делает.

С другой стороны, при всей “материальной” фундированности некоторых предлагаемых А. Бирихом этимологий не все они представляются окончательно приемлемыми. Так, автор вместо моей расшифровки оборота *с копылов долой* на основе диалектн. *копыл* ‘короткий брусочек, вставляемый или вдальбливаемый в полость для опоры верхней части саней’ и древней мифологической связи погребальных саней со смертью предлагает семантизацию слова *копыл* как ‘нога’ и приводит, казалось бы, убедительный ряд лексических вариантов, образующих фразеологическую модель “с ног долой” → “умереть”: *с коньт (копытков) долой, с катушек долой, с коньков долой*, где соответствующие слова переносно обозначают нижнюю конечность (с. 60). С такой связью можно согласиться, однако более глубокий семантический анализ субстантивных элементов приводимого фразеологического ряда показывает, что их переносность имеет разные образные истоки и должна по-разному интерпретироваться. Так, выражение *с коньков долой* – как и *отбросит (откинуть, шаркнуть) коньки* ‘умереть, скончаться’ восходит к воровскому аргю, где *коньки* и *кони* значат ‘сапоги’, ‘обувь’ и имеют финское происхождение: фин. *konka* – ‘башмак’ [Ларин 1931: 115–116]. Переносное значение лексемы *копыл* в интересующем нас фразеологизме, как кажется, – метафора иного образного порядка

и отсутствие славянских и европейских параллелей к приведенной автором модели, а также инновационный характер вариантов *с катушек долой* и *с коньков долой* настораживает и оставляет пока до конца неопроверженной “санную” мифологическую интерпретацию.

В некоторых (также весьма редких) случаях **этимологические экскурсы А. Бириха можно еще более расширить**. Так, при в целом верном отнесении оборота *бросать (пускать) пыль в глаза кому* к средневековой (и античной) практике единоборства (с. 194) не лишней была бы и ссылка на еще более древнюю практику боевых действий, известной у восточных народов (например, в древней Индии) “пускать пыль в глаза” приближающемуся войску противника специальным конным отрядом.

Весьма облегчает ориентацию в богатом материале монографии “Указатель фразем” (с. 283–317) и “Предметный указатель” (с. 319–321). К сожалению, однако, некоторые отсылки на соответствующие страницы книжного текста в первом указателе неточны: например, *ФЕ прижать к ногтю* находим не на с. 232 (с. 299), а на с. 228; *в сапогах ходит* (с. 305) — не на с. 125, 225, а на с. 126, 221; блр. *пад рукой (рукамі)* – не на с. 231 (с. 313), а на с. 227 и т. д. Такого рода опечатки вызваны, вероятно, техническими причинами и легко устранимы.

В заключение хочется подчеркнуть, что насыщенное свежим, самостоятельно добытым материалом исследование А. Бириха – решительный шаг во фразеографическую практику. Не случайно автор монографии уже принялся за составление полного словаря русской фразеологии XVIII в., в котором весь этот материал получит системное описание: ведь рецензируемый труд – надежная основа для такого словаря, которого нет еще пока в русистике. Теоретически же, как мы видели, его исследование является фундаментальным вкладом в историческую фразеологию русского языка, чем немало дает и общей славистике. Автор упорным и последовательным лингвистическим анализом раскрыл многие тайны русской фразеологической системы XVIII в., приблизив тем самым нас и к пониманию ее современной специфики. Теоретическая основательность, вдумчивый анализ конкретных фактов, точность дефиниций, корректность классификаций и проникновение в глубины анализируемого материала – основные научные качества исследования гейдельбергского слависта. Книга А. Бириха еще рельефнее очертила контуры языка XVIII в., столь значимого для истории языка и культуры России и Европы.

- Алтайбаева 1983 – Д.Ю. *Алтайбаева*. Фразеологические кальки, абсолютно эквивалентные и индуцированные обороты (на материале русского литературного языка XVIII в. и современного казахского литературного языка): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
- Жмурко 1980 – О.И. *Жмурко*. Глагольная фразеология русского языка второй половины XVIII века (на материале басни): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1980.
- Ларин 1931 – Б.А. *Ларин*. Западноевропейские элементы русского воровского аргота // Язык и литература. Т. 7. Л., 1931.
- Палевская 1972 – М.Ф. *Палевская*. Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в. Кишинев, 1972.
- Палевская 1980 – М.Ф. *Палевская*. Материалы для фразеологического словаря русского языка XVIII века. Кишинев, 1980.
- Рогожникова 2003 – Р.П. *Рогожникова*. Сокровищница русского слова. История большой словарной картотеки Института лингвистических исследований РАН. СПб., 2003.

- Федоров 1973 – А.И. *Федоров*. Развитие русской фразеологии в конце XVIII – начале XIX в. Новосибирск, 1973.
- Шевякова 2003 – Т.В. *Шевякова*. Фразеология русского языка XVIII века (именные фразеосочетания): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Алматы, 2003.
- Otten 1999 – F. *Otten*. Zur Geschichte einiger russischer Phraseologismen // K. Grünberg, W. Potthof (Hrsg.). *Ars Philologica*. Festschrift für Baldur Panzer zum 65. Geburtstag. Frankfurt-am-Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Wien, 1999.
- Otten 2000 – F. *Otten*. Der älteste Beleg des russischen Sprichwörtes *Sidi u morja – da ždi pogody* // ZfSl. 2000. № 3; № 4.
- Otten 2001 – F. *Otten*. Zu einigen russischen Phraseologismen des 17./18. Jahrhunderts (I + II) // ZfSl. 2001. № 3; № 4.
- Otten 2002 – F. *Otten*. Russische Phraseologie im europäischen Kontext // ZfSl. 2002. № 3 (47).
- Stěpanova 2003 – L. *Stěpanová*. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Olomouc, 2003.

В.М. Мокиенко

Л.Э. Калнынь. Синтагматика сонантов в славянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 11. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2005. 192 с.

В последнее время появилось много описаний фонетики современных славянских языков/диалектов, которые свидетельствуют о существенных расхождениях в их звуковых системах. В большей своей части эти различия возникли уже после падения редуцированных, вызвавшего появление новых сочетаний звуков, которые в дальнейшем подверглись индивидуальным для каждого диалекта модификациям. Понять и объяснить глубинный механизм различных в разных славянских языках/диалектах преобразований на уровне фонетики, как оказалось, можно только путем тщательного изучения синтагматического поведения гласных и согласных в рамках фонетического слова и выявления правил звуковой синтагматики – причем в максимальном количестве славянских диалектов. В новой монографии Л.Э. Калнынь в п е р в ы е в славистике исследуется на материале современных славянских диалектов синтагматика немногочисленного и слабо изученного класса сонантов (или сонорных), занимающих промежуточное положение на шкале различий между гласными и шумными согласными. Можно предположить, что именно особенность сонантов как “промежуточных” звуков и обусловила многообразные и, возможно, наи-

более (по сравнению с другими классами согласных) различающиеся по диалектам характеристики.

В то же время синтагматика сонантов не стала в лингвистике предметом специального и пристального внимания. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что сонорные согласные после падения редуцированных составляли, хотя и ограниченный по составу, но специфический и сложный по своей организации класс, и это создавало большие трудности в исследовании их синтагматики в славянских диалектах в сопоставительном аспекте. Труд Л.Э. Калнынь, посвященный анализу именно синтагматики смычно-проходных согласных – назальных, латерального и вибранта, а также спирантов – среднеязычного и губного (т. е. их позиционным изменениям и влиянию на окружающие сегменты в современных славянских диалектах), и ставит перед собой цель восполнить этот пробел.

Монография “Синтагматика сонантов в славянских диалектах” состоит из восьми разделов, в которых анализируются конкретные сонанты, формулируются выводы и, наконец, приводится внушительный список литературы, имеющий в той или иной степени отношение к исследуемому в работе вопросам. Разделы, по-

священные сонантам, построены единообразно: после описания артикуляции соответствующих согласных, дается исчерпывающий анализ синтагматического поведения каждого конкретного сонанта в славянских диалектах и приводится убедительная интерпретация буквально всех зафиксированных и известных автору изменений в группах с сонантами, которые затрагивают как сонанты, так и соседние с ними шумные согласные и гласные; при этом очень четко разграничивается направление всех изменений (регрессивные, прогрессивные), определяется их содержание (ассимиляция или диссимиляция) и указываются те импульсы, которые вызывают данные изменения (это могут быть либо сами сонанты, либо соседние согласные, гласные и пауза; это может быть и характер синтагматического воздействия, т.е. контактные и дистантные связи между согласными в рамках фонетического слова). Описание каждого сонанта завершается очень полезным и информативным «списком интерпретируемых в разделе фонетических явлений», который представляет собой систематизацию и классификацию всех известных на сегодняшний день в современных славянских диалектах изменений, связанных с конкретными сонантами. Такая структура работы дает возможность сопоставить имеющийся материал и увидеть все сходства и различия в диалектном синтагматическом поведении каждого сонанта.

В кратком, но содержательном «Введении» (с. 3–9) Л.Э. Калнынь отмечает, что сонанты (сонорные) объединяются в особый класс на основе, во-первых, общих свойств артикуляции (в их образовании голос играет главную роль, а шум участвует в минимальной степени) и, во-вторых, их во многом одинакового синтагматического поведения (что очень важно, так как в ряде случаев именно анализ синтагматики является решающим фактором включения некоторых шумных согласных в класс сонорных, ср., например, судьбу согласных *v*, *w* в отдельных славянских диалектах).

Характерно, что история изучения сонантов имеет свои особенности. Так, из опубликованных работ нам достаточно хорошо известно, что в праславянский период сонорные играли организующую роль в построении звуковой последовательности и сегментирования ее на слоги. Что же касается современных славянских языков/диалектов, то изучение как самих сонантов в качестве звуковых единиц, так и правил их включения в звуковой контекст, носит подчас случайный характер, что не дает целостной картины этого фрагмента славянской фонетики. Между тем именно после падения редуцированных существенно изменилось про-

странство синтагматики сонантов. Возникли принципиально новые сочетания с сонорными согласными (сонант + шумный согласный, шумный + сонант, два сонанта, сочетания сонантов с гласными и паузой); трансформировалась и допустимая дуга сонорности в позиции начала слова и перед паузой. Славянская фонетика отреагировала на это разнообразными изменениями во вновь возникших сегментах. Компоненты новых сочетаний подверглись разнонаправленным изменениям, что явилось причиной появления в отдельных диалектах многообразных и дробных реализаций изначально одинаковых сочетаний с сонантами (ср., например, различную судьбу по диалектам таких сочетаний, как *mn*, *dn*, *bm*, *ln*, *dl*, *sr*, *jk*, *Cj*, *bv*, *vl* и мн. др.). В результате синтагматика сонантов стала показателем уровня использования в фонетике языка/диалекта признаков вокальности/консонантности, имеющих типологическое значение.

Наибольшее разнообразие в модификациях отмечено в сочетаниях с назальными сонантами (с. 10–50). На основе изучения большого материала, извлеченного из диалектных карточек, описаний разных славянских диалектов и собственных диалектных записей (автор учитывает даже единичные примеры), Л.Э. Калнынь приходит к выводу о синтагматической активности согласных *n*, *n'*, *m*, *m'* во многих славянских диалектах. Именно данные сонанты вызывают различные изменения других согласных. Например, по признаку 'место образования' сочетания взрывных звонких и глухих с назальными (*tn*, *dn*, *pm*, *bm*) артикулируются как один назальный согласный – зубной и губной 'щелчковые' (термин М.В. Панова); при этом различия по говорам могут быть обусловлены: глухостью/звонкостью согласных (при наличии изменений типа **dn > nn*, **bm > mm* сочетания типа **tn*, **pm* во многих диалектах сохраняются без изменения, так как большая напряженность глухих препятствует ассимиляционному воздействию носовых сонантов), а также локализацией в зубном или губном ряду (так, изменения типа **dn > nn* – по сравнению с **bm > mm* – распространены в славянских диалектах значительно шире, характеризуются большей активностью и являются более устойчивыми при синтагматическом воздействии соседних согласных). Проанализировав очень тщательно такие известные в фонетике синтагматические изменения, как прогрессивная и регрессивная ассимиляция и диссимиляция, Л.Э. Калнынь останавливается еще на одном, особом, виде синтагматических изменений, который состоит в позиционном повышении уровня голосности/сонорности назального сонанта (или – понижения уровня его

консонантности), что достигается путем устранения смычки в артикуляции сонанта и превращении его в проходной согласный, т. е. $n > \eta$, $m > \mu$ (ср. болг. *m'uzux*, *k'uf'eti*, *icfart*). В итоге анализ синтагматики данных сонорных согласных позволил автору принять неординарное парадигматическое решение и внести, тем самым, определенные коррективы в традиционные представления о существовании в славянских диалектах назальной корреляции, образуемой сонантами n , n' , m , m' с взрывными зубными и губными (ср., например, точки зрения Н.С. Трубецкого и Р.И. Аванесова). Сопоставляя в разных диалектах синтагматику n , n' и m , m' и характер оппозиций, в которые они вступают, Л.Э.Калнынь сделала убедительный вывод о том, что фонемы, представленные губными назальными m , m' , не имеют ДП назальности; этот ДП (наряду с зубным рядом и смычно-проходным способом образования) присущ только фонемам $/n/$ и $/n'/$, и реализуется он в оппозиции с фонемой $/l/$ (ее ДП – зубной ряд, смычно-проходной способ образования и неназальность); это свидетельствует о фонематической асимметричности зубного и губного сонантов.

В разделе о латеральном сонанте (с. 52–71) Л.Э. Калнынь напоминает, что славянские диалекты различают два вида латерального переднеязычного зубного согласного: двуфокусный веларизованный согласный ʃ и однофокусный невеларизованный согласный l . В лингвистической литературе отсутствует единое мнение об их хронологическом соотношении. На основании анализа синтагматики ʃ и l в современных славянских диалектах Л.Э. Калнынь приходит к выводу, что, скорее всего, исконным следует считать именно невеларизованный латеральный сонант. Кстати, список современных фонетических явлений, релевантных для интерпретации синтагматики латерального сонанта (он приведен в конце раздела), сравнительно небольшой. Но, в отличие от назальных согласных, латеральный сонант претерпевает значительные модификации не только в консонантных группах, но и в позиции перед гласными и паузой. В сочетаниях с согласными он подвергается ассимиляционным и диссимиляционным воздействиям, а также легко преобразуется в гласный (ср. в l - ptc – в словен. *né:su*, *'daru*; в серб. *itáo*; в хорв. *débeo*). Замена сонанта гласным в сочетании Cl имеет целью устранить перевернутую дугу сонорности в слог: создается новый слог, характеризующийся восходящей дугой сонорности $\sim V/CV\#$. Данная синтагматическая особенность части южнославянских диалектов типологически относит их к “радикально вокалическому” типу (А. Исаченко). В работе убедительно по-

казано, что чаще всего именно латеральный сонант является объектом синтагматического воздействия со стороны окружающих сегментов (изменяясь, например, в ряде позиций в биллабиальный согласный – ср. макед. *'vouna*, *'orec*, укр. *вбуна*, *біу*), однако может и сам оказывать воздействие на соседние взрывные согласные (ср. укр. гуц. *m'iklá*, *klumok* – в результате регрессивной ассимиляции по месту образования: $*tl > kl$). Интересным явлением следует считать и замену латеральным первого из двух шумных согласных – как следствие регрессивной диссимиляции по уровню сонорности (ср. $*tp > lp$, $*dg > lg$ и др. – в хорв. *'polpis*, *'olgovor*), а также мену латерального и вибранта в рамках фонетического слова (ср. болг. *колідор*, *ріль*). Нередки случаи, когда данный согласный оказывает воздействие на артикуляцию гласных (ср. польск. *p'ut*).

Переднеязычный сонант – вибрант r , r' (с. 72–85) так же, как и другие сонанты, подвержен в славянских диалектах синтагматическим обусловленным изменениям, которые связаны прежде всего с разной степенью десоноризации (оглушения) r и r' ; кроме того, на месте палатального/палатализованного вибранта во многих диалектах употребляется твердый вибрант (т.е. $r' > r$, $r' > rj$). Чрезвычайно интересен материал, впервые целостно рассмотренный в качестве отдельного фрагмента славянской фонетической синтагматики, который свидетельствует об особых взаимоотношениях вибранта и латерального сонанта в пространстве слова в некоторых славянских диалектах: сочетания двух вибрантов или вибранта и латерального, разделенных другими звуками ($r - r$, $r - l$, $l - r$), могут подвергаться неконтактной диссимиляции как прогрессивной, так и регрессивной (ср., например, польск. *lubryka*, хорв. *slebrò*, болг. *колідор*, русск. прост. *кульёр*; чеш. *brblati* < $*blblati$; русск. *прóлубь*, болг. *гардилон*; болг. *парцаре* < $*parcáли$; макед. *ʃáro* < $*ralo$; болг. *ріль* < $*лира$). В ряде случаев такие изменения имеют эффект метатезы (ср. русск. разг. *лерігія*, *фёршал*). Взаимная мена вибранта и латерального сонанта может происходить и перед гласным, и перед паузой (ср. сев.-русс. *костыр'*, *вал'ежки*; укр. *játer* < $*dятел$, болг. *жёръди* < $*желъди$). Взаимное перемещение сонантов r и l в рамках словоформы является следствием того, что они воспринимаются говорящими как компоненты некоего целостного образования (отметим и определенную аналогию с назальными сонантами, которые также могут взаимозаменяться, но только в условиях непосредственного контакта с активным компонентом сочетания – ср. русск. *конб'инат*, блр. *канпóт*, болг. *пáнвам*, *кумс'ёрв'и*, *пéсми*).

Специальное внимание в этом разделе уделяется также вставке зубных *t, d* в исходные сочетания **sr, *zr, *žr*, что можно объяснить наличием напряженной артикуляции фрикативных (ср. русск. *струб*, укр. гуц. *уздр'іу*, словац. *streda, stribro/stribro*, макед. *здрав*, болг. *ждрѣбна*). Однако в некоторых южнославянских диалектах зафиксировано как бы противоположное явление, а именно – утрата *t, d* из исконных сочетаний **str, *zdr* (ср. макед. *сѣсра, зраф*, болг. *срах, нѣсру*, словен. *zrā-wa*), обусловленная ненапряженностью вибранта и фрикативного согласного в указанных говорах. Следует отметить, что исходный материал, иллюстрирующий многие явления, связанные с синтагматикой вибранта, носит, к сожалению, случайный характер.

Исследование синтагматики среднебального звонкого фрикативного согласного – *спиранта j* (с. 101–134) позволило Л.Э. Калынь сделать важный вывод о его слабой синтагматической активности. При характеристике артикуляционных особенностей этого согласного существенным является факт различного в разных диалектах уровня его напряженности, который является неустойчивой чертой; он, в зависимости от позиции и темпа речи, может быть разным не только в разных говорах, но и в одном и том же идиоме, формируя внутри- и междиалектную вариативность. Данное обстоятельство позволяет давать разные фонематические интерпретации спиранта *j*; автор в своем исследовании исходит из его консонантного статуса. До последнего времени описания явлений, связанных с употреблением этого согласного, носили достаточно случайный характер. А между тем указанные явления, как справедливо отмечает Л.Э. Калынь, заслуживают пристального внимания и именно в масштабе всего славянского континуума в сопоставительном плане, что позволило бы определить те структурные особенности диалектов, которые обуславливают изменения, связанные с *j*, и объясняют причины варьирования. Вариативным в славянских диалектах является, например, повышение или понижение насыщенности звучащей речи спирантом *j*. В связи с тем, что способы понижения частоты данного спиранта в речи, в принципе, немногочисленны и однообразны (ср. укр. *жит' m'á, колбс' c' / алколбс' a* вместо сочетания *Cj*), а способы повышения частоты его употребления более разнообразны (это, прежде всего, появление “немотивированного” или вставного *j*), Л.Э. Калынь подробно останавливается на анализе явлений, связанных с повышением частоты встречаемости *j* в звучащей речи, что зависит, в основном, от наличия сегментного контекста высокого тона. Это может быть за-

мена спирантом: мягких согласных (ср. макед. *пѣлѣџа* – на месте суффикса *-ин'а*, болг. *пѣџа* вм. *л' ел'а*, укр. *йўстро* вм. *л'ўстро*; русск. *импрпой* вм. *под'*, макед. *вѣџат* вм. *вѣд' ат/вѣг' ат* и др.); мягкого и твердого фарингального/заднебного спиранта (ср. русск. *н'урајџ*, укр. *обор'іј, сн'іј*, а в случае ослабления шумового составляющего и голоса – укр. *р'і, сн'і*, в.-луж. *р'іu*); губного спиранта *w', v'* (в передней артикуляционной зоне), что объясняется несовместимостью губной и среднеязычной артикуляции (ср., например, русск. *любóл'j*, в *Росмóл'ju*, хорв. *sjédok*, с.-луж. *jazany*). Славянским диалектам известно также явление разложения (декомпозиции) палатальных/палатализованных согласных на последовательность, содержащую спирант *j* (например, болг. *койн*, макед. *којн, имџне, кџк'а*, польск. *k' ešeјn*; макед. *банја*, словен. *iljada*, хорв. *морје*). Кстати, развитие *j* перед согласным обусловлено антиципацией согласного высокого тона и приоритетом палатальной (йотовой) артикуляции, а выделение спиранта после мягкого согласного свидетельствует о понижении значения артикуляции высокого тона, что часто приводит к отвердению согласного. Участвует спирант *j* и в девонализации некоторых гласных (ср., например, болг. *хаз'áйн*, макед. *гојдо*, укр. *#йду*). Известны также случаи появления “вторичного” *j* в сочетании *V-C* (ср. хорв. *šџst*, серб. *pџsti je*, болг. *зимџс*). Важно, что случаи “немотивированного” появления *j* не нарушают правил консонантной синтагматики в соответствующих славянских диалектах, так как они (эти случаи) лишь расширяют состав уже имеющих сочетаний *j* с гласными, согласными и паузой. Однако наиболее яркая насыщенность звуковых последовательностей йотом в южнославянских диалектах (она отражает особенности артикуляционной базы указанных говоров) значима, так как дает еще одно основание для отнесения их фонетических систем к системам вокалического типа.

В разделе о губном сонанте – спиранте *v/w/џ* (с. 136–168) Л.Э. Калынь особо подчеркивает, что по своей синтагматике он занимает промежуточное место между гласным и шумным согласным и поэтому может изменяться как в том, так и в другом направлениях (в этом плане губной сонант проясняет типологическое сходство со спирантом *j*). Взаимная мена спирантов *v/w/џ* в зависимости от позиции и правил синтагматики того или иного диалекта обуславливает варьирование уровня голосности/сонорности звуковой последовательности: *v > w, џ, u* означает повышение голосности, а *u > џ, w, v* – ее снижение. Это приводит к появлению дублетов (вариантов) слов/морфем, которые могут различаться

между собой по количеству слогов. В артикуляционном отношении для данных спирантов релевантными являются признаки билабиальности (*w*, *ɥ*) и лабиодентальности (*v*). Для праславянского периода исконным традиционно считается **w*. В истории конкретных славянских языков первичность билабиального спиранта принята для польск., словац., с.-луж., словен., хорв., серб., макед. диалектов; для прарусского языка допускается сосуществование **v* и **ɥ*. В большинстве современных славянских диалектов губной спирант характеризуется синтагматической пассивностью. Близость его к шумным согласным проявляется в том, что он может в соседстве с глухими согласными, сонантами и гласными терять голос, а также заменяться другими шумными согласными (ср., например, русск. *тфо́jó*, болг. *сфин'á*, макед. *зfat*, польск. *bitfa*; болг. *фли́за*, *фнóси*, макед. *фнук*, серб. *фра́:bac*; словен. *hino < vino*, *zgûn < zvon*, чеш. *brabec < vrabec*, польск. *gdoveclvdovec*, словац. *gdova*).

В монографии подробно интерпретируется особая ситуация в некоторых диалектах (например, в западноукраинском надысанском говоре), когда происходит замена губного спиранта заднеязычным спирантом (ср. взаимозаменяемость между согласными *v*, *f* – *h*, *x*, их свободное варьирование: *учéний* – *вчéний* – *фчéний* – *хчéний*). Л.Э. Калнынь отмечает, что это синтагматическое явление имеет последствия на парадигматическом уровне, и делает следующий вывод: в данном украинском диалекте имеется специальная фонема /*h*>/, которая имеет ДП фрикативности и веларности, но не имеет ДП локального ряда; она реализуется губными и заднеязычными согласными (ср. *х пй́эцу*, *х сiл'í*, *ф сут*, *вмер*). Именно из-за функциональной незначительности признака “локальный ряд” он и может варьироваться в пределах, допустимых в рамках низкой тональности. Данная фонема всегда употребляется в начале словоформы и участвует в оформлении дизеремы, сигнализирующей межсловную границу. Замена инициального губного спиранта заднеязычным спирантом отмечена также в словац., чеш., словен. и хорв. диалектах. В данном разделе подробно рассматривается и другое интересное явление: параллельное употребление звуков *у*, *ý*, *ø* в некоторых украинских говорах (ср., например, укр. *по́у́мерáло*, *навч́и́ти*, *науч́и́ти*; у *Ада́ма*, *ý Олэ́ни*, *в осeни́*), реализующих также особую фонему, не тождественную ни /*у*/, ни /*в*/: для этой особой фонемы /*ý*/ признаки гласности/негласности функционально незначимы – релевантной для нее является ДП губного ряда. В украинской фонетике данную фонему представляют взаимозаменяющиеся безударный гласный *у* и спиранты *ý*, *w*, *ø*;

она используется как дизерема, т.е. межсловный, реже – межморфемный сигнал.

Обобщение результатов анализа включения сонантов в фонетический контекст даны в 5-м разделе (о правилах синтагматики *n*, *m*, *l*, *r*) и в общем Заключение.

Здесь обращается специальное внимание на те явления славянской фонетической синтагматики, которые направлены на сохранение уровня сонорности сонантов. К ним относятся, например, вставные гласные: в некоторых русских говорах они подерживают консонантный статус сонанта (ср. *с' в' óк'ла*, *ýт'гьр'ьм*, *ку'фьн'а*, *тп'í б'р'ята*, *р'ьван'йó*, *каль'ндк*), а в словенском говоре – акцентируют голосность сонанта с целью разделения скопления согласных слоговой границей (ср. *kəp'í:wa*, *bərsà:uka*).

Нарушение традиционного контура восходящей сонорности в начале слова (сочетание SonC) компенсируется развитием инициального или вставного гласного (ср. русск. *цр'ж́и*, *ал'гун*, *имнэ́*; макед. *ла́га*, *ма́гла*; хорв. *xér'da*, *lagát*).

Возникшая после падения редуцированных нисходящая дуга сонорности в конце слова (CSon) корректируется силлабизацией сонанта или вставным гласным (ср. болг. *мо́гъл*, *сéдьм*; макед. *сéдом*; хорв. *dóbər*, *vétər*; чеш. *brater*), что также направлено на сохранение уровня сонорности сонанта. Если же сонорность согласного не имеет приоритетного значения, то сонант оглушается или утрачивается (ср. примеры из русских говоров, представляющих фонетические системы консонантического типа: *l-pts* – *н'ос*, *осл'én*; *н'от* < *Пeтp*, *p'емат'úс*).

В своей монографии Л.Э. Калнынь совершенно справедливо подчеркивает тот главный импульс в с е х синтагматических изменений (как ассимиляционных, так и диссимиляционных), который заключается в стремлении к произносительному удобству, поскольку фонетическое изменение в принципе не может стремиться к затруднению произношения. Но в связи с тем, что это удобство носителями разных диалектов ощущается по-разному, исходные одинаковые сочетания ведут себя также по-разному в разных славянских диалектах, создавая подчас очень сложные диалектные различия. Эти различия в сочетаниях с сонантами могут быть обусловлены и другими факторами, в частности, уровнем сохранности архаических отношений при образовании консонантных последовательностей, что связано с наличием контактных и дистактных взаимодействий между звуками в рамках фонетического слова. Контактная связь, т.е. прогрессивно направленное изменение, при котором первый звук влияет на артикуляцию второго, является онтологическим свойством

любой, связано произнесенной звуковой последовательности, относится к архаическому слою и встречается в славянских диалектах достаточно редко. Дистактная же связь, лежащая в основе регрессивно направленных фонетических изменений, – это явление инновационного типа, возникшее, как правило, уже после падения редуцированных. Так, например, в работе сделан важный вывод о том, что в сочетаниях с назальными сонантами реже встречаются результаты изменений по контактному типу (т. е. с онтологической зависимостью второго согласного от первого – ср. $dm > dn$, $mn > ml$ и др.); такой архаический компонент славянской фонетики отмечен в южнославянских диалектах. Значительно чаще в славянских говорах находим изменения, вызванные дистактными связями и обусловленные антиципацией второго согласного при выборе первого; эти изменения могут способствовать либо устранению артикуляционного контраста (ср. $bm > mm$, $dn > nn$; $nb > mb$, $bn > vn$, $vn > mn$), либо его увеличению – с одновременным облегчением шумо-прохождения в линейной последовательности (ср. $bm > gm$, $tm > km$, $dn > gn$, $mn > xn$), что можно рассматривать как один из вариантов произносительного удобства.

Исследование Л.Э. Калнынь показало, что синтагматика сонантов в славянских диалектах не дает оснований объединять эти согласные в одну однородную группу. Разнообразие синтагматических характеристик сонантов обуславливает их разбиение на отдельные классы, среди которых преобладают одночленные. Этому не противоречит наличие некоторых общих тенденций, влияющих на судьбу сочетаний с сонорными согласными. Релевантными признаками при изменении звуковой последовательностей с сонантами можно считать, например, принцип антиципации и степень активности/пассивности самих сонантов. В работе показано, что наибольшее количество изменений в сочетаниях вызывают назальные согласные, значительно меньшую активность проявляют латеральный, вибрант и губной сонанты, низкая синтагматическая активность отмечена у среднеязычного спиранта j (в большинстве славянских диалектов; исключение составляют южнославянские говоры, в которых существует тенденция насыщать звучащую речь спирантом j за счет употребления этимологически немотивированного спиранта и декомпозиции палатальных согласных). Л.Э. Калнынь высказывает убедительное мнение о том, что данное явление в говорах Южной Славии не относится к сфере синтагматики j , а отражает особенность артикуляционной базы диалектов, склонных к образованию среднеязычной фрикации. Важной характеристикой сонантов

является также и их подверженность прогрессивной ассимиляции по снижению голоса. Наименее склонны к этому назальные согласные, наиболее – вибрант, который в результате оглушения может заменяться переднеязычным фрикативным согласным (ср., например, н.-луж. *tšuznik*, *tšuna*).

К достоинствам работы следует отнести огромный объем материала, исследуемого Л.Э. Калнынь. Ею проанализированы буквально все зафиксированные в существующих диалектных источниках сочетания с сонантами, вплоть до единичных (ср., например, укр. *прѣдник*, где $ln > mn > dn$, болг. *плѣнна* < *платна*, *пѣсни* < *песни*; русск. *ф. комноте* < *в комнате*; словен. *žotna*, где $ln > mn$). Для самых различных и сложных сочетаний с сонантами (как широко распространенных и имеющих значительное последовательно проведенного позиционного явления, так и редких и, казалось бы, необъяснимых) Л.Э. Калнынь умеет найти причину и раскрыть механизм появления именно данной модификации. Ее рассуждения всегда характеризуются строгой логикой и поэтому являются очень убедительными. Показателен в этом отношении анализ регрессивных диссимилационных изменений в консонантных сочетаниях с носовым сонантом, в основе которых лежат дистактные связи (это $bm > gm$ и под.) и которые на первый взгляд выглядят как изменения, усложняющие звуковую цепь из-за передвижения губного согласного в заднеязычный ряд. На самом же деле в данных сочетаниях также реализован принцип удобства, более легкого шумопрохождения в линейной звуковой последовательности и устранение тем самым сложных факультальных артикуляций. Особо внимания заслуживают и оригинальные фонематические выводы, содержащиеся в работе (ср. рассуждения о фонемах $/h/$ и $/š/$, о чем мы упоминали выше). Интерес представляет также определение географических зон с точки зрения вокальности/консонантности их фонетических систем. Так, повышение уровня признака вокальности сосредоточено на юго-западе Славии, в диалектах, склонных к вокалическому типу, и отчасти на северо-востоке территории ДАРЯ. И напротив, в меньшей степени сонорное свойство сонантов проявляется в диалектах с общим высоким уровнем консонантности (н.-луж., польск., ю.-русс. говоры).

Данная работа очень насыщена с точки зрения проблем, решение которых Л.Э. Калнынь подкрепляет огромным диалектным материалом. Убедительна интерпретация сопоставляемых диалектных фактов: они в одних говорах представляют собой последовательно проведенное позиционное явление с прозрачной структурой, в других же – лексикализован-

ное явление, причем представленное в разных говорах разными лексемами (ср., например, блр. полесск. *пры н' н' і, н' еһонный, хбланно, но стьддно, халадн' ік*; сев.-русск. только *дорддно, одно*; болг. *прупадна, уд н'уб' ету, но пәннала, w'енн'иу', пдлнн'е* и т. д.). Благодаря умению найти главное в многообразии вариантов, представленных, казалось бы, в несопоставимых явлениях, автор четко формулирует те правила синтагматики, которые регулируют и определяют позиционное поведение сонантов в современных славянских диалектах.

Однако в связи с тем, что исходный диалектный материал неравноценен (о чем уже говорилось выше), в ряде случаев нельзя быть уверенным в том, что данное описываемое явление действительно отмечено в указанном языке только в приводимых единичных примерах (ср. болг. *млбго, млук*) и что свойственно оно только данному диалекту/языку (например, утрата вибранта после переднеязычных согласных – в словен.). Иногда такие ситуации в работе поясняются, но чаще они, к сожалению, остаются без комментариев. Кроме того, хотелось бы иметь более ярко выраженную ареалогическую характеристику исследуемых яв-

лений (которая в некоторых случаях все-таки дается): материал настолько обширен, что перечисление говоров и примеров, иллюстрирующих многочисленные и многообразные явления, подчас затемняют лингвогеографический (ареалогический) аспект работы, хотя данная задача, по-видимому, и не стояла перед автором.

В заключение отметим, что в фундаментальной монографии Л.Э. Калнынь “Синтагматика сонантов в славянских диалектах” в п е р в ы е в славистике исследуется на материале всех славянских диалектов важнейший, но слабо изученный фрагмент славянской диалектной фонетики. По объему и качеству использованного материала, методам его анализа, строгости классификации, богатству содержания и, наконец, полученным выводам об устройстве фиксированного фрагмента фонетического строя славянских диалектов данный новаторский труд, несомненно, является значительным вкладом в современное славянское языкознание и может представлять интерес для широкого круга славистов.

Т.В. Попова

F. Bezljaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga Š–Ž. Avtorji gesel F. Bezljaj, M. Snoj, M. Furlan / Uredila M. Snoj, M. Furlan. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 494 s.

Четвертым томом завершается издание “Этимологического словаря словенского языка”, работа над которым осуществлялась в течение нескольких десятилетий. Замысел словаря относится к довоенному 1939 г., когда была создана комиссия по подготовке этимологического словаря словенского языка. В 1943 г. было опубликовано акад. Ф. Рамовшем тридцать пробных этимологических статей. В послевоенные годы работа над словарем была возобновлена Ф. Безлаем, учеником Ф. Рамовша. На протяжении многих лет вся научная деятельность акад. Ф. Безлая была подчинена изучению словенской лексики в этимологическом плане. Первый том словаря (А–Л) увидел свет в 1976 г. (см. [Куркина 1979]), а следующий второй (К–О) – в 1982 г. (см. [Куркина 1985]). После кончины акад. Ф. Безлая к работе над словарем подключились ученики академика – М. Сной и М. Фурлан. В третьем томе (Р–S), который был издан в 1995 г., значительная часть авторской работы (примерно две трети от общего объема) выполнена М. Фурлан и М. Сноем (см. [Куркина 1996; 1997]). Последний IV том, охватывающий лексику в объеме Š–Ž, почти полностью подготовлен учениками Ф. Безлая. Те немногие статьи, которые были написаны еще Ф. Безлаем (ср. топоним

Vreme, vrótek ‘источник’, *znúbelyj* ‘устье печи’, *zapítek* ‘испорченное яйцо’, *zobálo* ‘узда’ и т. д.), с учетом новой литературы дополнены комментариями его учеников (ср. *zúbelyj* ‘пламя’, *židek* ‘жидкий’, *zolití* ‘кричать’). В научных кругах “Этимологический словарь словенского языка” известен как словарь Ф. Безлая; его имя сохраняется на обложке четвертого тома – в этом проявление глубокого уважения к учителю и большому ученому, заложившему основы словенской этимологии. В эти же годы М. Сноем был подготовлен и издан адресованный широкому читателю “Словенский этимологический словарь” (1997 г. и 2003 г.), в котором в полном объеме представлена общеупотребительная лексика словенского литературного языка [Куркина 1998]. Выход в свет тех и других изданий без преувеличения следует признать событием в научной жизни. Впервые словенская лексика в полном объеме стала предметом этимологического анализа.

Этимологический словарь представляет собой большое многоаспектное исследование, в котором этимологизация слова опирается на понимание процессов в области словообразования, морфонологии и семантики. За подходами, используемыми при решении этимологических задач, стоит отношение к проблемам

сравнительной грамматики славянских языков, праславянской реконструкции, лингвистической географии и т.п. Основополагающим для концепции словенского словаря стало разработанное Ф. Безлаем положение об особой архаичности словенского языка, который согласно его теории в силу своего периферийного положения в большей степени, чем другие славянские языки, сохраняет индоевропейское наследие. Отсюда ориентация на поиски индоевропейского наследия в словенском словаре. С этим словарем связано другое методологически важное положение – принцип семантического тождества лексем при выборе славянских и индоевропейских соответствий и разработке этимологического решения. Естественно, время внесло некоторые коррективы в понимание узловых вопросов словенского лингвогенеза, однако при этом осталась неизменной общая направленность словаря на выявление особенностей словенского языка в контексте славянских и индоевропейских связей. По мере продвижения работы над словарем больше внимания стало уделяться вопросам славянского словообразования. В III и IV томах восстанавливаемая исходная структура словенского слова соотносится с действующими в славянских языках моделями словообразовательных отношений. В томах, подготовленных уже без участия Ф. Безлая, во многом доминирует подход, основанный на поиске структурных моделей, регулирующих развитие и преобразование словенских лексем в плане словообразования и акцентологии. Нельзя не отметить, что в процессе длительной работы и в связи с изменением авторского состава произошли некоторые изменения в толковательной части словарной статьи. Если Ф. Безлай, обзревая разные этимологические версии, показывает возможность и вероятность разных решений при определенных условиях, то в III и IV томах авторы занимают более определенную позицию, находя аргументы для обоснования своего решения, нередко не совпадающего с традиционным, причем при выборе этимологии существенная роль отводится показаниям акцентологии. Необходимо отметить, что статьи несут на себе печать авторской индивидуальности, что проявляется в использовании тех или иных аспектов этимологического анализа. Если в словарных статьях, подготовленных М. Фурлан, особое внимание уделяется вопросам типологии в области словообразования и семантики, то в статьях М. Сноя при использовании тех же приемов анализа в центре внимания реконструкция исходной словообразовательной структуры слова на индоевропейском уровне, поиски словенских лексем со структурой, унаследованной из индоевропейского праязыка.

Методика, применяемая в словаре, вытекает из особенностей словенского материала, который в силу объективных причин крайне ограничивает возможности использования всех приемов этимологического анализа и прежде всего приемов внутренней реконструкции. Пространство маневров сужено по причине отсутствия непрерывной письменной традиции и, следовательно, конкретных языковых фактов, позволяющих провести верификацию разрабатываемого этимологического решения. Дополнительные трудности связаны с большой диалектной дробностью словенского языка, глубокими диалектными расхождениями в фонетическом облике исторически тождественных диалектных слов. При невозможности применения корректирующих аспектов анализа реконструкция исходной формы и значения, выбор той или иной модели возможных преобразований производится с опорой на факты семантической и словообразовательной типологии. Однако в ряде случаев постулируемое авторами этимологическое решение, не прошедшее всесторонней проверки, предстает схемой, абстрактным построением, не подкрепленным анализом внутренних резервов славянского языкового материала.

Последний том, охватывающий большой фрагмент лексики в объеме букв *Š, T, U, V, Z, Ž* (примерно треть от общего объема), насыщен лексическим материалом. Авторы стремятся с максимальной полнотой представить словенский материал. Для каждого слова, вынесенного в заглавие, приводятся сведения из исторических источников (Фрейзингенские отрывки, словари Мегисера, Гутсманна и т.п.), из диалектов, причем в качестве источника привлекаются новые, недавно опубликованные словари (словари Новака, Карничара, Томинца и т.д.), а также диалектологические исследования, в том числе магистерские диссертации, дипломные работы студентов. Перечень новых источников и публикаций по диалектной лексике, современные исследования по этимологии, лингвистические атласы славянских языков, этнографические работы и т.п. приведены в “Дополнениях к библиографии”, которыми открывается IV том. Состав лексики IV тома весьма разнообразен. Здесь и общепотребительная лексика, и заимствования, и слова, извлеченные из исторических источников (ср. *zbroja* ‘сбруя’, *zakonik* ‘священник’, *zalúdo* ‘umsonst, vergebens’), и узколокальные образования, ограниченные в своем распространении отдельными диалектами (ср. *šiprun* ‘внезапный дождь’, *šipovnik* ‘каменный свод’, *šiška* ‘плохая груша’, *šivati* ‘моросить (о дожде)’, *ščavočina* ‘мясо с требухой; пленка, покрывающая брюшину’, *vížale* мн.ч. ‘ходули, костыли’),

vóraden 'редкий', vědrna 'радуга' и т.д.), и слова, почерпнутые из работ Ф. Миклошича (ср. vóz 'связь', voliši 'лучше', viš 'хлеб'). В словник включены топонимические названия (ср. Vopolje, Šiška, Videm, Vrhóvo, Izlake, Znojšle и т.д.), которые рассматриваются как один из источников утраченной или утрачиваемой лексики. На указанный отрезок словаря приходится образование с префиксами *u-*, *za-*. Отдельные, самостоятельные позиции в словаре получают префиксальные образования с сильно затемненной внутренней формой. Бесспорна ценность лексического материала, включенного в IV том. Многие из того, что вошло в словарь, слабо известно в науке или вводится впервые (ср. *tericati* 'стряхивать пыль с мешка' < *tréti*, диалект. *tičáti* 'жечь дрова', *zarúčen* 'курчавый (о волосах)' и т.д.). В целом словенские материалы обогащают наши представления о составе славянского словаря. Для ориентации в материале, для удобства пользования словарем необходим словоуказатель в качестве приложения ко всему четырехтомному изданию.

Словарь построен на сочетании гнездового подхода с отдельной этимологической разработкой отдельных слов, что требует от составителей гибкого подхода при выборе заглавного слова. При гнездовом подходе принято помещать в качестве заглавного производящее слово, соответственно производные при условии ясных мотивационных отношений – в качестве отсылочных. Авторы не всегда последовательно в распределении материала. Вокруг глагола, открывающего словарную статью, как правило, группируются все производные, в том числе префиксальные образования с отражением чередования гласных в корне, внутренняя форма многих из них затемнена и потому, на наш взгляд, нуждается в пояснении. Так, в гнезде глагола *-vréti* 'натянуть, намотать' находим образования, связанные между собой морфонологическими отношениями (ср. *-vřati*, *-vřerati* и т.п.), отглагольные имена, производные от префиксальных глаголов, с весьма глубокими отличиями в семантике (ср. *podvřra* 'деталь плуга', *zřvor* 'шлакбаум' и т.п.), многие из них заслуживают отдельного рассмотрения. При гнездовом подходе в какой-то степени восполняются пробелы предыдущих частей словаря, поскольку слова, по каким-то причинам не вошедшие на соответствующие буквы, оказываются включенными в этимологические связи. В некоторых случаях в отсылочной статье оказывается один из морфонологических вариантов слова, ср. *vlážen* 'медленный', структура которого, на наш взгляд, требует более подробного комментария в плане отношения к *vólhek I*. В то же время можно найти немало примеров раздельной трактовки

производных с довольно прозрачными семантическими связями: ср. образования с корнем *zelen-*: *zelèn* 'viridis', *zelèn* 'вид виноградной лозы', *zelenjáva* 'holus'. Выбор заглавного слова подчас сопряжен с трудностями, специфическими для словенского материала. При глубоких различиях в фонетическом облике диалектных слов перед авторами стоит дилемма, включать ли все фонетические варианты слова в одну словарную статью или развести их по разным статьям. Так, диалект. *zđéneć* 'fons' получает самостоятельную статью в IV томе, а в III т. то же слово с подробными этимологическими комментариями рассматривается в гнезде *studéneć*. В других подобных случаях лишь один из вариантов получает объяснение, а другой помещается в отсылочной статье (ср. *vorih I* 'грязь на косе' с отсылкой к *úrih* 'чернота, выступающая на косе при работе в жару', *vřetje* с отсылкой к *rětje* 'источник' и т.п.).

Как и в предыдущих томах, последовательно проводится принцип семантического тождества при определении близких лексико-семантических соответствий и разработке этимологии. Применение этого принципа позволяет составителям выделить в составе генетически тождественных образований с далеко разошедшимися значениями ряды соответствий, близких и в плане семантики. Словарь ориентирован на выявление лексико-семантических связей, общих направлений в семантическом преобразовании слова: ср. словен. *vólk* 'воспаление кожи' ~ серб.-хорв. *vúšac* 'gangraena' и русск. *волчанка*; словен. *vólk* 'вид сорняка у клевера' ~ серб.-хорв. *vúšica* 'Orobancha', русск. *волчок* 'сорное растение' и т.п. Особым вниманием в словаре пользуются балто-славянские связи. Словарь отмечен поисками близких семантических соответствий, однотипных семантических изменений, объединяющих балтийские и славянские языки: ср. словен. *tépsiti* 'толочь, бить', *-tépsiti* 'мазать, смазывать' ~ литов. *tèpti* 'мазать' и 'бить, толочь', лтш. *tept* 'мазать', *tapât* 'колоть, рубить (дерево)', словен. *-tépsiti* 'есть' ~ литов. *tepėiti*, лтш. *tepēt* 'есть, жрать, хлебать' с восстанавливаемым для балто-славянского ареала семантическим переходом 'мазать' > 'толочь, бить'. При этом серьезные возражения вызывает четко прослеживаемая тенденция рассматривать формально близкие слова с разными значениями как генетические омонимы. Семантический критерий не может быть основным при выборе этимологического решения. Как известно, этимология базируется на сочетании разных аспектов анализа, и семантика является составной частью комплексного подхода к этимологии. Решение признается более или менее вероятным при условии взаимной проверки и полного со-

ответствия всех аспектов анализа. Сложные семантические процессы нередко приводят к расщеплению этимологически и исторически тождественных образований. Историко-этимологическим анализом не подтверждается раздельная трактовка *-víkniti* (в сложении *obíkniti*, ср. *bolečina obikne* ‘боль прошла’ ~ макед. *викне* ‘начать’), для которого признаются невыясненными дальнейшие связи, и *-víkniti se* (ср. *na-víkniti*, *pri-víkniti* ‘привыкнуть’), выводимого М. Сноем из праслав. **vykŋiti*. Также едва ли оправдано этимологическое разделение *ščetína* ‘щетина’ и диалект. *ščetína* ‘ругательство в адрес назойливого или надменного человека’, поскольку вполне очевидна семантическая производность последнего. Большие сомнения вызывает реконструкция разных соответствий и разных этимологических истоков для *úm* в значении ‘intellectus, mens’ (~ литов. *aumtió* ‘разум’) и *um* ‘злость, желчь’, ср. *na umi biti* ‘злиться’ (~ литов. *aumonis* ‘разум’, лтш. *aumanis* ‘не в своем уме, безумный, неистовый, яростный’). При таком подходе исключается сама возможность семантических изменений и таким образом признается неизменность семантики на всем протяжении развития слова. Между тем в противоречии с этим основным постулатом находятся ссылки на типологию семантических преобразований, на типы мотивационных отношений, ср. обоснование производности словен. *ščāv* ‘Rumex’ от и.-е. **skēu-* ‘резать’ < **sek-* ссылками на отношение словен. *rézati* ~ *rézek* ‘о резком, кислом вкусе’ и т.п.

При последовательном проведении семантического принципа наиболее спорной оказывается трактовка словообразовательно-этимологических связей, направления словообразовательных процессов. Так, исходя из различий в семантике, М. Фурлан предполагает две разные производящие основы для глагола **bĕliti*: **bĕliti* ‘делать белым, т.е. растапливать животное сало’ от **bĕlĭ*, которое определяется как абстрактное имя, производное от прилагательного **bĕlĭ* с конкретным значением ‘свиное белое сало’, а **bĕliti* ‘белить’ от прилагательного **bĕlĭ* ‘albus’ (с. 375), с чем трудно согласиться (ср. [СССЯ, 2: 84–85]). Различия в семантике, подкрепленные ссылками на акцентные отношения, служат основанием для предлагаемой М. Сноем реконструкции разных производящих основ для *vít* ‘винт в виноградном прессе’ и *vítek* ‘гибкий’, традиционно рассматриваемых в гнезде слав. **viti* ‘вить’: *vít* < и.-е. **ǵiH-ti-*, а *vítek* от глагольного интенсива на *-iti* – **vititi* (ср. хорв. *vittiti* ‘сгибаться’), что противоречит правилам образования производных с суфф. *-ъкъ*. При исследовании словооб-

разовательной структуры словенского слова и – шире славянского слова авторы стремятся углубить во времени словообразовательные процессы, выявить исходные отношения в системе индоевропейского праязыка. Однако далеко не всегда оправдана проекция словообразовательной структуры слова на индоевропейский уровень. Так, праслав. **vblĕčica* (> словен. *volčica* ‘lupa’) толкуется не как производное от *vblĕk* ‘lupus’, а как продолжение и.-е. **ǵl̥ kʰiH-kā*, образования с суффиксом уменьшительности от и.-е. **ǵl̥ kʰiH-*. При таком подходе не учитывается активно действующая в системе праславянского языка модель образований имен на *-ica* со значением уменьшительности.

С большими трудностями сопряжена этимологизация словенской лексики с начальным *ǵ-*. Одна из причин – возможность разных истоков для начального *ǵ-*. Славянская лексика с начальным *ǵ-* слабо изучена. В составе этой лексики немало заимствований (*šabraka* < турецк. *şaprak*, *šafati* < нем. *schaffen* и т.д.), экспрессивных образований, не подчиняющихся правилам регулярных отношений. Для объяснения лексики, имеющей ярко выраженную экспрессивную окраску, авторы вводят в состав словообразовательных средств своеобразные усилители – форманты, отличные от суффиксов – *-pa-*, *-ed-ra-*, *-k-* и т.д., назальный инфикс *-m-*. С допущением таких формантов получают объяснение слав. **šar-pa-ti* < **šarati*, **šar-k-ati* < **šarati*, словен. *šab-ed-rá-ti* ‘ходить на кривых ногах’, словен. *šá-m-prkati* ‘хромать’ < **šapati* ‘неуклюже ходить’ и т.п. Такое понимание структуры словенских слов с начальным *ǵ-* носит несколько искусственный характер. Следует обратить внимание на то, что в словенском языке была весьма продуктивна словообразовательная модель с архаичными префиксами *ša-lše-lšo-lši-*, **ko-* и т.д. Как раз материал, приведенный в IV томе, позволяет полнее проследить действие архаичной модели, впервые описанной на словенском материале А. Дебеляком. Многие формальные трудности отпадают, если допустить участие префикса *ša-lše-lši-* в образовании словен. *šámer* ‘выродок’, *šamrĕti* ‘шуметь, жужжать, клокотать’ (~ *mĕrĕti*), *šemetati* ‘ходить вразвалку’ (~ *metáti* ‘бросать’), *šĭ-praka* ‘сухие ветки, используемые как подпорки для гороха’ < **porkĕ*, далее к **perti*, *šámprkati* ‘хромать’ < **šá-prĕrkati*, *ša-bedráti* ‘ходить на кривых ногах’, к *bedro*, ср. производные от **bedro* словен. *bedrĭti se* ‘хромать’, русск. диалект. *bedrĭmĭ* и *bedrĭmĭtĭ* ‘наваливаться одним бедром на оглоблю, о лошади’ – [СРНГ, 2: 177] и т.д.

Поиск этимологического решения для подавляющей части диалектных слов, изначально форма которых затемнена поздними про-

цессами, требует не только знания фонетических процессов, по-разному протекавших в разных частях небольшой словенской территории, но и интуиции, поскольку многие изменения носят нерегулярный характер, обусловлены, в частности, редукцией слогов в беглой речи, что до неузнаваемости изменяет облик слова. С восстановлением цепочки фонетических преобразований, которые претерпели словенские диалектизмы, славянский материал пополнился новыми соответствиями в плане словообразования, морфонологии, семантики и т.п. К числу удачных решений можно отнести истолкование таких слов, как словен. *ščína* 'щепка, лучина' < **dьbьščína*, к **dьska*, *škeděnc* 'ключ (источник)' < **šl' iděnc* < **studěnc*, *šivati* 'моросить, о дожде' < **svčivati*, *škrába: škrabobiti* 'вид игры' < **skorba* ~ лтш. *skaf̥ba* 'осколок', *škomřdati* 'шататься' (< **sv-ko-mřrdāiti*), *tórežen* 'приспособление для помешивания молока' < *tvorežbnъ*, *tráča* 'полотенце' < *tirača*, к *treti*, *zěbrna* 'десна' к *zěbsti* 'algere' и т.д.

При знакомстве со словарем во всей сложности предстают лексические связи словенского языка с соседними славянскими и неславянскими языками. Это важно особенно в тех случаях, когда заимствованное слово видоизменяется и приобретает форму, характерную для словенских слов (ср. *vrgânj* название гриба < венг. *úrgomba*, словен. *udâv* 'Boa constrictor' – калька нов.-лат. *constrictor*). С выявлением пласта лексики, заимствованного словенским языком из соседних близкородственных языков (ср. *zabušavati* 'уклоняться от дела, лениться', *zavičâj* 'отечество', *injec* 'слюда' из сербского и хорватского и т.д.), расширяется материальная база исследований взаимосвязей языков и диалектов западной части южнославянского ареала.

Большой по объему четырехтомный "Этимологический словарь словенского языка" вводит в практику научных исследований новый лексический материал, который далеко не всегда легко и просто поддается объяснению. Словарь, богатый идеями, интересными подходами к анализу лексики, не столько решает, сколько ставит вопросы, требующие дальнейшего изучения. Далеко не все предлагаемые в словаре этимологии могут быть приняты, каждая из них может и должна стать предметом

всестороннего, обстоятельного анализа с привлечением литературы, которая по каким-то причинам оказалась не использованной составителями.

"Этимологический словарь словенского языка" Ф. Безлая занимает особое место в кругу славянских этимологических словарей. С выходом в свет этимологических трудов по словенскому языку можно с большой определенностью говорить об особом направлении в этимологии, разрабатываемом словенскими учеными. В основу этимологических разработок положен принцип семантического тождества слова на всем протяжении его развития и связанное с этим разграничение омонимов на генетическом уровне. Для этого направления характерно ограниченное использование возможностей внутренней реконструкции при работе не только на словенском, но и шире – на славянском материале и ориентация на выявление словенских лексических диалектизмов с истоками на индоевропейском уровне. Этимологический анализ с опорой на данные акцентологии составляет отличительную особенность словенской этимологической школы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Куркина 1979 – Л.В. Куркина – Этимология 1977. М., 1979: Рец.: F. Bezlaj. *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Prva knjiga A–J.
- Куркина 1985 – Л.В. Куркина – Этимология 1983. М., 1985: Рец.: F. Bezlaj. *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Knj. II: K–O.
- Куркина 1996 – Л.В. Куркина – ВЯ. 1996. № 4: Рец.: F. Bezlaj. *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Knj. III: P–S.
- Куркина 1997 – Л.В. Куркина – Этимология 1994–1996. М., 1997: Рец.: F. Bezlaj. *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Knj. III: P–S.
- Куркина 1998 – Л.В. Куркина – ВЯ. 1998. № 3: Рец.: M. Snoj. *Slovenski etimološki slovar*.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–39. – М.; Л., СПб., 1965–2005.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1–32. – М., 1974–2005.

Л.В. Куркина

М.А. Бобунова, А.Т. Хроленко. Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря. Курск: Издательство Курского государственного университета, 2005. 197 с.

Словарь языка писателя – настолько важное в лингвистическом и культурологическом отношении издание, что, как писал еще Л.В. Щерба [Щерба 1974: 269], многим филологам

казалось невозможным построение общего словаря без предварительного создания исчерпывающих словарей к писателям. Составленный некогда вручную многотрудными усилия-

ми лингвистов “Словарь языка Пушкина” служит одним из основных источников описания языка (и не только поэтического) первой трети XIX века. Разумеется, принципиальное значение авторская лексикография имеет и для языка художественной литературы: “Как поэты видят природу? Краски зрения их – избирательность слова: эпитет, метафора и т.д. Необходимо их знать; необходима статистика; необходим словарь слов Баратынского, Пушкина, Тютчева”, – настаивал Андрей Белый [Белый 2001: 480]. Тем не менее, даже сейчас, когда в распоряжении лингвистов имеются компьютеры, в лексикографическом смысле дела с описанием поэзии как Тютчева, так и Фета обстоят неважно¹. Словарь Тютчева готовился в музее-усадьбе им. Тютчева Мураново в 1970-х годах, но ему так и не было суждено выйти из печати. Тем временем, умершим в конце прошлого года Б. Билокуром был составлен конкорданс к русским стихам Тютчева [Bilokur 1975]. Можно назвать еще несколько не претендующих на общедоступность и широкий охват лексики работ (например, “Формальный тезаурус языка поэзии Ф.И. Тютчева” [Тильман 1999]), но этим, к сожалению, пока ограничивается набор справочных материалов о словарном фонде Тютчева. В лексикографии Фета не сделано и этого.

Представляемый словарь двух курских авторов хотя и не решает всех насущных задач, но делает внушающую оптимизм попытку преодолеть чувствительную пустоту. Не ограничиваясь простым заполнением лакуны, М.А. Бобунова и А.Т. Хроленко стремятся подать материал аналитически, строя свой словарь как контрастивный. Контрастивный метод уже успел стать традиционным в описании языковых систем, и закономерной, хотя и не новой [Фоменко 2003: 152], представляется идея его применения на материале подсистем идиологем. Авторы давно и плодотворно занимаются лексикографией русского фольклора [Бобунова, Хроленко 2000; Бобунова 2001; 2002; 2003]. Разработанная на материале устного творчества методика и положена в основу концепции словаря.

Словарь состоит из введения (“Словарь контрастивного типа: идея и первый опыт создания”), поясняющего принципы организации

словаря, структуру словарной статьи и используемые условные обозначения, собственно словаря и приложения, содержащего указатель словарных статей (около 770 единиц).

Уже в начале ознакомления со словарем приходится говорить о недостатках издания, к каковым следует отнести некоторую небрежность введения. Из него читатель не узнает о количестве словарных статей, останется неосведомленным, почему авторы избирают тот, а не другой путь, придерживаются этой, а не иной концепции и т.д. Например, останавливает внимание выбор материала для лексикографического анализа. Имена Тютчева и Фета смотрятся рядом как будто вполне естественно, привычно, как это представлено в школьной программе. Тем не менее, весомых оснований считать похожими их поэтические системы (за исключением, разве что, расхожего стереотипа, сложившегося еще среди современников поэтов²) нет. И словарный материал, как будет видно ниже, только подтверждает такой взгляд. С тем большим сожалением приходится констатировать, что авторы не утруждают себя подробным обоснованием выбора поэтов для контрастивного анализа, ограничиваясь лишь скупой репликой о том, что Тютчев и Фет жили “в одно время, под одним небом” (с. 4). Это основание выглядит несколько сомнительным, особенно если вспомнить, что Тютчев более 20 лет своей жизни провел за границей. А ведь всего двумя абзацами выше говорится, что контрастивный метод “особенно эффективен применительно к родственным языкам”. Чем, по мнению авторов, родственны идиологемы Тютчева и Фета, остается непроясненным.

То же относится и к обоснованию примененных в работе методик доминантного и кластерного анализа, сжатия конкорданса и аппликации словарных статей, за более подробным описанием которых, по всей видимости, нужно обращаться к предыдущим трудам авторов.

Словарная статья включает заглавное слово, количество его употреблений, минимальный контекст, в котором встречается слово, и синтагматическую часть (см. ниже). Другие структурные элементы (дефиниция, словоизменительные варианты, участие в устойчивых поэтических приемах и пр.) используются фа-

¹ Между прочим, насколько нам известно, даже составляемый сейчас в Брянске под руководством А.Л. Голованевского “Поэтический словарь Ф.И. Тютчева” [Голованевский 2003] делается без использования компьютерных технологий.

² По словам П.И. Бартенева, он привез однажды Фету “три французских стихотворения Тютчева и попросил перевести их, так как де его Муза сродни тютчевской” [Кузьмина 2001: 165].

культативно. Заглавные слова объединены в кластеры, которые понимаются как “совокупность слов различной частеречной принадлежности, семантически и / или функционально связанных между собой” (с. 16). Соответственно, словарь делится на разделы, соответствующие кластерам: “Мир природы” (“Небесная сфера”, “Атмосферные явления”, “Вода и водные пространства”, “Растительный мир”, “Мир живой природы”), “Человек телесный”, “Время”, “Цвет”. Такое представление служит наглядности описания тех или иных фрагментов поэтической картины мира авторов.

Концептуальным ядром словарных статей выступает синтагматическая часть, фиксирующая “все текстовые связи слова в пределах стихотворной строки или смежных строк” (с. 9). Именно эта часть и призвана вскрыть сущность сходства и различия использования слова в двух анализируемых поэтических системах. Так, если у Тютчева слово *кустарник* (с. 88) сочетается с атрибутом (*мелкий, мертвый*) и выступает как субъект при глаголе в личной форме (<есть>, *стелется*), то у Фета нет случаев сочетания с атрибутом, зато присутствует сочинительная связь с субстантивом (*кустарник и птичка, кустарник и холм*) и варианты, когда глагол управляет существительным (*осветить кустарник, узреть кустарник*). Вот пример двух сопоставленных словарных статей для Тютчева и Фета на слово колено (с. 137):

Колено (3) Когда порой так умирно, С такою верой и мольбой Невольно клонишь ты колено Пред колыбелью дорогой (“Не раз ты слышала признание...”) **Vo:** <быть> по колени 1, клонить колено 1, пасть на колени 1.

Колено (8) Пропаду от тоски я и лени, Одинокая жизнь не мила, Сердце ноет, слабеют колени, В каждый гвоздик управляет душистой сирени, Распевая вползает пчела (Пчелы) **A:** косматое 1 **Rпоп:** мое 1, твое 1 **Vs:** сгибаться 1, слабеет 1 **Vo:** <быть> на коленях перед вами 1, играть на твоих коленях 1, молиться на коленях 1, преклонить / преклонять колена 2, слагать на коленях руки 1.

Таким образом, наибольшей эффективности достигал бы такой составленный по предложенной методике контрастивный словарь, в котором большинство образующих статьи слов у двух сравниваемых авторов совпадало. На нем можно было бы проследить системность сочетаемости лексики у разных авторов, построив определенную модель и интерпретировав результаты. Словарь М.А. Бобуновой и А.Т. Хроленко демонстрирует иную картину, при которой сравнивать приходится больше

сами факты словоупотребления. Особенно показателен в этом смысле кластер колоративов. Из 57 лексем цвета, описанных в этом разделе, только 16 являются общими для обоих поэтов. Это: *багровый, багряный, белеть, белый, бесцветный, голубой, желтый, зеленеть, зеленый, зелень, золотой, золотистый, золотить, красный, лазурный, лазурь*. Очевидно, что их вероятная встречаемость в поэтическом языке той эпохи значительно выше, чем у таких в большей степени характеризующих стилевую индивидуальность лексем, как *бесцветно-бледный* (Фет) или *бледно-зеленый* (Тютчев). И вот этих последних здесь ощутимое меньшинство. В целом на 431 слово из словаря Тютчева и 651 из словаря Фета только 309 обнаруживаются у обоих поэтов. В такой ситуации ценность разработанной системы описания сочетаемости слова существенно снижается.

Эти цифры лучше всего свидетельствуют о том, что составители словаря не рассчитывали представить в нем весь объем лексического фонда Тютчева и Фета. Отбор описываемого материала тоже никак не оговаривается во введении и в то же время интуитивно понятен: это наиболее значимые слова, относящиеся (пользуясь известной моделью Р. Халлига и В. фон Вартбургера [Hallig, Wartburg 1963]) к понятийным категориям “Вселенная” и, частично, “Человек” (“Человек как живое существо”), из раздела “Человек и Вселенная” взята только категория “Время”. То есть это те слова, которые играют определяющую роль при создании пейзажной и близкой к ней любовной лирики. Таким образом, в стороне остаются философские и политические стихи Тютчева, что вполне закономерно, ведь только в контексте “лирики природы” и возможно его сколько-нибудь корректное сопоставление с Фетом.

Тем не менее, можно только согласиться с авторами в том, что реализованный тип словаря выглядит весьма перспективным. Это видно даже из эпизодических, но крайне иллюстративных фрагментов, представляющих выводы из описанного материала: “Атрибутивные, субстантивные и особенно глагольные связи анализируемого существительного свидетельствуют о том, что лексема *ночь* в творчестве Фета часто используется в составе олицетворения (*немая ночь; чело ночи; ночь одевается, ночь хочет подслушать*), что не очень характерно для стихотворений Тютчева” (с. 14). Такие лингвопоэтические данные, безусловно, дополняют наши представления об образах ночи в поэзии Тютчева и Фета.

Хотя в целом рецензируемый словарь дает достаточно адекватное представление о лексиче-

ке двух поэтов, все же не может не вызывать сожаления, что в качестве источника текстов Тютчева, по которым составлялся словарь, было выбрано издание [Тютчев 1980]; в настоящее время уже не самое полное и авторитетное. Отсюда и некоторые неточности в указанном количестве словоупотреблений в статьях. Так, наши собственные подсчеты (по [Тютчев 2002–2005]) показывают, что слово *глаз* (*глаза*) встречается в текстах Тютчева не 16 раз (с. 132), а 20 (не считая *глазеть* и *глазок*), *восток* не 14 раз (с. 21), а 19 и т.д. Различия данных словаря с действительностью не критичны и укладываются в некоторую погрешность, но все же о них следует помнить тем, кто будет обращаться к этому справочнику. Думается, что ценность этого лексикографического труда выросла бы, если бы авторы использовали признанные академические издания [Тютчев 1987; 2002–2005]. Туманным остается и отношение лексикографов к словам, употребленным только в черновых редакциях стихотворений, не включенных текстологами в канонизированный вариант издания: на каких основаниях они не учтены в словаре?

В общем, можно заключить, что авторами проделана большая и ценная работа по систематизации тезаурусов поэтов, результаты которой уже позволяют делать некоторые выводы о художественном мире и поэтическом языке Тютчева и Фета. Отмеченные нами недочеты, скорее всего, вызваны широтой взгляда лексикографов, стремящихся применить актуальные методики на возможно более разнообразном материале.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белый 2001 – А. *Белый*. Из книги “Поэзия слова” Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы // Семиотика: антология. М., 2001.

Бобунова, Хроленко 2000 – М.А. *Бобунова*, А.Т. *Хроленко*. Словарь языка русского фольклора: Лексика былинных текстов. Курск, 2000.

Бобунова 2001 – М.А. *Бобунова*. Единицы фольклорной лексикографии (в словаре языка былины). Курск, 2001.

Бобунова 2002 – М.А. *Бобунова*. О словаре языка фольклора // Русский язык в школе. 2002. № 4.

Бобунова 2003 – М.А. *Бобунова*. Онежские былины: Частотный словарь. Курск, 2003.

Голованевский 2003 – А.Л. *Голованевский*. “Поэтический словарь Ф.И. Тютчева” и его место в русской поэтической лексикографии // Поэтическое наследие Ф.И. Тютчева: Литературоведение, лингвистика, методика. Брянск, 2003.

Кузьмина 2001 – И.А. *Кузьмина*. Письма А.А. Фета П.И. Бартеневу (к истории перевода стихотворения Ф.И. Тютчева “Des premiers ans de votre vie...”) // Русская литература. 2001. № 4.

Тильман 1999 – Ю.Д. *Тильман*. Культурные концепты в языковой картине мира (Поэзия Ф.И. Тютчева); Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1999.

Тютчев 1980 – Ф.И. *Тютчев*. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1980.

Тютчев 1987 – Ф.И. *Тютчев*. Полное собрание стихотворений / Сост., подгот. текста и примеч. А.А. Николаева. Л., 1987.

Тютчев 2002–2005 – Ф.И. *Тютчев*. Полное собрание сочинений и письма: В 6 т. М., 2002–2005.

Фоменко 2003 – И.В. *Фоменко*. Введение в практическую поэтику. Тверь, 2003.

Щерба 1974 – Л.В. *Щерба*. Опыт общей теории лексикографии // Л.В. Щерба Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Bilokur 1975 – В. *Bilokur*. A concordance to the Russian poetry of Fedor I. Tiutchev. Providence, 1975.

Hallig, Wartburg 1963 – R. *Hallig*, W. von *Wartburg*. Begriffssystem als Grundlage für Lexikographie. Berlin, 1963.

Б.В. Орехов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

**Конференции по языкознанию 2005 года,
поддержанные Российским Гуманитарным научным фондом***

В 2005 году при поддержке РГНФ прошло 17 конференций по филологии. Из них 13 конференций получили поддержку как победители основного конкурса РГНФ и 4 конференции – в рамках конкурса региональных проектов. Региональные конференции получают поддержку не только РГНФ, но и администрации своих областей. В предлагаемом обзоре приводится краткая информация о конференциях, посвященных проблемам языкознания.

Совместная конференция “Филология и культура”, проведенная Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Державина и Институтом языкознания РАН, состоялась в октябре 2005 г. в Тамбове. Конференция проходила под знаком когнитивного подхода к исследованию языка и культуры. На Тамбовском форуме прозвучало 192 доклада. Основная проблематика докладов отражена в названиях секций, представленных на конференции. Это “Теоретические проблемы общего языкознания и лингвокультурологии”, “Методология лингвокультурных и лингвокогнитивных исследований”, “Проблемы концептуализации и категоризации”, “Интерпретация текста и личностный интерпретатора”, “Язык и культура: дискурсивный подход”, “Миграция как социокультурный феномен”, “Языковая семантика, культура и перевод”, “Язык как этнокультурный феномен и культурные концепты”, “Когнитивные аспекты лексики, фразеологии и грамматики”, “Языковая семантика и образ мира”, “Языковое сознание, языковое самосознание и менталитет”, “Межкультурные рецепционные процессы в литературе”. Среди организаторов,

научных и духовных руководителей конференции – Е.С. Кубрякова (Москва), В.А. Виноградов (Москва), Н.Н. Болдырев (Тамбов), Т.А. Фесенко (Тамбов). Конференция собрала ученых из Москвы, Тамбова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кемерово, Воронежа, Волгограда, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинска, Ставрополя, Белгорода, Алматы, Уфы, Стерлитамака, Казани, Харькова, Билефельда (Германия), Крайовы (Румыния).

Конференция “Языковые союзы Евразии” проходила в ноябре 2005 г. в Институте языкознания РАН в Москве под председательством М.Е. Алексеева. Основные теоретические проблемы конференции: состав языковых союзов на территории Евразии, определение понятия языкового союза, становление и распад языкового союза, соотношение ареального и генетического в языковом союзе, возникновение языкового союза в результате конвергенции языков и в результате влияния одного языка на другие языки, проблема полного и частичного вхождения языка в языковой союз, общность духовной и материальной культуры народов, входящих в языковой союз, историческая картина этнолингвистических и этнокультурных контактов, проблема существования малого – более тесного – языкового союза внутри объемлющего – более крупного. На конференции обсуждались особенности кавказских языковых союзов (М.Е. Алексеев), индокитайского языкового союза (Н.Ф. Аллева), Волго-камского языкового союза (А.В. Дыбо), языковых союзов Индостана (А.И. Коган), Балканского языкового союза (Т.В. Цивьян), Центральноазиатского языкового союза (Д.И. Эдельман), памирских языков (Л.Р. Додухудоева), таежных языков Западной и Центральной Сибири (О.А. Казакевич), карпатской языковой общности (Г.П. Клепикова),

* В обзоре использованы материалы поступивших в РГНФ соответствующих отчетов.

контактных ареалов на территории Вьетнама (И.В. Самарина).

Конференция “Античная грамматическая традиция в веках” проходила в Санкт-Петербурге в апреле 2005 г. на базе Института лингвистических исследований РАН. Инициатива проведения конференции принадлежала руководителю постоянно действующего семинара по историографии лингвистики бельгийскому ученому А. Ваутерсу (Лувен). Рабочие языки конференции – английский, французский, немецкий и итальянский. В центре внимания исследователей были лингвистические идеи в сочинениях поэтов и грамматистов классической древности, в трудах ученых Средневековья и Возрождения, в старых школьных грамматиках и в древних разговорниках: у Гомера и раннегреческих поэтов (Н.П. Гринцер), александрийских филологов (С. Маттайос – Никозия), Платона, Демокрита, Гермогена, Прокла, Ксенофана, Парменида, Анаксагора, Эмпедокла (А.Л. Верлинский), Варрона и Цезаря (А. Гарчеа – Тулуза, В. Ломанто – Турин), римских грамматиков I–II вв. н.э. (В.И. Мажуга), греческих грамматиков (И. Бём – Лион), в школах позднего Рима (Г. Бонне – Париж), у Аполлония Дискала (Ж.А. Лалло – Париж, А.У. Шмидхаузер – Женева), Авла Геллия (Л.В. Золоева), в обращениях к греческому языку в латинских орфографических трактатах VI–VIII вв. н.э. (Ф. Бивилль – Лион), в найденных в Египте греко-латинских разговорниках начала первого тысячелетия н.э. (А.И. Солопов), средневековых комментариях Библии (Л. Мунци – Неаполь), поздневизантийских рукописях (И.П. Медведев), итальянской лингвистике IV века (Л.Г. Степанова), в трудах итальянских гуманистов (Б. Коломба – Лион). Всего на конференции прозвучало 24 доклада. Научные руководители конференции – Л.Г. Степанова, А. Ваутерс, Н.Н. Казанский.

На конференции “Языковые изменения в условиях языкового сдвига”, проходившей в сентябре–октябре 2005 г. в Санкт-Петербурге под председательством Н.Б. Вахтина, обсуждались драматичные проблемы, связанные с быстрым переходом языкового коллектива на другой – доминирующий язык, с постепенной утратой функций родного – этнического – языка, изменением этнического языка под влиянием доминирующего и последующей языковой смертью. На конференции прозвучало 17 докладов, которые – за исключением докладов специально приглашенных специалистов в данной области – прошли строгий отбор. При подготовке к конференции оргкомитет сформулировал три основных вопроса для обсуждения на заседаниях: Существуют ли лингвистиче-

ские признаки прекращения воспроизводства языка; Какие можно предложить критерии различия между изменениями в языковой системе vs. изменениями в речевой практике; Каковы особенности дублетного функционирования заимствованных и исконных элементов в лексике, синтаксисе, фонетике. На конференции были рассмотрены проблемы языкового сдвига в энеидном языке (Е.А. Хелимский), прибалтийско-финских языках (М.З. Муслимов), удгейском языке (Е.В. Перехвальская), селькупском языке (А.И. Кузнецова), корякском языке (А.Н. Жукова), ительменском языке (А.П. Володин), восточно-индонезийских языках (С.Ф. Членова), эксимосских языках (Н.Б. Вахтин). Важным выводом, сформулированным на конференции, служит идея, что язык можно считать жизнеспособным, пока в нем продолжают происходить регулярные системные изменения. Об утрате жизнеспособности сигнализируют хаотические, несистемные изменения, не поддающиеся структурному описанию.

Десятая юбилейная конференция “Текст. Структура и семантика” была организована Московским государственным педагогическим университетом имени М.А. Шолохова в год, объявленный ЮНЕСКО годом Шолохова, и была приурочена к столетию со дня его рождения. На конференции было представлено 132 доклада, на которых рассматривались лингвистические, литературоведческие, методологические проблемы структуры художественного текста, а также вопросы преподавания анализа художественного текста. Организатор конференции – Е.И. Диброва. На конференции работали следующие секции: “Общие проблемы текста”, “Типология текста”, “Синтаксическая семантика”, “Лексическая и фразеологическая семантика”, “Методика работы с текстом”, “Морфологическая семантика”, “Параметры и функции текста”.

Всероссийская конференция, посвященная 60-летию победы в Великой Отечественной войне, “Лингвистика в годы войны” состоялась в Санкт-Петербурге в Институте лингвистических исследований РАН. Тема конференции – судьбы лингвистики и лингвистов в годы войны. Конференция обобщала научные результаты и человеческие потери. Два заседания были посвящены исследователям языков Севера, погибшим в годы войны: этнографу Г.Д. Вербову, исследователю фольклора эвенов Н.П. Ткачику, создателю ненецкой письменности Г.Н. Прокофьеву, первому ненецкому ученому А.П. Пырерке, добровольцем ушедшему на фронт и погибшему в боях под Ленинградом. Столетию А.П. Пырерки было посвящено целое заседание. В работу конфе-

рениции естественно влилось обширное сообщение В.М. Алпатов «Школы советского языкознания 20–40 гг. XX столетия». Долгие годы В.М. Алпатов разрабатывает целое направление исследований, посвященное трагическим судьбам лингвистов первой половины двадцатого века и обобщению результатов их работы. В последний день конференции прозвучали доклады об ученых, погибших в дни блокады: историке языка и типологе С.Л. Быховской, С.В. Меликовой-Голстой, скончавшейся по дороге в эвакуацию из блокадного Ленинграда. Ученые старшего поколения – А.В. Бондарко, З.М. Петрова, Н.В. Попова поделились своими воспоминаниями. На конференции была отдана дань памяти не только лингвистам и их творческому наследию. Говорилось об историках, фольклористах, антропологах, этнографах, библиотекарях блокадного Ленинграда, студентах и аспирантах. В сборнике трудов конференции содержится большой теоретический материал и материал по истории науки, но «человеческий фактор» выходит здесь на первое место: труды конференции невозможно читать без слез.

Традиционная конференция в многолетней серии конференций «Логический анализ языка» была посвящена «Языковым механизмам комизма». Научный руководитель одноименной проблемной группы, работающей в Институте языкознания РАН, автор, ответственный редактор и составитель сборников с общим заголовком «Логический анализ языка» – Н.Д. Арутюнова. Конференция проходила в сентябре 2005 г. и собрала лингвистов, философов и литературоведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Минска, Читы, Калуги, Челябинска, Киева, Волгограда, Твери, Дубны, Владимира, Ростова-на-Дону, Тулы, Днепропетровска, Таганрога, Тюмени, Краснодара, Австрии (Вена, Грац), Германии (Йена), Швейцарии (Цюрих), Китая (Пекин) и Италии. На конференции работали следующие секции: «Риторика комизма», «Жанры комизма», «Комизм в авторских текстах», «Смешное и страшное», «Коммуникативные и социальные функции комизма», «Комизм в национальных культурах и проблемы перевода», «Лексикон комизма», «Комизм в различных жанрах искусств». Участники конференции обсудили лексикон улыбки, усмешки и насмешки (А.Л. Шмелев, Д.О. Добровольский, Г.И. Кустова, Т.В. Радзиевская), смеха (Ю.П. Князев), юмора и остроумия (Анна А. Зализняк), высмеивания (Г.М. Яворская), хохота (В.В. Фещенко), шутки (Л.Л. Шестакова). Обсуждались проблемы языковой игры (А.Д. Кошелев, И.Б. Иткин, В.В. Морозов), пародии (Н.А. Янькова, И.Н. Позерт, Дж. Колонезе) и парадокса (Е.Г. Драгилина-Черная,

Л.А. Демина), смеха и слез (В.И. Поставалова), серьезного и смешного (Н.А. Фатеева). Отдельное заседание было посвящено поэтике абсурда, на котором выступили Д. Вайс, М.В. и Ю.М. Малиновичи, Т.Н. Клименко. Серьезному анализу подверглась структура анекдота (Е.Я. Шмелева, Е. Вельмезова, Б. Тошович). Мастер-класс юмориста дал Максим Галкин.

Вторая международная конференция по модели «Смысл↔Текст» прошла в июне 2005 г. в Институте русского языка РАН и в Институте языкознания. Модель «Смысл↔Текст» была предложена в семидесятые годы прошлого века И.А. Мельчуком, А.К. Жолковским и Ю.Д. Апресяном. Модель рассматривает язык как многоуровневый преобразователь смыслов в тексты и обратно. Уровни включают в себя семантику, синтаксис, морфологию, фонологию и фонетику (графику), т. е. те уровни, которые признаются большинством лингвистических школ. Между тем в модели каждый уровень – это специальный подязык, разработанный на базе языка-объекта, например русского, для его описания. Каждый уровень включает в себя правила перехода на уровень $n-1$. Современная лингвистика является таковой в существенной степени благодаря тому, что в ней реализованы важнейшие идеи авторов модели: идея о системности и взаимосвязи единиц и правил грамматики и единиц словаря, использование для семантического и синтаксического представления единиц словаря и предложений языка аргументно-актантных структур, разработанный авторами модели набор так называемых лексических функций и аппарат их использования в системе, в частности, в трансформационном компоненте модели. Модель «Смысл↔Текст» имеет существенные связи и пересечения со многими современными теориями языка и реализована в системах человеко-машинного интерфейса и машинного перевода. И.А. Мельчук прочел доклад «Теория «Смысл↔Текст» и понятийный аппарат современной лингвистики: к более полному описанию падежей и залогов в языке масаи». Доклад об основополагающем принципе интегрального описания грамматики и словаря прочитал Ю.Д. Апресян. С обзорными докладами выступили Е.В. Падучева и С.А. Крылов. О связях между лингвистикой и математикой говорил А.В. Гладкий. А.Е. Кибрик рассказал об экспедициях отделения структурной лингвистики МГУ и участии в них И.А. Мельчука. Рассказ А.Е. Кибрика был дополнен рассказом самого И.А. Мельчука. Секционные заседания были посвящены следующим темам: уровни лингвистического представления, лексические функции, автоматическая обработка текста, взаимосвязь между грамматикой и словарем,

валентности и актанты, лексикография, модель “Смысл←Текст” и лингвистическая типология, металингвистические аспекты теории “Смысл↔Текст”. В конференции приняли участие ученые из США, Канады, Франции, Польши, Чехии, Австрии, Италии, Испании.

Конференция “Смоленские говоры в лингво-культурологическом аспекте” прошла в ноябре 2005 г. в Смоленском государственном педагогическом университете и была приурочена к завершению работы над “Словарем смоленских говоров” и изданию его заключительного 11-го выпуска. В работе конференции приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, Орла, Рязани, Белгорода, Минска, Могилева, Польши. На пленарном заседании прозвучали доклады, отражавшие основные направления дальнейшего изучения смоленских говоров (Л.З. Бояринова), связи смоленского диалекта с другими славянскими, в частности, с белорусским языком (С.М. Прохорова) и неславянскими языками (В.Б. Быков), роль “Словаря смоленских говоров” в лексикографической практике Беларуси (В.Б. Сузанович). На конференции работали четыре секции: “Диалектология”, “Литературный язык”, “Образовательная парадигма XXI века”, “Литература. Культура”. Самой многочисленной по докладам была секция диалектологии. Доклады секции были посвящены смоленским говорам и материалам Словаря. Анализировалась антропонимика, терминологическая лексика говоров по словарю В.И. Даля, именованья покойников в русских говорах, наименования носильных вещей. Несколько докладов были посвящены мало разработанной проблеме – региональному словообразованию. Рассматривалась проблема междиалектных связей, в частности, орловско-смоленских, смоленско-польских, белорусских говоров. На секции образования обсуждались проблемы диалектизмов и проблемы использования Словаря при обучении школьников литературному языку, проблемы краеведения. На секции литературы и культуры анализировались особенности поэтики смоленской частушки, ойконимия Смоленщины, большое внимание было уделено творчеству А.Т. Твардовского. Во время конференции работали выставки, представлявшие разнообразный этнографический материал и работу над Словарем.

Международная конференция “Селищевские чтения”, посвященная 120-летию со дня рождения А.М. Селищева, прошла в сентябре 2005 г. в Елецком государственном университете. А.М. Селищев, выдающийся славист, уроженец Орловской губернии (ныне Липецкой области). Начало его научной деятельности связано с Казанским университетом, неко-

торое время он работал в Иркутске, в 1922 г. переехал в Москву. Был арестован по так называемому “делу славистов”, не признал себя виновным после работы с ним следователей, провел четыре года в Карагандинских лагерях. Умер в Москве в 1942 г. К конференции было приурочено издание документов, отражающих жизнь и научное творчество А.М. Селищева, его переписка, статьи о нем и его научном наследии, воспоминания его учеников. На конференции говорилось о проблемах, поставленных в работах А.М. Селищева. Обсуждались следующие темы: научное осмысление вклада А.М. Селищева в славянскую филологию, его архив, исследование творчества А.М. Селищева и его учеников, история славянского языкознания, история славянских языков и культур, фольклор и мифология славян, славянские языки в социальной и ареальной проекциях, имя в славянских языках, проблемы лексикографии, проблемы теории языка, изучение родного языка в современной школе.

Международная конференция «История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. III чтения памяти О.Н. Трубачева из цикла “Славяне: язык, история”» прошла в октябре 2005 г. в Институте русского языка в Москве. О.Н. Трубачев – славист, этимолог, историк языка и историк, переводчик словаря М. Фасмера на русский язык, создатель проекта “Этимологического словаря славянских языков” (ЭССЯ), издание которого началось в 1974 г. и который сейчас насчитывает 31 том. На конференции прозвучали следующие доклады: “Западно-славянские диалектизмы в ЭССЯ” (Н.Е. Ананьева); “Лексикографическое наследие О.Н. Трубачева: ЭССЯ и дополнения к словарю М. Фасмера” (А.Е. Аникин); “Этимологические разыскания О.Н. Трубачева и историко-лексикологические исследования” (Л.Ю. Астрахина); “Праславянская лексическая реконструкция в фонологическом контексте” (Д.Д. Беляев); “Личность лексикографа в истории общества” (Г.А. Богатова); “Трещизмы и их производные в русских аргот” (В.Д. Бондалетов); “Нерегулярные изменения в языке и этимология (к этимологии праслав. **draziti*)” (Ж.Ж. Варбот); “Традиции О.Н. Трубачева в изучении русской ономастики” (С.П. Васильева); “Как читать вслух древнейшие переводные славянские гимнографические тексты?” (Е.М. Верещагин); «К семантике выражения “служить маммоне”» (А.В. Григорьев); “Этимологизация грамматических форм числа в праславянском языке” (В.И. Дегтярев); “О принципах построения словарной статьи в историко-терминологическом словаре” (Е.И. Державина, А.Б. Дубовиц-

кий); “Арготическая лексика в этимологических исследованиях в свете ее филологической достоверности” (И.Г. Добродомов, В.В. Шаповал), “К истории слова *рысь*” (А.А. Дудин, студент, Рязань), “Украинский язык XVI–XVII веков: развитие полемиического и научно-теологического стилей” (А. Дыдык-Меуш); “Лексические раритеты в древнеславянском паренесисе Ефрема Сирина” (О.Ф. Жолобов); “Из истории русско-украинских книжных связей” (В.В. Калугин); “Русские говоры Слободской Украины” (Г.Н. Карнаушенко, Л.В. Педченко); “Ойконимия как источник реконструкции праславянских архетипов” (З.О. Купчинская); «Многоязычная народная книга восточных славян “Богогласная”» (Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Шавинская); “Словарь русского языка XVIII века: принципы электронной версии” (И.А. Малышева, Е.А. Захарова); “Прародина славян” (В. Маньчак); “Лингвогеография и этимология” (С.А. Мызников); “О.Н. Трубачев и его последний съезд славистов” (А.П. Непокуйный); “Славянский ассоциативный словарь как база для сопоставительного исследования образа мира славян” (Н.В. Уфимцева) и др.

Седьмые Поливановские чтения прошли в октябре 2005 г. в Смоленске. Первые Поливановские чтения, ставшие впоследствии традиционными, состоялись в 1991 г. в честь столетия со дня рождения Е.Д. Поливанова, уроженца Смоленска, лингвиста, русиста, япониста, востоковеда, полиглота, теоретика языка. Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на конференции, была сущность научной полемики “Поливанов–Марр”. Как известно, Е.Д. Поливанов первый не побоялся открыто противостоять “новому учению о языке”, что послужило одной из причин – не прямой, а, скорее, косвенной – гибели Е.Д. Поливанова в 1938 г. В докладах В.М. Алпатов и В.Б. Быкова обсуждались многие сложности и хитросплетения борьбы за и против марризма. Эта тема, как убедительно показывает В.М. Алпатов, стала особенно актуальной в последнее время, в период во время и после перестройки, и не только в России, но и на Западе, когда концепция Марра вновь заявила о себе в лице ее новых последователей и сочувствующих, в особенности, не-лингвистов. На конференции прозвучали также доклады о не столь драматичных, как научная полемика с Марром, событиях жизни и научной деятельности Е.Д. Поливанова: о Ташкентском периоде его творчества и его архиве (А.Д. Дуличенко), о значении идей Е.Д. Поливанова для современных лингвистических исследований (А.Д. Васильев). На конференции были также широко представлены доклады по социолингвистике,

лексике, фразеологии и грамматике славянских и германских языков, лексикографии, истории русского языка, ономастике, диалектологии и литературоведению.

Региональная конференция “Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации” проходила в октябре 2005 г. в Перми и была приурочена к 80-летию М.Н. Кожинной. На конференции работали следующие секции: “Специфика речеведения в соотношении с изучением строя языка”, “Когнитивно-стилистический аспект научной речи”, “Актуальные проблемы исследования текстов массовой коммуникации”, “Проблемы изучения языковой личности”, “Жанры речи в различных сферах общения”, “Лингвистический анализ художественного текста”, “Художественный мир текста”. Доклады были посвящены коммуникативным, лексическим, стилистическим особенностям речи студента, подростка, ученого, священника, юриста, профессионального проповедника, языковым параметрам и стилистике газет, рекламных призывов и маркетинга, политического дискурса, сопоставительному анализу речи русского, англоговорящего, словенца, поляка, проблемам диалектной лексики, в частности, этнонимам Пермского края, фольклору (прикамские былички, песни Карагайского района Пермской области), жанровым разновидностям текстов, например, текста жития старообрядческого святого, художественного текста на материале произведений А.П. Чехова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пильняка, Д. Хармса.

В 2006 году РГНФ поддержал следующие проекты организации лингвистических конференций:

1. Конференция “Сопоставительное изучение разнотипных языков: научный и методический аспекты” (Чувашский государственный университет);
2. II Всероссийская научная конференция “Русский язык XIX века: от века XVIII к веку XXI” (Институт лингвистических исследований РАН);
3. III Международные Бодуэновские чтения “Бодуэн де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания” (Казанский государственный университет);
4. Международная конференция “Проблемы языковой нормы”. Седьмые Шмелевские чтения (Институт русского языка РАН, конференция прошла в феврале 2006 года);
5. Международная конференция “Вопросы языковой адаптации мигрантов” (ЗАО “Златоуст”);

6. Третья конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей (Институт лингвистических исследований РАН);
7. Всероссийская конференция “Активные процессы в современном русском языке” (Таганрогский государственный педагогический институт);
8. Конференция “Индоевропейское языкознание и классическая филология X”. Чтения, посвященные памяти профессора И.М. Тронского (Институт лингвистических исследований РАН);
9. Международная конференция “Актуальные проблемы современной диалектологии” (Институт русского языка РАН);
10. Всероссийская научная конференция “Слово. Словарь. Словесность: из прошлого в будущее (к 225-летию А.Х. Востокова)”;
11. Всероссийская научно-методическая конференция по классической филологии и сравнительно-историческому языкознанию;
12. Международный colloquium “Кельтика–славика” (Celtica–Slavica) (Институт языкознания РАН);
13. Международная научная конференция “Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте” (Московский государственный университет);
14. Конференция “Поэтика и лингвистика: преодолевая границы” (Тверской государственный университет);
15. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Холодовича (Институт лингвистических исследований РАН).

Т.Е. Янко
(Москва)

Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте

31 января – 2 февраля 2006 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась V Международная научная конференция на тему “Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте”. Организатор конференции – кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ. Принять участие в конференции приехали ученые из разных городов России и стран зарубежья. Доклады были представлены на двух пленарных и девяти секционных заседаниях. На торжественном открытии конференции председательствовала заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Кочергина, которая поприветствовала всех участников и гостей научного мероприятия. Пленарное заседание открылось докладом К.Г. Красухина (Москва), затронувшим проблему членимости основы слова. Проводя сопоставление двух подходов к члениению словесной основы – парадигматического, характеризующего Московскую лингвистическую школу, и синтагматического, предложенного З. Хэррисом и американскими дескриптивистами, – докладчик приходит к выводу, что речь идет об одних явлениях, рассмотренных под разными углами. Если для праиндоевропейского языкового состояния

предположить возможность трансформации основ, образующих граммемы из различных грамматических классов, то становится понятной разнородность вовлеченных в аблаутно-акцентную парадигму явлений залога, диатезы, модуса, падежей и даже аспекта и времени. Главная формула аблаутно-акцентной парадигмы в данном случае такова: баритонная словоформа – независимый член предложения, окситонная – зависимый, и эти схематизированные формы представляют собой чистые основы. Процессы, происходившие со словоформами, приводят к выявлению трех типов окситонной основы в соответствии с ее грамматическими функциями и принципами членения, каждый из которых по-своему реализует семантические потенции окситонезы.

Тему греческого языка переводов эдиктов царя Ашоки затронул в следующем представленном на заседании докладе Н.Н. Казанский в соавторстве с Е.Р. Крючковой (Санкт-Петербург). За исключением монет, надписи Ашоки – одно из самых ранних сохранившихся свидетельств греко-индийского билингвизма. Анализируя имеющиеся материалы, исследователи приходят к выводу, что переводы с пракрита осуществлял человек, блестяще владевший греческим литературным койне и хорошо понимавший, что он переводит. Кроме того, переводчик отчетливо

представлял смысл буддийских текстов. Это доказывают точные греческие соответствия для праkritских форм. В то же время он прибегал и к отступлению от оригинала, что давало ему возможность более понятно передавать смысл реальных индийской религиозной и социальной культуры, отличных от греческих. Доклад сопровождался демонстрацией наглядного материала, и это обусловило высокую заинтересованность в нем гостей и участников конференции.

Оживленное обсуждение и вопросы присутствовавших вызвал доклад Ж.Ж. Варбот (Москва) о соотношении формальной и семантической реконструкции в этимологии. Принято считать, что семантическая реконструкция создает исследователю гораздо больше трудностей, чем реконструкция формальная. Но это убеждение не учитывает того, что форма и значение слова едины с точки зрения генетической, исторической и функциональной. Методическим обеспечением гармоничного сочетания формальной и семантической реконструкции является анализ слова в его морфосемантическом поле. В докладе было представлено этимологическое истолкование русск. жарг. *стрелка* и русск. *пострел*, что вызвало многочисленные комментарии присутствующих.

С заключительным докладом на первом пленарном заседании выступил А.Н. Барулин (Москва) – “Идеи Н. Хомского, М. Хаузера и Т. Фитча о происхождении языка. Pro et contra”. В 2002 г. американскими лингвистами была развернута дискуссия, посвященная происхождению языка. Продолжающаяся до сих пор, она показала, что при всех своих достижениях как американские, так и западноевропейские исследователи не знакомы с работами таких ученых, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин. Н. Хомский и его коллеги выдвигают несколько основополагающих моментов исследования, в том числе: 1) фактор междисциплинарности глоттогенетических исследований; 2) основанные на эксперименте, они должны проводиться в рамках сравнительного изучения поведения животных и человека; 3) исследования должны быть направлены на поиски рекурсивных процессов за пределами коммуникативной деятельности. Оценка программы исследований, предложенной Н. Хомским и его коллегами, приводит к выводам о том, что схема анализа глоттогенетического процесса должна включать в себя обоснованный выбор изначальной семиотической системы, от которой началось движение в сторону системы современной, а также исследование свойств этой системы. По мнению докладчика, ни один из поставленных Н. Хомским вопросов

не разрабатывается ни в его собственных работах, ни в работах его коллег.

В течение трех дней в рамках конференции было проведено девять секционных заседаний. Большое количество присутствовавших собрал секция “Классическая филология” под руководством М.Н. Славятинской и О.М. Савельевой. А.И. Солопов (Москва) в докладе «“Черное” и “белое” в латинской топонимии» сделал вывод о том, что хотя именование населенных пунктов посредством цветообозначений в принципе использовалось в латинской топонимии, однако для нее этот способ был не характерен и имел маргинальный характер – как результат контактов греко-римской топонимической системы с системами других народов. Вопросы и комментарии вызвало выступление О.М. Савельевой (Москва) на тему “Греческая версия семантики подозрения”. Проблеме связи латинского порядка слов и фразовой интонации затронул А.М. Белов (Москва), предположивший, что позиция фразового ударения детерминировала особенности смыслового выделения слов при нарушении характерного для латинского языка левостороннего ветвления. Н.А. Гончарову (Минск) исследование семантических эквивалентов во фразеологии на материале латинского и русского языков привело к выводам о том, что семантические инварианты большинства паремий универсальны, а различия связаны с предметно-образной сферой пословиц и поговорок, не затрагивающей их инвариантного значения. Типологической верификации общезыковых фонетических процессов был посвящен доклад А.В. Широковой (Москва), рассмотревшей явление лениции интервокальных согласных в разных языках. О специфике разграничения объективного, денотатного и эпического синкретизма для анализа лексико-семантического поля глаголов мыслительной деятельности рассказала А.В. Верещагина (Москва) в докладе “Отражение архаических особенностей в лексическом значении гомеровских глаголов, обозначающих мыслительную деятельность”. В рамках своего доклада “Особенности эволюции адъективных основ на -и в классических языках” Л.Т. Леушина (Томск) поставила вопросы об относительной хронологии процесса устранения и-основ, о закономерностях и причинах данного явления.

В секции “Язык и культура, проблемы перевода” под руководством А.А. Волкова свои доклады представили М.А. Таривердиева (Москва), выявившая тенденции изменений в системе средств выражения желания в романском языковом ареале (на примере латинского и итальянского языков), и В.И. Страдымова (Иваново), затронувшая тему лингвистиче-

ских новаций в творчестве предшественников-неотеориков.

Большое количество слушателей собрала секция “Этимология, словообразование” (председатель – О.А. Смирницкая). Н.А. О’Шей (Дублин) представила доклад на тему “Галльское *ieugi* – проблема этимологии”. В сообщении было выдвинуто предположение о том, что вызывавшая долгое время споры ученых форма 3 л. ед.ч. глагола *ieugi* со значением “дал, посвятил, преподнес” – результат чисто фонетических процессов. «Параллелизм в противопоставлении “субъектных” и “объектных” признаков у древнегерманских deverbальных и deadъективных имен» рассмотрела Н.Б. Пименова (Москва), через семантические закономерности в дистрибуции суффиксов и их значений выявившая общность происхождения отглагольных и отадъективных типов основ в древнегерманском. Семантике редуцированных местоимений в средневаллийском как индоевропейском был посвящен доклад Е.А. Париной (Москва), приведшей к выводу о том, что источник редуцированных местоимений некоторых индоевропейских языков – эмфатический синтаксический повтор. Выступление В.А. Бондаря (Санкт-Петербург) затронуло проблему совпадения форм 3 л. ед.ч. акк. ж.р. и 3 л. мн.ч. ном.-акк. в древнеанглийском языке. В заключительном докладе секции – “К проблеме именного словообразования в диахронии” (Е.В. Панина, Москва) – на примере санскрита и хинди были проанализированы основные способы деривации в древних и новых индийских языках, а новосанскритское словообразование в хинди представлено как явление, находящееся на стыке диахронии и синхронии. Доклады секции вызвали оживленное обсуждение и активный интерес со стороны всех присутствовавших на заседании.

Проблемы глоттохронологии и культурной реконструкции обсуждались на одноименной секции (председатель – Т.А. Михайлова), где были продемонстрированы результаты глоттохронологических исследований германских языков (В.В. Кромер, Москва), рассмотрены семантические факторы, влияющие на степень сохранности элементов глоттохронологического списка (Л.А. Селезнева-Елецкая, Москва), исследованы некоторые закономерности сохранности древнерусских слов в современном русском языке (А.А. Поликарпов, Москва), разобраны лексико-статистические данные койсанских языков (Г.А. Старостин, Москва) и затронута проблема соотношения языка и культуры (М.А. Рыбаков, Москва).

Под руководством А.И. Солопова в тот же день конференции прошла секция “Восприятие библейского текста”, где исследовались особенности перевода старославянских библейских фразеологизмов (А.В. Григорьев, Москва), на примере антропонимики в библейских текстах рассматривались принципы нарративной номинации (Е. Рыйгас, Санкт-Петербург), толковались редкие слова и выражения старославянских памятников (Н.В. Ниленкова, Москва), анализировалась транскрипция и транслитерация имен собственных в некоторых переводах Библии (Е.В. Борисевич, Минск).

Секция “Историческая фонология” (председатель – А.В. Дыбо) открылась сообщением А.В. Дыбо (Москва) о западнокавказской акцентологической реконструкции и была продолжена докладами М.А. Живлова (Москва), предложившим теорию развития долгих гласных в праарийском, и Н.Ю. Чехонадской (Москва) с одним из вариантов решения проблемы так называемых кратких дифтонгов в древнеирландском языке.

Л.П. Дронова (Томск) и О.Н. Прохорова и И.В. Чекулай (Белгород) представили свои доклады в секции “Язык и личность” (председатель – А.М. Белов), рассмотрев оценочные предикаты и их специфику на материале различных языков.

Большую заинтересованность у гостей и участников вызвала секция “Грамматическая система и ее эволюция” (председатель – К.Г. Красухин), проходившая в заключительный день конференции. На секции прозвучали сообщения о проблеме реконструкции семантики падежей в пратюркском (А.В. Дыбо, Москва), образовании каузатива в армянском и тохарском языках (В.К. Казарян, Москва), в неясном значении и форме галльского существительного *gobedbi*, зафиксированного в надписях I–II вв. (Т.А. Михайлова, Москва), о моделях образования некоторых падежных форм в итальянских языках (Т.А. Карасева, Москва) и об аспектах сравнительно-исторического изучения койсанских языков (А.В. Яковлев, Москва).

Под председательством В.С. Елистратова была проведена секция “Языки в контакте”, на которой выступили И.И. Савицкая (Минск) с докладом “Сопоставительное описание национальных языков: лексикографический аспект”, Т.А. Мальцева (Минск) “Освоение франкоязычной лексики белорусской лексической системой” и Н.Б. Пименова (Москва) с сообщением о сходстве расположения знаков рунического и огамического ряда и лингвистических аргументах происхождения древнегерманского алфавита.

Второе пленарное заседание открылось докладом А.Н. Барулина (Москва) в память Сергея Анатольевича Старостина, а завершилась сообщением С.Н. Кузнецова (Москва) “Архетипы и прототипы: фактическая и фиктивная революция” и заключительным словом ко всем участникам и гостям V научной конференции по сравнительно-историческому язы-

кознанию, которая показала существующий активный интерес к многообразным проблемам компаративистики со стороны ученых всех поколений.

Е.В. Панина
(Москва)

Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов

15–17 сентября 2005 года в Калининграде – Светлогорске состоялась Международная научная конференция “Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов”, организованная Российским государственным университетом имени Иммануила Канта (Калининград) совместно с Институтом языкознания РАН (Москва) при финансовой поддержке РФФИ. В работе конференции приняли участие ученые из ведущих вузов и академических институтов России, а также высших учебных заведений Германии, Польши, Беларуси.

Тематика конференции дала возможность ее участникам обсудить широкий спектр вопросов, касающихся проблемы содержательной эксплицитности / имплицитности в языке и речи. Эксплицитности / имплицитности выражения смыслов – важная характеристика соотношения содержательного и формального планов языка, семантической структуры языковых единиц и организации дискурса. Имплицитность как способность содержать не выраженную явно информацию имеет в языке многообразные способы проявления. Степень вербализации информации рассматривается как один из важных параметров дифференциации культур. В рамках конференции рассматривались механизмы выявления скрытого содержания на разных уровнях языковой системы; имплицитность как универсальная характеристика дискурса (факторы инференции); типы подразумеваемого смысла; имплицитность и фразеологичность семантики производных лексем в русском языке; степень детализации описания ситуации в русском языке в сопоставлении с другими языками; соотношение эксплицитно и имплицитно выраженных содержаний в разных типах текста (в том числе и в художественном тексте) и ряд более конкретных проблем.

Рассмотрению общих методов и механизмов выявления имплицитного содержания были посвящены доклады Ю.Д. Апресяна, А.В. Бондарко, В.З. Демьянкова, Л.Г. Бабенко, Г.И. Берестнева, В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной. В докладе Ю.Д. Апресяна (Москва) “Нетривиальные семантические правила: экспликация имплицитных смыслов” было показано, что в процессе соединения значений относительно простых языковых единиц в составе высказывания во все более крупные блоки они могут вступать в сложные взаимодействия, определенным образом модифицируясь по сравнению со своим прототипическим толкованием. Такие взаимодействия описываются “нетривиальными семантическими правилами”. В связи с этими правилами в докладе были рассмотрены следующие вопросы: а) условия, в которых возникают нетривиальные семантические взаимодействия и, следовательно, необходимость в правилах; б) типы смыслов, наиболее активные в правилах; в) типы правил в зависимости от природы взаимодействующих единиц; г) типы правил в зависимости от механизма воздействия. Было показано, что по-настоящему имплицитные смыслы – принадлежность речи или текстов. Все языковые смыслы выражаются явно, хотя для их понимания требуются нетривиальные правила. А.В. Бондарко (Санкт-Петербург) в докладе “Эксплицитность / имплицитность выражения смыслов в общей системе категоризации семантики” рассмотрел типологии эксплицитно и имплицитно выражаемых смыслов в плане категориальной семантики слов. Было показано, что имплицитные значения такого рода могут быть ситуативными, но могут иметь и системно-языковой характер. При этом эксплицитность категориальной семантики (длительности, перцептивности) может иметь разную степень актуализации. В докладе В.З. Демьянкова (Москва) “О техниках понимания имплицитности речи” было показано, что в “наивном” понимании процесс интерпретации

языковых значений осуществляется в два этапа: сначала происходит “сканирование” языкового выражения с целью извлечения из него содержания, а затем “рисование” мысленного образа сказанного. Соответственно можно говорить о двух техниках понимания – технике “сканирования” и технике “воспроизведения”. В связи с этим докладчиком был предложен интерпретативный подход к объяснению имплицитности и показано, каковы техники понимания различных типов имплицитности в случае “псевдоизбыточных” словосочетаний типа *обычно никогда, обычно как правило, обычно всегда* и т.п. Л.Г. Бабенко (Екатеринбург) в докладе “Интерпретация категоризации мира в идеографическом словаре как способ выявления скрытых смыслов” предложила вариант интерпретационной картины мира, реализованный в идеографическом словаре. Такая интерпретация связана с рассмотрением структуры субъектно-объектных отношений как формы представления и соответственно как способа обнаружения скрытых смыслов и национальной языковой картины мира в целом. В докладе Г.И. Берестнева (Калининград) “Когнитивные механизмы инференции в языке и культуре” было показано, что механизмы инференции в языке часто связаны с такими универсальными языковыми явлениями, как метафора, метонимия, паронимия (парономазия), наличие у слова ассоциативной семантики, в письменных формах речи (обычно поэтической) – анаграммы. Глубинность этих механизмов, по мнению докладчика, обуславливает их актуальность не только для языковой, но и для предметной культурной сферы. В докладе В.А. Плунгяна и Е.В. Рахилиной (Москва) “Национальный корпус русского языка как инструмент семантического анализа лексики: общее представление” в качестве имплицитного объекта был определен весь национальный корпус русского языка (теоретически – любого языка), экспликация и оперативное использование которого стали возможными благодаря развитию компьютерных технологий и распространению глобальных коммуникативных сетей.

Рассмотрению конкретных форм и аспектов имплицитности в языке были посвящены доклады Е.В. Падучевой, И.Г. Милославского, В.И. Заботкиной. Доклад Е.В. Падучевой (Москва) “Имплицитность в лексике: позиция за кадром, инкорпорированные участники, дейксис” был посвящен вопросу имплицитности “участника” в диагезе. Его невыраженность имеет место в четырех случаях: а) если он в результате диатетического сдвига оказался за кадром; б) если он инкорпорирован; в) если он выражен в предложении дейктически в

силу особой семантики называющего его слова; г) не соответствует синтаксическому актанту участника-наблюдателя. И.Г. Милославский (Москва) в докладе “Гипонимы без гиперонимов и гиперонимы без гипонимов” поставил проблему неявно выраженных категорий в русском языковом сознании. Были рассмотрены такие случаи отношений между словами, когда гипонимы не имеют гиперонимов, а гиперонимы – ясных гипонимов. Эти явления, по мнению автора, могут рассматриваться и как “языковые капризы”, и как выражение особенностей русской языковой картины мира. Докладчик показал, что рассмотренное явление используется в настоящее время как эффективное средство манипулирования сознанием носителей языка. В докладе В.И. Заботкиной (Калининград) “Роль инферентных смыслов в развитии семантической структуры слова” на материале английского языка продемонстрировано, что имплицитные содержания слов составляют основу для формирования у них эксплицитных значений, представленных в словарях. Механизм этого процесса составляет употребление слова в новых, нетипичных для него прагматических условиях. Возникающие прагматические “добавки” семантизируются и получают общепризнанный характер.

Проблема эксплицитности / имплицитности выражения информации в речи явилась предметом рассмотрения в докладах М.А. Гловинской и А.А. Камаловой. Доклад М.Я. Гловинской (Москва) “Эксплицитное и имплицитное в семантике русских речевых актов” был посвящен некоторым оценочным компонентам лексических значений, прагматически возникающим при использовании неоценочных глаголов *заявлять* и *объявлять*, обозначающих речевые акты. Оба глагола имплицитно выражают отрицательную истинностную характеристику слов субъекта речевого акта. В докладе говорилось также о семантических и прагматических факторах, способствующих появлению оценочных компонентов. В докладе А.А. Камаловой (Северодвинск) “О состоянии в когнитивных структурах” говорилось о глубинных познавательных условиях, которые обеспечивают прямое / не прямое выражение “состояния” в речи. В связи с этими условиями отмечались знания субъекта о стереотипных ситуациях действительности, структуры представления знаний (представление, понятие), способы вербализации когнитивных структур, грамматические свойства слов и т.д.

Значительная часть докладов была посвящена рассмотрению эксплицитности / имплицитности выражения смыслов на отдельных

уровня языка. О.А. Крылова (Москва) в докладе “Актуальное членение предложения и имплицитная предикация” проанализировала данную проблему в синтаксическом аспекте. Предложение было представлено автором как многомерная синтаксическая единица, структурные компоненты которой неразрывно связаны, но в то же время соотносятся симметрично-асимметрично. С опорой на теорию актуального членения предложения в докладе было показано, что имплицитная предикативность присуща главным образом тематическому компоненту, который имплицитно выражает идею бытийности того, что для говорящего составляет повод для высказывания. В докладе З.Л. Новоженовой (Польша) “Глагольные предложения и предложения с глаголом: к проблеме экспликации основных грамматических значений предложения” предметом анализа послужила нулевая глагольная связка как системное проявление принципа грамматической имплицитности. Это явление рассматривалось на фоне таких фундаментальных свойств предложения, как пропозиитивность, предикативность. Рассмотренный материал позволил докладчику сформулировать тезис о том, что понятие “нулевой глагол” является фикцией, однако “значимое отсутствие” глагола по-прежнему остается языковой реальностью. В докладе Е.М. Шептухиной (Волгоград) “Эксплицидность / имплицитность смысловой структуры глаголов со связанными основами” была предложена новая точка зрения на языковые единицы, при которой учитываются два типа семантических изменений — “модуляция” и “деривация”. Рассмотрение с этих позиций древнерусского глагола позволило установить, что в данной сфере имплицитность выступает как основной способ выражения семантических изменений модуляционного характера. И.Ю. Вертелова (Калининград) в докладе “Имплицитные основания лексической семантики: слова со значением отрицательных лексических состояний в русском языке” предложила диахроническую точку зрения на соотношение эксплицитного и имплицитного в лексической семантике. С этой точки зрения эксплицитной, по мнению докладчика, является современная семантика слова, а имплицитной — вся ее семантическая история, порой включающая и мотивирующий признак. В докладе И.А. Королевой (Смоленск) “Семиотика личных имен как модификаторов дистанции между коммуникантами” было показано, что личное имя в русской культурной традиции имеет вторичные знаковые свойства. Семантика форм имени, по мнению автора, имеет имплицитный характер и имплицитно осознается именуемым и именуемым. Е.Б. Русакова

(Калининград) в докладе “Фразеологичность вторичных номинаций в современном русском компьютерном лексиконе” рассмотрела современный компьютерный жаргон в среде русскоязычных пользователей. Было показано, что нестрогая определенность многих лексических значений в этой сфере простирается из особой динамичности развития самого данного социолекта. При этом семантическое развитие новых компьютерных аргонизмов осуществляется в направлении от имплицитности к эксплицитности.

В ряде докладов проблема эксплицитного / имплицитного выражения смыслов рассматривалась в сопоставительном аспекте, что позволило авторам выдвинуть положения методологического характера или высказать предположения относительно типологической значимости того или иного проявления имплицитности для данных языков. Так, в докладе В. Гладрова (Германия) “Скрытая категория вежливости в русском и немецком языках” было показано, что данная категория имеет в указанных языках разную меру адекватности и реализуется в разных языковых планах: средствах выражения, нормах языкового употребления. Кроме того, скрытая категория вежливости оказывает влияние и на языковое поведение носителей языка, которое проявляется в разных коммуникативных тактиках в немецкой и русской культурах. С.П. Лопуханская (Волгоград) в докладе “Сопоставление языков как средство выявления имплицитных смыслов” на основе рассмотрения семантических изменений в смысловой структуре русских, украинских, болгарских и французских глаголов движения и их сопоставления проанализировала способ выявления имплицитных смыслов данных глаголов, выражающихся в использовании их не в значении перемещения, а в значении состояния, бытия, т.е. с семантикой, раскрывающей предметно-личностные отношения. В докладе Е.В. Петрухиной (Москва) “Скрытые характеристики глагольных ситуаций в русском языке (в сопоставлении с другими языками)” были показаны типы имплицитных смыслов, выражаемых глагольными лексемами в славянских языках, и установлены типологически-значимые характеристики русского и чешского языков. Было показано, что глагол в русском языке обладает большей аспектуальной информативностью по сравнению с чешским языком, в котором нередко предпочтение отдается лексическим средствам выражения аспектуальных значений. В докладе И. Коженевской - Берчинской (Польша) «Имплицитное и эксплицитное в публицистическом дискурсе (к проблеме “польскости” и “русско-

сти)» сопоставительный анализ концептов “польскость” и “русскость”, осуществленный на газетном материале польского и русского языков, позволил автору выявить некоторые скрытые факторы в различиях языковой и культурной самоидентификации. Доклад Н.Ю. Павловой (Беларусь) “Национально-исторические компоненты прецедентного слова” был посвящен когнитивным и коммуникативным функциям ряда культурно-наполненных слов белорусского и русского языков (*особа / личность Творца / Создатель; быть / иметь* и др.) и показано, что национально-исторические компоненты значения прецедентных лексем отражают специфику языкового сознания нации, выявляют особенности в модельных установках языковой личности. В докладе С.М. Прохоровой (Беларусь) “Эксплицитное и имплицитное в пространстве белорусского текста” были рассмотрены способы расширения пространства текста за счет имплицитной информации. При этом основное внимание было обращено на расширение пространства текста при употреблении белорусских и также межкультурных концептов.

Отдельные доклады были посвящены рассмотрению эксплицитности / имплицитности выражения модальных значений. В докладе С.С. Ваулиной (Калининград) “Соотнесенность эксплицитных и имплицитных способов выражения ситуативной модальности в русском языке” были рассмотрены некоторые типы грамматического контекста (глагольные формы изъявительного наклонения, конструкции с независимым инфинитивом, сложные предложения со значением обусловленности), выступающего в функции имплицитного актуализатора модальных значений возможности, необходимости, желательности; прослежена историческая динамика в соотнесенности эксплицитных и имплицитных способов выражения данных значений. Доклад Л.В. Колобовой (Калининград) “Волеизъявление в имплицитном выражении” был посвящен имплицитному выражению модального значения волеизъявления в памятниках деловой письменности Петровского периода в соотнесенности с эксплицитными средствами его выражения. В докладе И.Ю. Куксы (Калининград) “Выражение имплицитных смыслов в разножанровых текстах СМИ” была показана специфика выражения значений побудительной модальности в различных газетных жанрах, заключающаяся в тенденции к увеличению имплицитных способов выражения данных значений. В докладе Н.А. Суворовой (Калининград) “Аналитическая фразеология и ее лексемно-корреляты в эксплицитности / имплицитности модальных значений” рассмот-

рены особенности экспликации и имплицитности семантики фразеологизмов применительно к аналитическим конструкциям, установлено своеобразие в выражении фразеологизмами модальности возможности в сопоставлении с лексемно-коррелятом *ночь*.

Ряд докладов был посвящен вопросам эксплицитности / имплицитности выражения смыслов в художественном тексте. Н.Г. Бабенко (Калининград) в докладе “Бестиарий современной прозы в аспекте имплицитности / эксплицитности культурных коннотаций” рассмотрела контекстуальные условия возникновения и средства экспликации как традиционных культурных коннотаций, коллективных по своей природе, так и новаторских, индивидуально-авторских коннотаций. В докладе Р.В. Алимпиевой (Калининград) “Эксплицитность / имплицитность при создании цветочных образов в поэтических текстах А. Мицкевича и их русских переводах” на примере употребления в текстах А. Мицкевича прилагательных-цветообозначений *красный, белый, синий* были раскрыты имплицитные содержания художественных цветообразов, органично связанных с этнокультурными традициями в двух языковых ментальностях – польской и русской. В.И. Грешных (Калининград) в своем докладе показал значение пространственных отношений между мыслеобразами в лирике И. Бунина, а также выявил специфику бунинского мышления, особенности зарождения мысли в авторском сознании и ее переход из имплицитного состояния в эксплицитное. Доклад И.Н. Лукьяненко (Калининград) “В. Набоков: имплицитные аспекты цветовой семантики” был посвящен специфике цветообозначений в русскоязычной прозе В. Набокова. Особое внимание было уделено окказиональным номинациям, цветовая семантика которых в обычных условиях имеет имплицитный характер, но в произведении В. Набокова неожиданно и ярко эксплицируется. В докладе Д.А. Салковой (Калининград) “Интертекстуальные средства маркирования имплицитного смысла текста (на материале произведений Т. Манна и Й. Бобровского)” было показано, что одним из механизмов формирования имплицитных смыслов в тексте и вместе с тем механизмом их экспликации является интертекстуальность. Т.В. Цвигун и А.Н. Чернякова (Калининград) в докладе “Русский авангардизм как несказанное и несказанное” рассмотрели процесс утраты значимостей единицами художественного текста как один из наиболее ярких признаков поэтики русского авангарда 1910–1930-х гг. В текстах такого рода доминирующую роль играет принцип имплицитного выражения смыслов, а их

экспликация обретает роль функции, аргументом которой выступает читатель.

На заключительном заседании участники конференции выразили общее мнение о необходимости дальнейшей разработки проблемы эксплицитности / имплицитности выражения

смыслов и наметили основные аспекты соответствующих исследований.

С.С. Ваулина, Г.И. Берестнев
(Калининград)

Динамика когнитивных процессов и науки о языке

В сентябре 2005 г. группа “Распределенная модель языка” (РМЯ) организовала небольшую конференцию¹ в колледже Сидней Сассекс в Кембридже.

Введение. Собрав вместе ученых, исследующих социальное поведение людей с натуралистических позиций, конференция преследовала цель наметить новый подход к комплексу наук о языке. Члены группы РМЯ исходили из того, что достижения в этой отрасли знаний до сих пор остаются весьма скромными. Причина этого, как мы считаем, кроется в широко распространенных и не подвергающихся сомнению аксиомах о языке и когниции, которые имплицитно или эксплицитно исходят из того, что человеческие существа суть системы входа-выхода. Широко распространенным и, как мы считаем, ошибочным является убеждение в том, что язык “репрезентативен”, см. [Кравченко, в печ.]. В действительности, мозг не репрезентирует квазизыковые формы, так же как он не дает нам возможность отражать в этих формах выделяемые в физическом мире сущности. По этой причине также ошибочно полагать, что письменный язык “репрезентирует” устный (естественный) язык, или что языковые взаимодействия могут быть удовлетворительным образом идеализированы в виде последовательностей письменных знаков. Когда же подобные допущения принимаются, коммуникация ошибочно рассматривается как обмен информацией, основанный на кодовых языковых единицах, см. [Кравченко 2003]. В противоположность этому, отказываясь от подобных допущений, участники конференции отвергают взгляд на коммуникацию как “телементацию”, а вслед за этим и любую лингвистическую теорию, основанную на том, что Рой Харрис [Harris 1981] называет “языковым мифом”.

С целью выйти за рамки таких моделей языка, мы начали с вопроса, можно ли в каком-нибудь приемлемом смысле рассматривать язык как “цифровой код”. В рамках подхода к когниции как распределенному процессу этот вопрос возникает потому, что язык отнюдь не “репрезентирует” когнитивные процессы, но преобразует каузальные связи между мозгом, телом и миром, см. [Clark 1997]. Язык не предназначен для обработки каких-то данных, он представляет собой неоднородный набор артефактов и практик, становящихся в процессе онтогенеза неотъемлемой частью человеческой деятельности. Поэтому на конференции в Кембридже задались вопросом о темпоральных функциях когнитивных процессов. Они рассматривались с точки зрения “реального времени”, онтогенеза, культурной истории и естественного отбора.

И далее, в качестве участников, мы делимся нашими общими впечатлениями от конференции. Сначала мы остановимся на понятии распределенной когниции. Затем мы сосредоточим наше внимание на описании того, как когнитивные и онтогенетические процессы участвуют в установлении связей между языком, с одной стороны, и мозгом, поведением и биологией, с другой, намереваясь показать, как, будучи должным образом реконцептуализированы, синтетические методы могут оживить научный поиск в области наук о языке. В заключительном разделе мы остановимся на онтологии языка.

Распределенная когниция. До недавнего времени, большая часть исследователей, занимающихся изучением языка и мышления, в качестве своего объекта полагала внутреннюю “языковую способность”. Часто она рассматривалась как система репрезентаций, необходимая для всех видов языковой деятельности. Хотя подобные модели и совместимы с “вычислительной теорией сознания”, они уже не пользуются популярностью в современной когнитивной науке – по крайней мере, среди растущего числа ученых, не приемлющих классических взглядов на репрезентации. Во-первых,

¹ Адрес веб-странички конференции: <http://www.psy.herts.ac.uk/dlg/abstracts.html>

эмпирические данные показывают, что, вопреки убеждению когнитивистов первого поколения², мозг не прибегает к помощи квазиязыковых репрезентаций. Во-вторых, коннекционистские модели и структурно-функциональные исследования мозга³ показывают, что нейронная активность является радикальным образом распределенной: “репрезентативные состояния” мозга обнаруживают временную зависимость. В-третьих, животные и роботы часто могут действовать гибко и адаптивно, не пользуясь при этом внутренними репрезентациями. Соответственно, многие ученые-когнитивисты сейчас сосредотачивают свое внимание на ситуативности, воплощенности и сопоставимости поведенческих структур (паттернов).

В той степени, насколько вообще имеет смысл говорить о внутренних репрезентативных состояниях, они распределены в мозге, основаны на истории онтогенетических сцеплений (корреляционной согласованности) между телом и миром и вряд ли повторяются в неизменной форме. Для объяснения важности вербальных поведенческих структур в жизни людей следует обратить особое внимание на роль культурной эволюции. По этой причине, растет число исследователей, отвергающих “интернализм” и приводящих доводы в пользу того, что то, что мы называем “сознанием”, определяется каузальными процессами, выходящими за пределы телесной оболочки и черепной коробки (см. работы Л. Выготского, Дж. Гибсона, У. Матураны и Ф. Варелы, Э. Кларка, Э. Хатчинса, Т. Ярвилето, А. Кравченко).

Когнитивные процессы распределены в нашем мозге, телах и, в некоторых случаях, социальном и физическом мирах. Впервые став предметом обсуждения в философии когнитивной науки, эта идея нашла широкое применение в эмпирических исследованиях человеческого познания. Главный упор в таких работах делается на то, что если точное корреляционное согласование (сцепление) между динамическими системами каким-то образом оказывает влияние на человеческое поведение, то обыденный взгляд на сознание является глубоко ошибоч-

² При возможности разных подходов, классический подход опирался на порядковые цифровые вычислительные машины в своем понимании репрезентаций как квазиязыковых или статических сущностей, чьи заданные формальные свойства остаются практически неизменными от человека к человеку.

³ Компьютерная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография и т.п.

ным. Рассматривая вытекающие из такого подхода следствия, Э. Кларк и Д. Чалмерс [Clark, Chalmers 1998] выдвигают идею “расширенного сознания” на том основании, что, в процессе повседневного общения, мы ошибочно не придаем значения тому, как внешние ресурсы – особенно артефакты – расширяют наши мыслительные возможности. В созвучной работе Э. Хатчинс [Hutchins 1995], отталкиваясь от данных этнографических исследований различных видов человеческой деятельности, показывает, как артефакты, человеческие практики и народные верования влияют на формирование когнитивных задач. Например, то, как мы управляем кораблями и прокладываем навигационные курсы, зависит от приборов, традиций и определенным образом организованной коллективной деятельности. Так, когда мы определяем место нахождения корабля, решаемые нами вычислительные задачи несут распределенный характер. В современной западной культуре определение места нахождения корабля представляет собой набор определенным образом организованных поведенческих микроструктур (например, то, как моряк считывает показания алидады), в которых воплощается деятельностный аспект распределенных репрезентативных процессов. Вычисление координат точки нахождения в море зависит не только от работы мозга, но также от действий субъектов, согласованно использующих артефакты. Для сложных систем человеческих взаимодействий характерны события, каузальные истоки которых уходят в их функциональную и социальную историю. Перефразируя Э. Кларка [Clark 1997], можно сказать, что люди зачастую делают мир умным, чтобы мы могли оставаться в нем умиротворенно глупыми: когниция распределена в культуре.

Язык и когнитивные процессы. Хотя и Кларк, и Хатчинс подчеркивают важность подхода к языку как распределенной деятельности, само это направление систематически пока не разработано. Именно поэтому Д. Спуррет и С. Коули организовали в 2003 г. конференцию, посвященную распределенности языка как проблеме, см. [Spurtt 2004]. Сосредоточившись на деятельности, протекающей в реальном времени, участники конференции провели параллель между распределенной когницией и “интеграционной лингвистикой”, см., например [Nagis 1996]. Отказавшись от идеи формальной системы, определяющей “употребление языка”, участники конференции рассматривали языковое поведение как результат интеграции разных видов деятельности в реальном времени (включая те, которые имеют знаковую сущность). При таком подхо-

де, наш интерес уже не ограничивается исключительно формальными структурами, мы ставим вопрос о том, как они интегрированы с ситуативно обусловленными событиями в реальном времени. В центре внимания оказывается “язык первого порядка”. Этот вид деятельности является полностью воплощенным, но, в то же время, он опирается на культурные паттерны, организованные вокруг формирующих социальную жизнь текстов и речи.

На конференции в 2003 г. все согласились с тем, что такой новый широкий взгляд на язык помогает пролить свет на то, как мозг и тело связаны с миром. В терминах С. Коули [Cowley 2004], наши порождающие контекст тела интегрируют наши действия в реальном времени в процессе нашего использования социально и культурно обусловленных паттернов. С этих позиций, язык реализуется как деятельность и одновременно подвергается интерпретации в рамках временных шкал событий биологической и культурной природы. Развивая этот подход, участники конференции в Кембридже преследовали цель разработать не столько теорию, сколько более четкую модель необходимых когнитивных процессов.

Конференция собрала вместе философов, психологов и лингвистов, представляющих разные теоретические направления – системное, генеративное, когнитивное, диалогическое, интеграционное и экологическое. Все доклады были своеобразными откликами на заранее розданные черновые тексты докладов Н. Лавана и Д. Росса, в которых язык первого порядка был представлен как ситуативно обусловленная воплощенная деятельность, в эволюционных временных рамках опирающаяся на социальные взаимодействия, связанные с использованием звуков (и наблюдаемых движений). Дискуссия в Кембридже началась с онтологических вопросов о том, каким образом (если это вообще возможно) язык может быть “цифровым”, и затем повернула к нейронным и поведенческим закономерностям. Однако для простоты изложения мы начнем с того, каким образом язык интегрирован с мозгом и поведением, после чего обратимся к методологическим и онтологическим проблемам.

Основываясь по меньшей мере на 20-летнем опыте нейробиологических исследований, С. Бротген в своем докладе “За пределами эгоцентрической утилитарности: о происхождении проторазговора и (до)вербальном научении через альтерцентрическое участие” подчеркнул ту мысль, что язык использует мозг, предрасположенный к социальной деятельности. Человеческий мозг обеспечивает альтерцентрическое зеркальное отражение: новорожденные дети развиваются таким образом,

что их мозг приобретает способность репрезентировать как “себя”, так и, что особенно важно, значимых других (т. е. родителей). Используя эти возможности, маленькие дети включаются в тесное взаимодействие с обоими родителями и – шире – культурными паттернами в их деятельности. Научение в значительной степени определяется нашим совместным поведением, в результате которого мы позволяем языковой динамике изменять социализованный мозг.

Аналогичным образом, П. Линелл в докладе “Диалогический язык и диалогическое сознание” подчеркнул наши нейронные способности к осуществлению, среди прочего, мониторинга и контроля за событиями, образующими диалог. В последовавшей дискуссии Д. Росс поддержал подобный взгляд, сославшись на методику гиперсканирования, благодаря которой можно видеть, что нейронная активность в ситуациях, когда люди находятся не одни, радикальным образом отличается от случаев, когда человек находится в одиночестве. Короче говоря, будучи “наполненным” звуками языка, социальный мозг также связан с миром своего тела.

Например, А. Канжелози (“Эволюция и контекстуализация языка в мультиагентных и робототехнических системах”) сообщает об исследованиях, показывающих, что глаголы и существительные имеют ассоциативную связь с нейронным возбуждением в сенсороторной и сенсоторной зонах соответственно. Мозг позволяет нам говорить, но аналогичная динамика имеет место и за пределами телесной оболочки. Роль координации в реальном времени подчеркивается в докладе П. Тиболта (“Язык, антиципационная динамика и распределенный характер деятельности и созидания значений”): обращаясь к микрособытиям, он показывает, что вербальный язык – это не более, чем вид интегрированной мультимодальной “высказывательной деятельности”, ср. [Cowley 2004]. С помощью видеозаписи детей, разговаривающих о пришельцах, он показывает, как мальчик создает значение, опираясь как на собственные события регулярности, так и на эффордансы⁴ окружающей среды. Деятельность распределена по различным временным шкалам, которые характеризуют лицезвоние мимику, вербальную деятельность и прикасание к волосам на голове другого мальчика. В частности, П. Тиболт исследовал процесс возникновения значения в ситуации, когда один мальчик держит друга за ухо, говоря при этом, что прише-

⁴ Эффорданс – то, что окружающий мир предоставляет, разрешает совершить индивиду.

лец “выглядел бы так”. По Тиболту, этот процесс зависит от антиципационной динамики и показывает, что говорение “ценностно нагружено”. Поскольку созидание значения изначально носит межличностный характер, Тиболт считает, что многие его функции определяются микродинамикой всего тела. Благодаря им высказывания “имплицитуют точку зрения” или, в других терминах, подталкивают нас к интегрированию деятельности как в переживаемом настоящем, так и в разных эколого-социальных временных шкалах. Проведенные П. Тиболтом исследования микрособытий послужили основанием к тому, чтобы согласиться со следующим: при подходе к языку как распределенной деятельности, мультимодальная контекстуализация языка трансформирует телесные ресурсы. Многие проблемы в языковедческих науках могут быть обусловлены как раз тем, что деятельность одновременно организуется в пико-масштабе деятельности мозга, масштабе микродвижений и, конечно же, в масштабе действий, межличностных событий и общественных практик. Равным образом, многое зависит от того, как, используя координацию и опыт, мы стремимся произвести то, что мы предвосхищаем.

Ни для кого из тех, кто изучал структурное сцепление действующих в реальном времени субъектов живой и неживой природы, не будет новостью, что диалог связан с координацией действий. Как подчеркнул Б. Ходжес (“Хорошие перспективы: экологическая и социальная точки зрения на совместный разговор”), это совпадает с гибсоновским подходом, в соответствии с которым язык возникает из “усилий, направленных на определение значения и ценности”. Язык не может основываться на формах и функциях именно потому, что, в терминологии Ходжеса, креативность зависит от нашего стремления к обретению ценностей. В той мере, в какой язык подобен “системе органов чувств”, наше понимание необходимым образом корреляционно согласовано с действием. Ответная реакция одного человека всегда одновременно является и предвосхищением того, какое продолжение может последовать со стороны другого. Короче говоря, если корреляционная согласованность в реальном времени – это часть того, что делает нас людьми, то особенно поражает тот факт, что это же самое свойство оказывается центральным для моделирования поведения адаптивных физически контекстуализированных субъектов, описанных А. Канжелози. Таким образом, вполне может оказаться, что онтогенетическая контекстуализированность языка определяется человеческой способностью к тонкой межличностной координации действий.

Язык нельзя отождествлять с интегрированными мультимодальными событиями. Действительно, хотя распределенная модель когниции (или “расширенного сознания”) многое говорит о корреляционной согласованности, роль которой подчеркивалась выше, это всего лишь часть общей картины. Вообще, как подчеркивает М. Уилер (“Непрерывность под вопросом: языковая компетенция и расширенное сознание”), теоретики сталкиваются с гораздо более трудной проблемой. В частности, когда мы “думаем про себя”, язык представляется странным образом корреляционно согласованным с физическим миром. С точки зрения Уилера, поэтому очень важно установить, есть ли вообще какой-то смысл говорить о том, что язык трансформирует способы вычисления и/или репрезентации, к которым прибегает мозг [Dennett 1991; Clark 1997; Wheeler 2004]. В этом плане, имеющиеся данные говорят о том, что язык все-таки влияет на то, как мозг исчисляет и репрезентирует мир. Мы не только не ограничиваемся использованием языка первого порядка, но мы также молча репетируем языковые действия в режиме “оффлайн”, которые, по мнению Уилера, не совсем укладываются в биологические или экологические модели языка. По образному выражению Л. Выготского, “язык уходит в подполье”. Но что это значит? Являются ли словоформы (или грамматика) внутренними свойствами мозга? Нужно ли человеку создавать виртуальную систему для частных размышлений?

Все согласны с тем, что, в принципе, распределенный подход к языку можно использовать для постановки вопроса о том, каким образом мозг предоставляет нам эти возможности. Собственно, такая убежденность проявилась в докладе Д. Расса, с которого открылась конференция (“*Homo sapiens* как экологически особый вид: что дает язык?”). Без языка, считает он, мы никогда не смогли бы развить виртуальные собственные “я”, которые отличают нас от животных и, странным образом, одновременно подчиняют себе нашу жизнь. Как же у нас развился мозг, позволяющий нам – погруженным в культуру “я” – членить мир? Каким-то образом язык преобразует нашу изначальную природу.

Преображающее воздействие языка подчеркивается и в докладе Р. Менари (“В чем наше отличие: письмо как мышление”). Уходя от явлений первого порядка, он рассматривает роль культурных конструктов второго порядка или письменных знаков. Утверждая, что использование таких артефактов изменяет деятельностную сущность человека, он подчеркивает, что тексты – а не просто деятельность в

реальном времени – могут оказывать влияние на культурную эволюцию. Будучи использованными как инструменты, с помощью которых когнитивная работа организма “разгружается” в физический мир, письменные знаки в то же время побуждают к действию, не зависящему от их физических свойств. Учитывая, что с ними связана “медленная динамика” человеческой когниции, можно сделать два предварительных заключения. Во-первых, именно из-за выделенности более “статичных” аспектов языка многие были введены в искушение тем, что П. Линелл [Linell 2005] называет “письменно-языковой предвзятостью лингвистики”. В терминах распределенного подхода, однако, имеющие в данном случае значение феномены не оправдывают интерналистского взгляда на язык как систему, образованную (по большей части определяемыми) словными единицами. Во-вторых, эти медленные феномены представляют проблему для распределенного подхода. Ни в коей мере не ратуя за объективацию языковой системы, мы должны объяснить, как события первого порядка в конечном итоге позволяют субъектам использовать медленную динамику чтения, письма и проговаривания про себя.

Хотя многие участники конференции прибегали к биологическим моделям, проблема физической контекстуализированности языка наиболее явно была затронута в упомянутом выше докладе А. Канжелози и в докладе А. Кравенко (“Сущностные свойства языка, или почему язык не является (цифровым) кодом”). Опираясь на теорию автопоза, Кравенко подчеркивает, что язык не может рассматриваться как некий вид кода. Отнюдь не являясь денотативным по природе, язык возникает из онтогенетических структурных сцеплений, ведущих к постепенному становлению консенсуальной области, см. [Krauchenko 2003]. При таком биологическом подходе поведение возникает из структурной пригонки между динамической системой или организмом и его средой или окружением. Именно биология позволяет нейронным системам обращаться к пропитанным языком взаимодействиям с окружающей средой.

Естественно, мы не должны ожидать, что отдельные состояния нейронной активности (“репрезентации”) будут ко-вариативны культурно предопределенным словным единицам. В широком смысле, эта модель оказалась приемлемой для всех участников конференции. Конечно же, биология играет существенную роль, и вполне обоснованно подходить к человеку как адаптивному контекстуально обусловленному субъекту. Однако во время дискуссии выяснилось, что модель обладает недо-

статочной объяснительной силой именно применительно к чисто человеческим аспектам языка. Во-первых, остается неясным, как развивается деятельностный аспект человеческой сущности, или, говоря словами Росса, как мы пришли к тому, чтобы использовать цифровые сигналы для членения окружающей среды. Этот довод очевидным образом переключается с поставленной Уилером проблемой, связанной с думанием про себя. Мы прибегаем к молчаливому проговариванию мыслей именно тогда, когда в нас развивается внутреннее “я”, которое и делит мир на части. Как можно разрешить это противоречие?

Один возможный путь был указан Ф. Карром (“Интернализм, экстернализм и кодирование”). Он предложил объединить взгляд на когницию как распределенную деятельность и “слабый интернализм”. Соглашаясь с тем, что человеческая способность подавать и воспринимать знаки-сигналы представляет единственно возможное основание для языка (который выходит за границы телесной оболочки), Карр избегает говорить о воплощенности или о виртуальных субъектах. Вместо этого, хотя и не разделяя кодовой идеи языка, он предлагает считать, что у отдельных членов сообщества развиваются системы, позволяющие связывать звуки речи с концептами.

С точки зрения некоторых участников конференции (оказавшихся, правда, в меньшинстве), проблема корреляционного рассогласования может быть в принципе решена, если удастся показать, каким образом физически контекстуализированные репрезентации могут отображать физические контекстуализированные концепты. Более того, это переключается с содержанием доклада Канжелози. В данном ключе, деятельностные субъекты создаются таким образом, чтобы разрешить проблемы “контекстуализации символа” [Harnad 1991]. Короче говоря, используя слабые интерналистские модели, искусственные деятельностные субъекты должны построить репрезентативные состояния, связав свойства мира со своей сенсомоторной системой. В чем же тут подвох? Если отбросить технические вопросы, перед нами снова все те же проблемы. Нет данных в пользу того, что при таком подходе можно получить либо субъектов, использующих сигналы, существующие отдельно от их обусловленного миром восприятия, либо субъектов, самое предназначение которых заключается в сжатом выражении своих собственных когнитивных категорий. До сих пор искусственные субъекты не могут, говоря словами Росса, создавать собственные области значений, см., например [Zlatev 2003].

Новые направления в науках о языке. Могут возразить, что мы всего лишь показали, что широкая модель сознания – модель, в которой ментальные способности расширяются за счет привлечения внешних ресурсов – отражает широкий взгляд на язык. Как, в таком случае, можно разработать научную программу исследования природы языка первого порядка и его преобразующей силы? В очень схематичном – по крайней мере, на данный момент – виде Росс предложил исходить из простой посылки, а именно: чисто языковых данных не существует. Если принять это за аксиому, нашей первоочередной описательной задачей должно быть изучение того, как динамические процессы первого порядка организованы (хотя бы приблизительно) в эволюционных, исторических, онтогенетических, реально-временных и нейронных (пико-) масштабах времени. Можно надеяться, что это откроет путь для создания моделей, обладающих объяснительной силой. Можно смоделировать взаимодействия между соседними временными шкалами, проверить результаты этих взаимодействий и, подвергнув анализу, использовать при разработке новых гипотез относительно инвариантных паттернов (с измерением регулярностей), которые могут (или же не могут) наблюдаться в разных временных масштабах.

Таким образом, синтетические методы, описанные Канжелози, можно было бы использовать для проверки гипотез, охватывающих целый ряд проблем. Вместо рассмотрения вопросов, связанных исключительно с медленной динамикой культурных процессов, можно также моделировать события в более мелких временных масштабах. В этой связи, вопрос о “контекстуализации символа” стал бы вопросом о том, как язык первого порядка может постепенно подталкивать субъектов к использованию того, что другие определяют как символы. Пока же следует подчеркнуть, что мы не знаем ни того, какого рода искусственные субъекты окажутся наиболее подходящими, ни того, возможно ли вообще осуществление такой программы. При наличии определенной аналогии с когнитивной робототехникой, акцент все-таки должен быть не на том, как мы обращаемся с культурными конструктами второго порядка, а на том, как возникает наша вера в слова и связанные с ними паттерны. Здесь уместно привести сравнение с тем, как маленькие дети научаются говорить, см. [Thibault 2000; Cowley, Spurrett 2003; 2004; Cowley 2004], отметив попутно, что карликовые шимпанзе и попугаи в той или иной степени достигают успехов в общении с нами при наличии мотивации действовать в со-

ответствии с такой верой. Успех такой исследовательской программы будет зависеть от того, насколько она будет опираться на описание и моделирование процесса возникновения социальных событий из интегрированной мультимодальной деятельности, характеризующейся множественными временными шкалами.

Наконец, учитывая важность динамики когнитивных процессов, распределенный подход к языку должен установить четкую область взаимодействия с гуманитарными науками. Динамические модели требуют детального описания ограничений, накладываемых социальным и историческим контекстом на действующих субъектов. Короче говоря, исходя из того, что язык является сложным социальным поведением, нам необходимо понять, каким образом субъект отличается от других человеческих (и не-человеческих) деятелей, использующих сигналы для членения мира, создания сложных институтов, виртуальных “я” и странных убеждений.

Мы должны понять, почему опыт постепенно убеждает нас в том, что наиболее легко повторяющиеся аспекты нашей сигнальной деятельности – слоговые структуры – образуют ядро языковой системы.

Онтологические проблемы. Многие лингвисты считают, что мы обладаем языковой способностью: каким-то образом мозг репрезентирует словоформы “в голове”. Действительно, многие даже не подвергают сомнению обывденные взгляды, в соответствии с которыми речь и письмо (тексты) зависят от вербальных систем и от того, как они используются. В соответствии со сложившейся традицией, онтологические проблемы занимали подчиненное положение по отношению к эпистемологическим проблемам. В рамках распределенного подхода подчеркивается очень малая вероятность того, что мозг использует “квазиязыковые” репрезентации. Хотя это положение нуждается в дальнейшей разработке доказательной базы, все согласились с Н. Лавом (“Язык и цифровой код”) в том, что отождествление языка с каким бы то ни было видом кода является заблуждением. Напротив, если словоформы являются культурными конструктами второго порядка (основанными на истории письменности), то язык первого порядка протекает в многомерных процессах человеческой деятельности.

Особую трудность представляют биокультурные события. Хотя и остаются некоторые проблемы в связи с тем, как нужно концептуализировать язык и репрезентации, сама теория начинается с языкового опыта первого порядка. Кодовые модели языка возникают не из того, как язык интегрируется в мозгу и поведе-

нии, а из культурной традиции, отдающей предпочтение монологу и отталкивающейся от письменных текстов в определении языковых единиц. Поразительно, но даже сторонники “слабого интернализма” согласны с тем, что, как сигнальная деятельность, язык контекстуализируется физической средой. Для лингвистики это переломный момент: мы отказываемся от взглядов Соссюра, в соответствии с которыми для “звуковой субстанции” нет места в науках о языке.

Язык уходит корнями в физические события, когда социализованный мозг подталкивает людей к координации действий в реальном времени; такая координация, однако, не является результатом употребления слов, фонологических единиц или значений. Хотя такой взгляд в той или иной мере импонировал всем участникам конференции, не все согласны с Лавом в том, что язык это процесс, контекстуализированный физической средой. Некоторым кажется, что это шаг в сторону номиналистического взгляда, который, извращая существо дела, практически отрицает роль опыта в возникновении функциональных репрезентаций.

Далее, все согласились с необходимостью решения проблемы, сформулированной Россом. Да, язык каким-то образом накладывает ограничения на когнитивные процессы, с помощью которых мы “членим мир”, но при этом распределенный подход призван объяснить, как эти наши способности возникают из воплощенных действий. Можно со спокойной совестью отвергать дуализм, элиминативизм и ковариативность сознания в объяснении природы языка, но для того, чтобы показать возможности распределенного подхода, необходимо объяснить, как именно язык позволяет нам сжато выражать и отделять то, что составляет наш воплощенный опыт. По словам Ходжеса, необходимо объяснить, каким образом мы “используем язык как перцептивную модальность, вызывающую ответные реакции мира”. Хотя у нас есть приблизительные представления о том, как дети становятся деятельностными субъектами, прибегающими к помощи цифровых сигналов (в смысле Росса), мы пока не можем объяснить развитие этой способности в доисторический период. Каким-то образом люди смогли разорвать каузальную замкнутость биологических систем, выработав стратегии использования культурных и языковых паттернов. Даже при условии, что основу языка составляют физические события, позволяющие социализованному мозгу координировать наши действия в реальном времени, мы все равно должны объяснить и то, как наши “я” перестают быть корреляционно согласован-

ными с нашей деятельностью, и то, как они при этом приобретают способность к внутренней речи.

Возникающие проблемы удивительным образом оказываются созвучными друг другу. Если Канжелози призывает к более реалистичному подходу в объяснении того, как язык позволяет нам делить и уплотнять категории, то Карр обращает внимание на корреляционную рассогласованность фонетических категорий, а Уилер подчеркивает роль внутренней речи. Хотя проблем это не решает, все-таки становится ясно, что необходимо исследовать преобразующую силу языка. Во-первых, с точки зрения Р. Менари, по мере того, как развиваются коллективные практики, связанные с нашим использованием письменных меток, они приобретают более “теоретический” характер [Donald 1991]. Во-вторых, как отметил П. Линелл, поскольку практики, связанные с письменными знаками, серьезным образом влияют на работу центральной нервной системы, аналогичное явление, возможно, имеет место и в языковой деятельности первого порядка. Вместо того, чтобы задаваться вопросом о том, преобразует ли язык вычислительные и/или репрезентативные возможности мозга, следует, возможно, рассмотреть то, каким образом нейронные системы, ведя к возникновению человеческой субъектности, отталкиваются при этом от взаимодействий. При таком подходе внутренняя речь предстанет не как переведенный вовнутрь язык, а как следствие интегрирования деятельности первого порядка с воплощенными аспектами человеческого “я”. В терминах Ходжеса, взаимно регулирующие функции координации могли бы служить во благо человеку, использующему внутреннюю речь для оценки “мыслей”. Это не только не противоречит взгляду, при котором язык расширяет возможности приматов, но и соответствует видовым особенностям онтогенеза. Возможно благодаря стремлению соответствовать тому, что воспринимается как разделяемые обществом стандарты, язык первого порядка обеспечивает индивидов новым инструментарием, позволяя им создавать свои собственные эффорданы. Вместо того, чтобы считать необходимыми раздельные социальные и концептуальные структуры, – с позволения Карра, – достаточно, может быть, просто принять это как допущение.

Как бы там ни было, к двум главным результатам конференции нужно отнести следующее: ее участники отказались от использования кодовой метафоры применительно к языку и, что не менее важно, подчеркнули способность языковых сигналов делить мир. Значит, исследовательскую работу можно

продолжить, исходя из посылки Росса о том, что “чисто языковых данных не существует”. Скорее, язык является частью деятельности первого порядка и опыта, и – продолжая в этом же духе – мы можем использовать методологические ресурсы, разработанные в моделировании каузальных процессов. Именно из этих соображений на следующей конференции группа РМЯ постарается сформулировать аксиомы для моделей, которые мы считаем необходимыми для того, чтобы вдохнуть новые силы в науку о языке.

Краткий глоссарий

Интернализм – взгляд, в соответствии с которым когнитивные процессы, по определению, происходят внутри телесной оболочки организма. При слабом интерналистском подходе, сосредоточенность (исключительно) на внутренних когнитивных процессах сглаживается утверждениями о том, что эти процессы зависят не только от естественного отбора (и присущих им физических ограничений), но и от некоторой интернализации (т. е. перевода вовнутрь).

Экстернализм – взгляд, в соответствии с которым аспекты среды определяют, по крайней мере, содержание когнитивных процессов.

Распределенная когниция – взгляд, в соответствии с которым знание и приобретение знания не зависят исключительным образом от того, что происходит внутри телесной оболочки организма. Скорее, эти виды деятельности не отделимы от действий по отношению к воспринимаемым аспектам среды.

Распределенная модель языка – модель, в которой язык, вовсе не являясь однородным внутренним кодом, описывает разнородный набор артефактов (например, дорожные знаки, книги, компьютерные программы) и практик (например, речь, адресованная собакам, детям, или парламентские дебаты). Эти артефакты предоставляют нам возможность использовать поведенческие модальности такими способами, благодаря которым осуществляется приписывание семиотических значимостей.

Расширенное сознание – взгляд, в соответствии с которым сознание не заключено в теле, а ментальные состояния не определяются исключительно состояниями мозга. Внешние факторы играют существенную роль в определении ментальных состояний как результата корреляционных согласований (сцеплений) между средой и организмом; в этой системе сцеплений мозг, тело и мир вступают в меняющиеся отношения взаимной каузальности.

Интеграционная лингвистика – подход к языку, основанный на аксиоме, что семиотическая ценность знака не дана заранее, а возникает как функция интегрирования разных видов деятельности (в эмпирическом времени).

Языковая динамика – процессы употребления и интерпретации языка по мере того, как человек вступает во взаимодействие со средой; зависят от составляющих когнитивную динамику каузальных процессов, которые происходят внутри и на протяжении нескольких временных областей (таких как эволюция, история, онтогенез, область отношений, эмпирическое время, различные микровременные области).

Антиципационная динамика – процессы конструирования антиципационных моделей взаимодействий организма и среды, лежащие в основе гибкого целенаправленного поведения.

Языковая деятельность первого порядка – проделывание того, о чем вы говорите, когда говорите о языке (т.е. когда вовлекаетесь в деятельность второго порядка). Соответственно, деятельность первого порядка – это “проделывание” того, о чем вы говорите, когда говорите о действии и восприятии (включая как нейронный, так и поведенческий аспекты).

Культурные конструкты второго порядка – сущности, возникающие как результат разговоров о деятельности. Главным образом, это лингвистические конструкты второго порядка, цитируемые при обсуждении языковой деятельности первого порядка (слова, фразы, предложения, значения, фонологические единицы и т.д.).

Внешняя контекстуализация символа – проблема понимания (или моделирования) того, как субъекты получают возможность использовать то, что для других людей является языковыми конструктами второго порядка. (Заметим, что для того, чтобы уподобиться человеку, деятельностный субъект должен также относиться к своему собственному поведению как зависящему от этих конструктов.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кравченко 2003 – *А.В. Кравченко*. Что такое коммуникация? // Прямая и непрямая коммуникация. Саратов, 2003.
- Кравченко, в печ. – *А.В. Кравченко*. Является ли язык репрезентативной системой? // Язык и познание: методологические проблемы и перспективы. М., в печ.
- Clark 1997 – *A. Clark*. Being there: Putting brain, body and world together again. Cambridge (MA), 1997.
- Clark, Chalmers 1998 – *A. Clark, D. Chalmers*. The extended mind // *Analysis*. 1998. 58–1.

- Cowley 2004 – *S.J. Cowley*. Contextualizing bodies: human infants and distributed cognition // *Language sciences*. 2004. 26.
- Cowley, Spurrett 2003 – *S.J. Cowley, D. Spurrett*. Putting apes (body and language) together again // *Language sciences*. 2003. 25.
- Dennett 1991 – *D. Dennett*. *Consciousness explained*. Boston, 1991.
- Donald 1991 – *M. Donald*. *Origins of the modern mind*. Cambridge (MA), 1991.
- Harnad 1990 – *S. Harnad*. The symbol grounding problem // *Physica D*. 1990. 42.
- Harris 1981 – *R. Harris*. *The language myth*. London, 1981.
- Harris 1996 – *R. Harris*. *Signs, language and communication: Integrational and segregational approaches*. London; New York, 1996.
- Hutchins 1995 – *E. Hutchins*. *Cognition in the wild*. Cambridge (MA), 1995.
- Kravchenko 2003 – *A.V. Kravchenko*. *Sign, meaning, knowledge: An essay in the cognitive philosophy of language*. Frankfurt-am-Main, 2003.
- Linell 2005 – *P. Linell*. *The written language bias in linguistics: Its nature, origins and transformations*. London; New York, 2005.
- Spurrett 2004 – *D. Spurrett*. Distributed cognition and integrational linguistics // *Language sciences*. 2004. 26 / 6.
- Spurrett, Cowley 2004 – *D. Spurrett, S.J. Cowley*. How to do things without words: infants, utterance activity and distributed cognition // *Language sciences*. 2004. 26 / 6.
- Thibault 2000 – *P.J. Thibault*. The dialogical integration of the brain in social semiosis: Edelman and the case for downward causation // *Mind, culture and activity*. 2000. 7.
- Wheeler 2004 – *M. Wheeler*. Is language the ultimate artifact? // *Language sciences*. 2004. 26 / 6.
- Zlatev 2003 – *J. Zlatev*. “Meaning = life (+culture): An outline of a unified biocultural theory of meaning” // *Evolution of communication*. 2003. 4(2).

*С.Д. Коули (Оксфорд),
А.В. Кравченко (Иркутск)*

Восьмая Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов

13–18 ноября 2005 года в Берлине состоялась очередная, восьмая Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при МКС, посвященная обсуждению проблемы “Категории языка и словообразовании”. В конференции, которая была организована проф. Алицией Нагурко (Германия/Польша), заведующей кафедрой западнославянской филологии университета им. Гумбольдта, приняли участие ученые из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Польши, России, Словакии, Украины, Франции. Проблематика конференции позволяла обсудить широкий круг вопросов, касающихся перспектив и методов исследования словообразовательных категорий, рассматриваемых с когнитивно-семиотической, коммуникативно-дискурсивной и ономаσιологической позиций в сопоставлении с иными типами категорий языка*.

Первым был прослушан доклад Я. Пузынины (Польша) “Моя встреча со словообразованием спустя 25 лет”, в котором говорилось об интенсивном развитии дериватологии на рубеже XX–XXI вв., о комплексных, многоаспектных исследованиях, проводимых членами Комиссии по славянскому словообразованию, использующими наряду с методами “классической” дериватологии методы и понятия психо- и прагмолингвистики, принципы логического анализа языка, дискурсивной и когнитивной лингвистики.

И.С. Улуханов (Россия) в докладе “Словообразовательная категория и примкнувшие к ней немотивированные слова” проанализировал соотношения между членами словообразовательных и несловообразовательных пар, относящихся ко всем видам словообразовательных значений: мутационному (*летчик – летать и врач – лечить*), модификационному (*отец – мать и хозяйин – хозяйка*) и транспозиционному (*смелый – смелость и голый – нагота*). По мнению И.С. Улуханова, семантический параллелизм между членами словообразовательных и разнокорневых пар заслуживает специального изучения, в результате которого была бы выявлена вся сфера “супплетивного словообразования” и те семан-

* Аннотации докладов расположены в хроникальной заметке в той последовательности, в которой доклады были прочитаны на конференции.

тические отношения, которые в русском языке словообразовательно никогда не выражаются.

В. Г л а д р о в (Германия) в докладе на тему “Словообразование и служебные слова” указал на тот факт, что существующая в русистике классификация служебных слов, построенная с учетом их оперативной (грамматической или прагматической) функции, нуждается в уточнении. Созданию новой классификации может способствовать исследование семантики служебных слов, в словообразовательной структуре которых отражаются определенные словообразовательные соотношения, например, предлоги такого типа как *по мере*, союзы (*а именно*), модальные слова (*разумеется*), частицы (*просто*).

И. О н х а й з е р (Австрия) в докладе “Номинация и эмоция” говорила о необходимости дифференцировать “лексикону эмоций” (т.е. обозначение эмоций) и “эмоциональную лексику” (“эмоционально окрашенные” слова). Было отмечено, что связь между эмоциями и номинацией может изучаться с разных позиций: с одной стороны, под углом зрения когнитивной лингвистики (изучение и описание концептов разных эмоций), с другой стороны, – и гораздо интенсивнее – в связи с такими понятиями, как оценочность, экспрессивность, коннотация. И. Онхайзер рассмотрела прагматический аспект побуждения эмоций; примерам, приведенным в ее докладе, были даны мета-языковые объяснения, вскрывающие взаимосвязь между стимулированием эмоций у реципиентов реклам и процессом номинации.

В докладе Э. Г ю н т е р (Германия) были рассмотрены словообразовательные средства и способы словообразования, используемые для выражения семантической категории “сравнение” в словах, принадлежащих к различным частям речи: а) в прилагательных (с суф. *-ист-, -чат-, -оват-*, в сложных словах типа *кровоав-красный*, в словах с опорными компонентами *-образный, -видный, -подобный*); б) в наречиях (с префиксом *но-* и с суффиксом *-ому* или *-ски*); в) в существительных (с суффиксом *-оид*, типа *кристаллоид*, в бинаминальных существительных типа *еж-рыба*); г) в глаголах (с суффиксами *-нича-, -е-*, типа *обезьянничать, костенеть*).

Характер процессов заимствования, их влияние на динамику развития словообразовательных категорий существительных в польском языке анализировала в своем докладе К. В а ш а к о в а (Польша). Применяя структурно-семантический подход при исследовании современных языковых процессов, К. Вашакова рассмотрела также с семиотической, дискурсивной и ономаσιологической позиций неологизмы-интернационализмы (более 5000), ко-

торые в качестве синхронических дериватов пополнили категории *nomina actionis, nomina qualitatis, nomina essendi, nomina agentis* на рубеже XX–XXI вв.

З.Л. Х а р и т о н ч и к (Беларусь) в докладе “Перцептивные категории в деривационных процессах” доказывала, что анализ закономерностей реализации перцептивных категорий в деривационных процессах открывает возможности для выявления путей их многофункционального использования и наблюдения за селекцией релевантных и значимых перцептивных свойств как когнитивной базы для наименований, установления роли салиентности, инферентной силы, вариативности, типичности, потенциальности для выбора тех или иных перцептивных свойств в качестве когнитивных аттракторов.

М. С о к о л о в а (Словакия) выступила с докладом “Соотношение словообразовательных и ономаσιологических значений”, представив результаты анализа 66 500 лексем, зафиксированных в “*Slovník koreňových morférov slovenčiny*” (Bratislava, 2005). Исследовав дериваты с синкретичной семантикой, она выделила – в дополнение к “триаде” М. Докулила – “смешанные” типы дериватов: транслоциционно-мутационные и мутационно-модификационные.

В докладе А. Н а г у р к о “Вербальные словообразовательные категории – *preliminaria*” обсуждалась возможность описания глагольных словообразовательных категорий по аналогии с традиционным описанием категорий имен существительных. В ходе анализа префиксальных глаголов движения, их связей с предложными словосочетаниями А. Нагурко пришла к выводу о необходимости введения в описание 1) базовых категорий (со значениями физических действий, пространства, времени, степени), 2) так называемых “расширений” категории (информация о характере действия, модальные элементы значения), 3) вторичных значений.

М. О л о ш т я к (Словакия), используя методу исследования словообразовательных явлений, предложенную Ю. Фурдиком, проанализировал в своем сообщении взаимоотношения понятий “словообразование”, “морфология”, “внутрикатегориальные изменения”, “ономаσιология”, “ономаσιологическая рекатегоризация”, “семантизация”, “десемантизация”.

Б. Т о ш о в и ч (Австрия) в докладе “Соотношение деривационных и грамматических категорий” говорил о природе деривационной категории (ДК), о взаимоотношениях деривационных и грамматических категорий. По мнению докладчика, в плане содержания ДК должна иметь общий деривационный признак,

а в плане выражения формальных словообразовательных показателей. Для ДК характерно отношение констелляции (независимости), но не характерно отношение детерминации (одна ДК не предполагает наличие другой) и интердепенции (эти категории могут существовать друг без друга).

Соотношение словообразовательных категорий с категориями других уровней языка обсуждалось в докладе А. Лукашанца (Беларусь). На материале русских одушевленных существительных, в основном *nomina feminativa*, были проанализированы отношения включения, тождества, иерархического подчинения и пересечения, существующие между деривационными, словообразовательными и лексико-словообразовательными категориями.

В.Д. Климонов (Германия) в докладе “Концептуальная субтранскатегоризация и формальная манифестация событий в русском и немецком языках” рассмотрел следующие вопросы: 1) лексические виды русского глагола; 2) грамматические маркеры событий; 3) тенденция к оптимальной организации видовых парадигм; 4) морфологические и контекстуальные маркеры эвентивности в русском и немецком языках.

Целью доклада И.Г. Милославского (Россия) было выявление возможностей, существующих в русском языке для выражения “ненастоящего”. По мнению докладчика, “ненастоящее” может быть формально выражено: 1) морфемными средствами (*отчим, эллипсоид, лженаука*), 2) специальными определителями (*фальшивый, крокодилы слезы*), 3) лексемами с семантическим компонентом “ненастоящее” (*заработать – наварить, образ – имидж*).

Доклад Й. Рёке (Германия) был посвящен модификационным дериватам в славянских языках, особенностям их формы и семантики, обусловленным принадлежностью к определенным частям речи, специфике их функционирования в тексте.

И. Крассовска (Германия) в докладе “Морфопрагматический подход к деминутивам и квази-деминутивам” изложила результаты анализа немецких и польских просторечных и жаргонных слов (деминутивов и квази-деминутивов), предложив выделять среди них номинативные и экспрессивные новообразования.

Доклад В. Раевой (Болгария) “Мир слов, мир в словах” был посвящен сравнительно-сопоставительному анализу славянских прилагательных – цветообозначений. Были определены причины сходства и различия семантики дериватов – прилагательных со значением цвета в сопоставляемых языках, выявляе-

на специфика их словообразовательных формантов.

Х. Бурхард (Германия) проанализировала польские отадъективные деминутивы и интенсивы с формантами, обозначающими слабую и усиленную степень проявления признака в сочетании с оценочной экспрессией. Детально анализу были подвергнуты дериваты с суффиксами *-awy, -utki*, а также производные с префиксом *przy-*, причем особое внимание уделялось сочетаемости эмоционально окрашенных основ с формантами, передающими экспрессию ласкательности или уничижительности.

С. Менгель (Германия) в докладе на тему “Словообразовательные синонимы: языковой феномен между лексикой, грамматикой и словообразованием” предложила рассматривать словообразовательные синонимы как часть словообразовательного и лексического гнезда. Анализируя древнерусские однокоренные личные существительные с разными формантами, она стремилась показать роль словообразовательной синонимии в развитии лексических концептов.

Ц. Аврамова (Болгария), рассматривая в своем докладе проблему словообразовательной омонимии и полисемии суффиксальных дериватов в славянских языках, пришла к заключению, что при анализе этих явлений следует избегать смешения двух уровней – словообразовательного и лексического, устанавливая прежде всего принадлежность к словообразовательной категории и словообразовательному типу, исследуя характер словообразовательного значения.

Р. Беленчиков (Германия) выступила с докладом “О месте словообразования в функционально-семантических полях”. По ее мнению, функционально-семантические поля (ФСП) включают в себя те языковые средства различных подсистем языка, которые выражают определенные категориально-языковые значения. Были всесторонне охарактеризованы конкретные словообразовательные типы в ФСП “локативность”, проанализированы их отношения к языковым средствам как иных подсистем одного и того же ФСП, так и других ФСП.

Анализируя взаимосвязь и взаимодействие категорий слово- и формообразования в русском языке, Г.А. Николеев (Россия) обратил внимание на то, что их изоморфизм проявляется в параллелизме основных характеристик (механизм образования, строение, способы и средства образования, типы аффиксальных морфем и т.д.). Взаимосвязь и взаимодействие фактов слово- и формообразования, по его мнению, составляет предмет новой ис-

торико-лингвистической дисциплины – грамматической лексикологией.

Г.П. Не щ и м е н к о (Россия) говорила о специфической трактовке понятия “категория” в работах выдающегося чешского лингвиста М. Докулила, о необходимости комплексного, многоаспектного подхода к исследованию словообразовательных явлений и средств словообразования, указав, в частности, на особую роль парадигматических окончаний как компонента словообразовательного форманта.

М. Ферран (Франция) в своем выступлении охарактеризовал типы аббревиатур в современном русском языке, проанализировал особенности их функционирования в синхронии и диахронии, рассмотрел нормативный аспект образования сложносокращенных слов в языке прессы, отметив искусственность их нелоговой орфографии и ударения.

В докладе “Категория падежа существительного как мотивационная база производных словообразовательных типов” Н.Ф. Клименко (Украина) проанализировала – в аспекте функционально-категориальной семантики – мотивационные отношения между первичными и вторичными значениями падежных форм существительных и категориальными словообразовательными значениями, которые формируются на их основе у производных существительных и глаголов в современных украинском и греческом языках.

А. Никитевич (Беларусь) в докладе “Словообразовательные категории и взаимодействие единиц разных уровней” подчеркнул, что по характеру представления значения мотивированные слова резко противопоставлены словам немотивированным, однако по этому же признаку они могут сближаться со словосочетаниями как дискретным способом экспликации соответствующих значений. В этом случае словообразовательная категория, служащая семантическим объединением группы производных слов, в отвлечении от формальных средств выражения, может получить “расширение” до категории деривационной.

В докладе М.В. Орешкиной (Россия) “Категория словообразовательного гнезда” было показано значение этой единицы словообразования в освоении заимствованных слов в языке-реципиенте. В рамках категории *potina agentis* были проанализированы словообразовательные типы существительных, образованных от тюркизмов, которые в русском языке стали вершинами целого ряда словообразовательных гнезд.

К. Клещова (Польша) выступила с докладом “Категоризация и декатегоризация в эволюции польского словообразования”, обра-

тив внимание слушателей на то, что эти понятия связывает с процессами специализации и “деспециализации” словообразовательной модели, служащими для выражения определенно-го смысла, обусловленного синтаксически. Были определены условия, стимулирующие категоризацию и декатегоризацию в истории польского языка, выявлена своеобразная иерархия причин, вызывающих эти процессы.

Богатый языковой материал был проанализирован М. Лазинским в докладе “*Пани министр танцует*”. Референциальные механизмы блокады словопроизводства наименований женщин в польском языке”. Были выявлены грамматические закономерности деривации *nomina feminativa* в польском языке XX века. По мнению докладчика, производные наименования женщин появляются обычно в тех текстах, цель которых обратить внимание читателя на пол существительного со значением ‘деятель’.

Е.А. Карпиловская (Украина) в докладе “Скрытые и открытые языковые категории” на материале славянских языков рассмотрела проблему соотношения скрытых, формально не выраженных в отдельном слове, и открытых, имеющих в слове специальный формальный показатель, словообразовательных категорий. В рамках лексемной категории “объект, не соответствующий норме” были проанализированы спектры словообразовательных значений, а также диагностические формальные показатели значения, на основе которого формируется категория.

Характеризуя соотношение и связь словообразовательных и стилистических категорий, В.Н. Виноградова (Россия) подчеркнула в своем выступлении, что изучение особенностей структурно-системной организации словообразования невозможно без обращения к коммуникативным областям функционирования его подсистем. Для ряда социально и функционально обусловленных словообразовательных средств является характерной эмоционально-экспрессивная значимость, связь с выражением оценки интенсивности, эмоций, образности. Это приводит к необходимости отнесения подобных словообразовательных средств сразу к нескольким стилистическим категориям, в том числе выявлению “пограничных” категорий (ср. “книжно-разговорные” усечения типа *ординар, интуитив, флегмат*).

Е. Серочук (Польша) говорил о проблемах выявления репертуара словообразовательных категорий в диалектах польского языка, об особенностях словообразовательных процессов в говорах, указывая на необходимость пространственной локализации языкового материала. Сопоставляя диалектологические

карты, Е. Серочук обратил внимание слушателей на то, что в определенной языковой среде дериваты подчас имеют совершенно иное значение, чем в литературном языке (например, *kosiarz* и *kosynier* это не 'косарь', а 'тот, кто сечет', не 'косит'). По мнению докладчика, при исследовании взаимодействия лексической и словообразовательной систем в говорах дериватологи должны анализировать данные языка конкретной территориальной группы говорящих.

В докладе Е.И. Коряковцевой (Польша/Россия) были проанализированы семантические и словообразовательные особенности русских и польских модальных *nomina abstracta*, рассмотрены языковые и внеязыковые факторы, обуславливающие их появление. Установлено, что различия во внутренней организации модальных *nomina abstracta* в русском и польском языках объясняются: 1) исторически обусловленным выбором разных способов передачи модальных значений именными предикатами; 2) лексическими и грамматическими различиями словопроизводственных баз, сочетающихся с изофонными формантами.

Ю. Балтова (Болгария) в докладе "Семантическая категория персональности и ее отражение в словообразовании" проанализи-

ровала содержание терминов "лицо (персона)" и "коммуникант". Было отмечено, что категория персональности слабо изучена в словообразовательном аспекте, персональность учитывается лишь при описании категорий *nomina subjecti*, *nomina personalia*, *nomina feminativa*. Ю. Балтова предложила новую модель словообразовательного описания категории персональности с учетом предикативно-аргументных структур.

На заключительном заседании Комиссии по славянскому словообразованию были подведены итоги ее работы в 2004–2005 гг., обсужден план мероприятий на 2006–2007 годы. Председатель Комиссии И.С. Удуханов от имени всех присутствующих поблагодарил А. Нагурко и ее сотрудников за прекрасную организацию конференции, которая проходила в творческой атмосфере.

Материалы восьмой конференции Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов планируется издать отдельным томом в серии "Westostpassagen" (Georg Olms-Verlag, Hildesheim).

*Е.И. Коряковцева (Москва/Седльце),
Е. Серочук (Познань)*

Международная школа-семинар "Лексика, лексикография, терминография в русской, американской и других культурах"

Вот уже десять лет в Иваново успешно работает лексикографическая школа-семинар. Лексикографическая школа-семинар начала свою работу в 1995 году и была впервые проведена кафедрой английской филологии. В 1992 зародилась идея ее проведения в г. Тампере на конгрессе ЕВРАЛЕКСа (Европейской ассоциации лексикографов). Было решено проводить такие школы (которые постепенно приобрели статус конференций) между конгрессами ЕВРАЛЕКСа каждые два года.

Формат школы-семинара на базе Ивановского государственного университета был выбран организаторами конференции неслучайно. В этом формате начинающие ученые имеют возможность не только представить результаты своих научных исследований, но и познакомиться с видными зарубежными учеными, с ведущими учеными-лексикографами России. Проведение мероприятия в форме научной дискуссии, круглого стола, предполагает атмосферу активного непосредственного уча-

ствия. Эта главная особенность школы-семинара привлекает к участию большое количество крупных ученых и начинающих исследователей со всего мира.

За прошедшие 10 лет было организовано пять конференций, в которых приняли участие более 600 человек. Приглашенными учеными за эти годы были Р.Р.К. Хартман (Великобритания), К. Варантола (Финляндия), Р.В. Фьельд (Норвегия), Б. Тофт (Дания). Секции и семинары возглавляли ведущие отечественные лингвисты С.Г. Тер-Минасова, Д.О. Добровольский, К.Я. Авербух (Москва), Т.П. Третьякова, С.В. Воронин, О.И. Бродович, А.Ю. Масленникова (Санкт-Петербург). Издательство HarperCollins в лице Л. Синклер-Найт оказывает помощь в работе школ-семинаров в виде предоставления новых словарей современных языков для проведения презентаций, семинаров и круглых столов.

На десятилетний юбилей прислали поздравления из-за рубежа доктор Р.Р.К. Хартман, доктор Р.В. Фьельд. Доктор Р.Р.К. Хартман –

видный лексикограф мира, основатель Европейской ассоциации лексикографов EUROLEX, автор фундаментальных трудов в области лексикографии, почетный профессор лексикографии Бирмингемского университета (см. www.ex.ac.uk/staff-and-research/staff-information/reinhard-hartmann.shtml) в приветствии отмечает, что он имел честь открывать работу Ивановской школы-семинара 10 лет назад. Доктор Р.В. Фьельд, составитель многих словарей норвежского и других скандинавских языков, говорит о том, что Ивановская школа-семинар играет заметную роль в развитии современной лексикографии. Год от года растет количество стран-участниц и круг обсуждаемых на конференции проблем, расширяется тематика круглых столов конференции, увеличивается число участников международной лексикографической школы-семинара.

В сентябре 2005 года юбилейная VI Международная школа-семинар прошла под названием “Лексика, лексикография, терминология в русской, американской и других культурах”. В ней приняли участие 30 докторов наук, свыше 60 кандидатов наук, молодые ученые, аспиранты, студенты из 7 стран, более чем 32 городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

На торжественном открытии юбилея выступили с приветствиями ректор ИвГУ, профессор В.Н. Егоров, председатель оргкомитета, проректор ИвГУ по связям с общественностью, заведующая кафедрой английской филологии факультета романо-германской филологии, профессор О.М. Карпова, президент Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ), декан факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, профессор С.Г. Тер-Минасова.

Почетными гостями юбилея стали известные зарубежные и отечественные лингвисты и лексикографы (Г. Пихт, К. Хейсли, Дж. Таллок, Н. Кассис, Н. Видмарович, Л.М. Алексеева, Н.В. Васильева, Г.Е. Крейдлин, М.Л. Макаров, Т.В. Левина, В.А. Виноградов, В.Т. Малыгин, М.В. Влавацкая, И.А. Тарасова, А.М. Мелерович, М.Р. Кауль, О.Н. Прохорова и др.) из ведущих вузов России (Москва, Санкт-Петербург, Орел, Томск, Казань, Нижний Новгород, Кемерово, Пермь, Тверь, Владимир, Новосибирск, Кострома, Краснодар, Братск, Рязань, Ярославль, Омск, Ростов-на-Дону, Тюмень, Волгоград, Тула, Иваново), Европы (Германия, Финляндия, Хорватия, Беларусь), других стран мира (США, Израиль), а также многие другие российские специалисты, лингвисты-практики и начинающие ученые. Грант

на проведение школы-семинара был предоставлен посольством США в Москве.

Рабочими языками конференции стали русский и английский.

Проблематика конференции 2005 г. свидетельствует об ее актуальности – обсуждались вопросы современной межкультурной коммуникации, лексикографическая картина английского, русского, немецкого, французского, арабского и других языков, современные тенденции в лексикографии и терминологии, вопросы составления учебных, толковых, терминологических, переводных словарей, проекты новых справочников, лексикографическое описание языков для специальных целей.

Работа юбилейной школы-семинара проходила на восьми круглых столах, а именно “Современное терминоведение: кризис идей или новый этап развития?!”; “Проблемы невербальной коммуникации”, “Лексикологические проблемы дискурса-анализа”, “Контрастивная лексикология и языковые картины мира”, “Словари языка писателей в различных национальных лексикографиях”, “Лингвострановедческий словарь как средство развития межкультурной коммуникации”, “Фонетические характеристики словарей различных типов. Новые тенденции в лексикографии”, а также “Художественное слово в пространстве культуры”.

На конференции осуществлялся успешный обмен теоретико-исследовательским, практическим и новаторским опытом по важнейшим проблемам современной лингвистики, терминологии, лексикографии и ее отдельных аспектов (специализированной лексикографии, LSP), учебной лексикографии, словарям языка писателей, проектам новых словарей и т.д.) и всей науки в целом. Большой интерес вызвали презентации приглашенных ученых.

Лекции Г. Пихта (Германия), в которых рассматривались некоторые вопросы конструирования научного знания в языках для специальных целей, профессиональной коммуникации, терминоведения, невербального представления специальных знаний.

Навыки эффективной коммуникации приобретают все большую значимость в мире профессионального общения и обмена специальной информацией. В связи с этим аудитория с особой благодарностью отметила практическую ценность презентаций ученого-практика К. Хейсла (США), раскрывшего некоторые секреты профессионального мастерства, предложившего ответы на ряд вопросов о человеческой психологии. Выступления К. Хейсли были посвящены решению таких проблем, как достижение доверия и устранение недовольства у общественности.

На пленарном заседании был заслушан доклад МГУ С.Г. Тер-Минасовой (Москва) “Война и мир языков и культур”. Выступление ученого сопровождалось яркими примерами, иллюстрирующими культурные стереотипы различных наций, а также связанные с ними трудности, возникающие на уровне межкультурной коммуникации.

Во время презентации Дж. Таллок, члена редакционной комиссии авторитетнейшего британского издательства Оксфордского университета, аудитории был предложен увлекательный экскурс в историю развития и составления толковых и переводных словарей. Были продемонстрированы Оксфордские лексикографические новинки. Участники конференции имели замечательную возможность получить консультацию специалиста издательства, что называется, “из первых рук”.

Особого внимания заслуживает коллективное выступление-презентация Ивановского государственного университета, осуществленное О.М. Карповой (Иваново) и ее учениками. Аудитории были продемонстрированы словари серии Collins, в составлении которых принимали участие ученые ивановской лексикографической школы. Информационная ценность доклада заключалась в разностороннем представлении инноваций и преимуществ и качественного анализе справочной продукции данного авторитетного издательства. Современные разработки авторов словарей серии *HarperCollins* выгодно отличаются от ряда других новинок на рынке справочной литературы и располагают к себе требовательного пользователя.

Наибольшее количество докладов было заслушано на секции “Современное терминоведение: кризис идей или новый этап развития?!” , где обсуждались вопросы по составлению специализированных словарей предметной области “связи с общественностью”, морского жаргона, особенности терминологии гуманитарных наук, на примере двуязычных терминологических словарей представлялся критический анализ некоторых основных лексикографических понятий (мега-, макро-, микро- и микроструктуры), рассматривалось английское словообразование как источник трудностей для переводчика и т. д.

Доклады ряда участников конференции вызвали особый интерес. Это доклад по терминологии медицины Л.М. А лек с е в о й (Пермь), доклад Н.В. В а с и л ь е в о й (Москва) об особенностях описания имен собственных в словарях различных типов, доклад Л.А. С о л ы ш к и н о й (Казань) о проекте словаря русского морского жаргона, доклад И.С. К е с е л ь м а н а

(Орел) о словаре текстовых цепочек на примере подъязыка EFL/ESL, доклад Н. К а с с и с а (Израиль) об арабско-русских контактах и об описании заимствований в словаре. Сборник трудов юбилейной школы-семинара 2005 года под названием “Лексика, лексикография, терминология в русской, американской и других культурах” раскрывает теоретические и практические положения лекций, докладов и сообщений.

Общая тематика Ивановских школ-семинаров, с одной стороны, отражает современные тенденции развития теоретической лексикографии, а с другой – дает возможность всем интересующимся современной лексикографией познакомиться с ее достижениями и наработками в таких областях, как писательская, учебная лексикография, LSP-лексикография (см. <http://www.ivanovo.ac.ru/win1251/protect/karпова.htm>).

Успешные результаты – показатель неутомимой работы. Одновременно они являются заслуженным подарком для бессменного председателя оргкомитета Ивановской школы-семинара, руководителя секции лексикологии и лексикографии НОПриЛ (Национальное общество прикладной лингвистики) О.М. Карповой к персональному юбилею в апреле 2006 года. Автор более двухсот научных работ, изданных в России, на Украине, в Беларуси, Англии, Финляндии, Норвегии и других странах, использовала свои научные контакты для развития деятельности семинара. Среди публикаций О.М. Карповой отметим следующие книги: “Словари языка писателей” (М., 1989), “Библиографический указатель словарей языка английских писателей” (Иваново, 1993), “Словари языка Шекспира” (Иваново, 1994), “Библиографический указатель словарей современного английского языка” (СПб, 2002), “Лексикографические портреты словарей современного английского языка” (Иваново, 2004), “PR: проблемы терминологического описания” (Иваново, 2005), “Учебные словари Collins” (М., 2005). О.М. Карпова отмечена рядом зарубежных наград.

10 лет работы характеризуют Ивановскую школу во главе с О.М. Карповой как отечественный научный центр, полный творческих сил, замыслов, как прекрасно себя зарекомендовавший в мире лексикографии международный центр обмена профессиональными знаниями и опытом работы.

Л.А. Девель (Санкт-Петербург)

С 21 по 25 октября 2005 года в Москве отделение ИФН и ИРЯ РАН проводили международную конференцию “История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография” как III чтения памяти академика О.Н. Трубачева (23.10.1930–0.03.2002).

К 75-летию О.Н. Трубачева вышли две его новые книги: “Труды по этимологии: Слово. История. Культура” т. I–II. 2004–2005 гг. и научно-популярная, публицистически заостренная книга “В поисках единства” (3-е изд. с новыми главами, подготовленными еще при жизни автора – в издательстве “Ихтиос”, и с библиографией трудов ученого – в издательстве “Наука”¹).

В Комиссии по сохранению творческого наследия О.Н. Трубачева (председатель акад. Е.П. Челышев) план чтений был сформирован в 2002 году. Рекомендовалось проводить их по двум циклам: первый цикл – “Славяне: язык, история” (в Москве – нечетные годы), второй цикл – “Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры” (в четные годы) – в Крыму или в одном из южных городов России, Украины. Оргкомитет первого цикла возглавляют акад. Е.П. Челышев и чл.-корр. РАН А.М. Молдован; второго цикла – акад. НАНУ П.П. Толочко и чл.-корр. РАН Ю.Л. Воротников.

Первые Московские чтения 2003 г. проходили как расширенный Ученый Совет ИРЯ РАН и были посвящены О.Н. Трубачеву-этимологу, чтения 2005 года – О.Н. Трубачеву-лексикографу. В их организации принимал участие фонд О.Н. Трубачева “Славянский мир”, учрежденный 4 июня 2004 г. (председатель Г.А. Богатова). В рамках Международной конференции провела свое заседание Комиссия по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (КЛЛМКС) (председатель М.И. Чернышева).

В программе конференции было заявлено 93 доклада и выступления (из них 20 стендовых). Посетили конференцию более 150 чел.

¹ Презентация двухтомника проходила 31 мая 2005 года в мэрии г. Москвы в рамках конференции “Славянские культуры: корни и кроны”. Презентация-встреча с книгой “В поисках единства” проходила 5 апреля 2006 г. в Московском Доме национальностей, примыкая ко второму собору восточнославянских народов (3–4 апреля 2006).

Издание “История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. Тезисы докладов и выступлений” открывалось докладом В.Н. Топорова “Слово о Трубачеве”: “Олег Николаевич Трубачев – целая эпоха в языкознании, и более того – в сфере гуманитарного знания второй половины XX века... Этимологическая деятельность О.Н. Трубачева произвела переворот в самом понимании задач этимологии... Его этимологические труды были той колыбелью, где завязывалось достойное будущее этимологии. Ему принадлежит инициатива перевода “Этимологического словаря русского языка” М. Фасмера (с дополнениями, внесенными О.Н. Трубачевым) и перевод всех четырех томов. Олег Николаевич был разработчиком проекта и пробных статей “Этимологического словаря славянских языков”, первый выпуск которого появился в 1974 г., а сейчас их уже 32. А ведь он был историком не в меньшей степени, чем лингвистом. Историческая доминанта присутствовала во всем объеме им написанного: он был историком и в лингвистике, и когда писал о терминах родства и общественного строя или о ремесленной терминологии, или когда обращался к этнонимии, антропонимии и топонимии, когда он блестяще открыл присутствие древнего индоарийского субстрата на юге России, открыв до тех пор неизвестную страницу в истории только еще имеющей стать будущей России”. Книги последних лет жизни О.Н. Трубачева – “Индоарика в Северном Причерноморье” (1999) и изданное к 75-летию двухтомное собрание сочинений (статьи) “Труды по этимологии” (2004–2005) имеют также предисловие В.Н. Топорова.

Первый пленарный день конференции “Слово о Трубачеве” 21 октября назван по докладу В.Н. Топорова и начался приветствием акад. А.Б. Куделина: «Огромную тему “Славяне: язык, история”, которой всю жизнь занимался Олег Николаевич, трудно вместить в одну книгу. Может быть, поэтому она стала программой его жизни и одной из важнейших современных программ Российской академии наук». Выступающие характеризовали О.Н. Трубачева как слависта (чл.-корр. РАН А.М. Молдован, чл.-корр. НАН Украины А.П. Непокупный), как науковеда и лексикографа (чл.-корр. НАН Белоруссии В.К. Щербин и “Научная критика словаря – по материалам славянских рецензий О.Н. Трубачева”, чл.-корр. РАН А.Е. Анникин “Лексикографическое наследие О.Н. Трубачева”), как мыслителя и гражданина (Н.Н. Лисовой “Служение слову”), как ученого, работающе-

го на стыке разных исторических специальностей с лингвистами, историками, археологами. Диалог с идеями Э. Бенвениста (доклад акад. Ю.С. Степанова), с археологом В.В. Седовым (стендовый доклад 2004 г. "Расселение славян на восточнославянской равнине из Дунайского региона"), с историком А.Г. Кузьминым (доклад В.С. Перевезенцева "Полнота исторической науки"), с Х. Кайпертом (М.И. Чернышева "Понятие *блага* в раннеславянской и древнерусской книжности у О.Н. Трубачева и Х. Кайперта"), с М. Мурьяновым (Г.А. Исаченко. "Трубачев и Мурьянов – диалог ученых"). Урокам выдающихся лексикографов – В.И. Абаева, Ф. Славского, М. Фасмера, О.Н. Трубачева – посвящено выступление Г.А. Богатовой (деятеля Международного и Российского комитета славистов, неизменного участника всех славянских съездов). В докладе С.Г. Тер-Минасовой "Перевод – путь к единству" описан почти единственный опыт словарного перевода О.Н. Трубачевым "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера, а также прочтение Трубачевым других словарей и энциклопедий (энциклопедия Хатчинсона, например). Приветствия произнесли акад. вице-президент РАН М.И. Исаев, директор Института истории русского языка при Волгоградском государственном университете С.П. Лопушанская, от Днепропетровского государственного университета – В.И. Десятерик.

На опыте работы "Этимологического словаря славянских языков", реконструирующего праславянский лексический фонд, строились два следующих пленарных заседания 22 октября: "Праславянская этимология, праславянский язык, проблема прародины славян на индоевропейском фоне" и "Диалектное членение праславянского языка. Раннеславянский период по данным этимологии, древнейших письменных источников и диалектов". Под председательством Ж.Ж. Варбот, В.И. Дегтярева прошли доклады В. Манчака (Краков) "Прародина славян", А.К. Шапошникова (Коктебель) "О.Н. Трубачев и его концепция миграции древних славян по данным контактологии", З.С. Купчинской (Львов) "Ойконимия как источник реконструкции праславянского языка", Н.Е. Ананьевой (Москва) "Западнославянские диалектизмы в ЭССЯ", Д.Д. Беляева (Тула) "Праславянская лексическая конструкция в фонологическом контексте", С.В. Назина "Дунайское автохтонное происхождение славян в свете истории и этнологии". Организаторами были предусмотрены темы, связанные с преподаванием, типа заявленного М.Л. Ремневой (МГУ) доклада "Процессы развития

праславянского языка как фрагмент курса старославянского языка в вузе". К сожалению, и этот доклад, и доклад В.А. Масловой (МГПУ) не были прочитаны. Были прочитаны доклады, построенные блестяще как с точки зрения науки, так и композиции: Ж.Ж. Варбот (Москва) "Нерегулярные изменения в языке и этимологии" и В.И. Дегтярева (Ростовский ун-т) "Этимологизация грамматических форм числа в праславянском языке", содержащие и материал для учебного процесса. Во второй секции выступали также Е.М. Верещагин (Москва) "Как следует читать вслух древнейшие переводные славянские гимнографические тексты", О.Ф. Жолобова (Казань) "Лексические раритеты в древнеславянском Паренесисе Ефрема Сирина", А.Г. Грек "О мифопоэтической этимологии слова *огонь* у Вячеслава Иванова" и др. Организаторы конференции предполагали познать участие участников с работами, лежащими в русле ее тематики: "Восточнославянские изоглоссы" Т.Р. Иванова, "Диалектное членение праславянского языка" Л.В. Куркиной, "Современное состояние русской исторической лексикографии" В.Б. Крысько. К сожалению, это не оказалось возможным.

Комиссия по лексикологии и лексикографии при МКС под председательством М.И. Чернышевой 22 октября провела свое первое установочное заседание. Участвовали: Ж. Финк (Хорватия), М. Мерше (Словения), В.И. Дубичинский (Украина), В.К. Щербин (Белоруссия), Р. Беленчикова (Германия), Г.А. Богатова, А.А. Поликарпов, Е.И. Державина, Г.Н. Скляревская, С.А. Мызников, эксперты Т.С. Коготкова, Л.И. Шестакова, В.Плотникова (Россия). Все члены комиссии обсуждали части приготовленных фрагментов для будущего капитального труда по славянской лексикографии, надеясь завершить его к XIII Международному съезду славистов в Македонии (2008 год).

В воскресенье 23 октября участники конференции и КЛЛМКС совершили выездное заседание в г. Рязань в учреждающийся РГПУ им. С.А. Есенина Славянский музейный центр им. И.И. Срезневского. В библиотеке им. Горького гостей приветствовал проректор РГПУ В.С. Козлов, с докладом "Уроки Срезневского и уроки Трубачева" выступила Е.В. Архипова (Рязань). В выставочном зале участники конференции ознакомились со словарными работами РГПУ, получили в подарок Топонимический словарь Рязанской области, возложили цветы к стенду О.Н. Трубачева, смотрели фильм Ю. Лошца о дружбе славистов Я. Смолера и И. Срезневского,

О. Трубачева и Х. Шустера-Шевца. В селе Срезнево у мемориала Срезневского возложили цветы на могилу ученого и посетили сельский паломнический музей выдающегося слависта-лексикографа.

24 октября прошли два секционных заседания по лексикографии (председатель В.К. Щербин) по лексикологии и истории сложения славянских литературных языков (председатель Л.Ю. Астахина, Л.П. Рупосова). А.А. Поликарпов (Москва) прочитал доклад “Зависимость степени сохранности в современных языках праславянской лексики от возрастных и категориальных свойств ее единиц (на материале ЭССЯ)”. Были прочитаны также доклады: Л.Ю. Астахиной (Москва) “Этимологические разыскания акад. О.Н. Трубачева и историко-лексикографические исследования”, С.П. Васильевой (Красноярск) “Традиции О.Н. Трубачева в изучении русской ономастики”, И.Г. Добродомова и В.В. Шаповала (Москва) “Арготическая лексика в этимологических исследованиях в свете ее достоверности”. Русскому аргю посвятил свой доклад и В.Д. Бондалетов (Пенза). Было сделано более 30 докладов и обзорных сообщений, типа сообщений О.В. Цыбенко (Москва) “Современное состояние польского языка” или В.В. Дубчинского (Харьков) “Современная украинская лексикография”. С интересным “Опытном составлении словаря хорватско-славянской сравнительной фразеологии” выступила Ж. Финк (Хорватия), рассмотревшая на материале идиоматики девяти славянских языков значительный пласт славянской фразеологии. Далее в центре внимания оказался “Словарь русского языка XVIII века”. В докладе З.М. Петровой (Санкт-Петербург) “Традиции и новаторство в концепции словаря XVIII века” был обобщен опыт работы автора и его коллег над первыми 14-ю выпусками указанного словаря, над этимологическими пометами в словарных статьях, которые нельзя было создать без обращения к трудам О.Н. Трубачева. В докладе И.А. Малышевой (Санкт-Петербург) совместно с Е.А. Захаровой (Санкт-Петербург) “Словарь русского языка XVIII века: принципы создания электронной версии” указывается на такие дополнительно возникающие возможности, как пополнение реестра словаря, составление аспектных словарей XVIII века и др. В докладе Н.В. Хобзей “Словарь гуцульских говоров как источник исследования культурно-маркированной лексики” (с выходом в свет десяти его выпусков) сообщалась этнографическая информация о гуцулах. В.К. Щербин раскрыл тему “Научная критика словарей, как направление славянской металексикографии (на

материале словарных рецензий О.Н. Трубачева)”. Автором выявлено – из 600 работ Трубачева – 76 словарных рецензий. Обосновано их соответствие основным критериям для оценки словарей, создание их типологии. Весомый вклад Трубачева в развитие теоретической и практической лексикографии дает все основания назвать его “человеком словаря” и положить начало “трубачеведению”, что удобно сделать обобщая материалы чтений.

В стендовой сессии были представлены доклады кандидатов наук, докторантов, аспирантов, студентов. Среди них слушатели отметили стенд А.В. Григорьева “К семантике выражения *служить Мамоне*”, А.В. Войтенко “Этимологическое обоснование слова *битва* в русском языке”, Е.А. Новоселовой “Слово и понятие *тризна* в трудах лингвистов”, А.Б. Дубовицкого “О принципах построения словарной статьи в историко-терминологическом словаре”, М.А. Малыгиной “Проект словаря русской музыкальной терминологии XI–XVI веков”, А.С. Дудина “К истории слова *рысь*”.

Прошедшее 25 октября заключительное заседание “Истоки Руси и сложение восточнославянского этнического пространства. Центр и периферия и развитие русского языка” было исключительно многолюдным. Присутствовали представители всех филологических и исторических институтов РАН, студенты и аспиранты МГУ, МПГУ, ПСТГУ, ГАСК. Проблема истоков Руси и состояния норманнской проблемы (А.В. Назаренко, Москва), локализации и историографии Азово-Причерноморской Руси (К.А. Максимович, Л.В. Чекурин) и показаний Восточнославянских изоглосс – одной из ведущих работ ИРЯ РАН (Т.В. Попова, Москва) привлекли внимание и теоретиков и тех, кто занимается конкретным исследованием этих славянских территорий: диалектного ландшафта Московской (А.Ф. Войтенко, Москва), Липецкой (Л.И. Маршова, Москва), Рязанской (Е.П. Осипова, Рязань) и других южных областей (Е.В. Терентьева, Волгоград), а также топонимических свидетельств присутствия в Подмоскovie летописных восточнославянских племен (А.Л. Шилов, Москва). Эти свидетельства опираются на работы О.Н. Трубачева по формированию цивилизации и этногенеза славян (акад. РАН А.А. Касьянов) и на реконструкцию праславянского и собственно русского фонда по данным “Этимологического словаря славянских языков”, исторических словарей русского языка XI–XVII вв., XVIII в., “Словаря русской культуры” (акад. РАН Ю.С. Степанов). Отчеты и рекомендации руководителей секций, предложения орг-

комитета принимались под председательством Т.В. Поповой, А.Ф. Войтенко и А.В. Назаренко, который напомнил слушателям слова А. Брюкнера, что тот, кто установит происхождение слова *Русь*, тот овладеет ключом к ее истории.

В заключение, хотелось бы отметить, что в год 75-летия О.Н. Трубачева научная общественность считает, что жизнь, историю славян и достижения славистики необходимо освещать в научно-популярных журналах и массовых газетах, опираясь на классическую научно-популярную книгу О.Н. Трубачева “В поисках единства”, а также издав ряд славистических работ по проблемам, затронутым на данной международной конференции.

Предложения руководителей пленарных и секционных заседаний касались и будущего трубачевских чтений. Предлагая расширить их географию, участники обосновывают это следующим:

1) О.Н. Трубачев – славист мирового масштаба, идеи и труды которого интересуют славистов разных стран.

2) Детище О.Н. Трубачева (ЭССЯ) – это основа всей славянской лексикографии.

3) Сейчас, когда славянский мир остро нуждается в объединяющих идеях и фигурах, О.Н. Трубачев бесспорно – одна из таких фигур.

Г.А. Богатова
(Москва)

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
“ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ” в 2006 г.**

Статьи

Александрова Н.Ш. Родной язык, иностранный язык и языковые феномены, у которых нет названия	3
Алпатов В.М. Актуально ли учение Марра?	1
Апресян В.Ю. Уступительность как системообразующий смысл	2
Багана Ж. Общая характеристика произношения африканских франкофонов.....	6
Березович Е.Л. О явлении лексической ксеномотивации.....	6
Боголюбов М.Н. К прочтению зороастрийской молитвы Ашэм-Воху	4
Брой В. Флективный и деривационный глагольный вид в молизско-славянском языке ...	3
Буркова С.И. К вопросу о базовой грамматической семантике причастий в немецком языке	4
Верещагин Е.М. “Повесть о Светомире” Вячеслава Иванова в прочтении рассказной погласицей	3
Ветров П.П. Проблемы внутреннего синтаксиса фразеологических единиц китайского языка	6
Голованевский А.Л. Лексическая неоднозначность в языке Тютчева	6
Гращенкова А.Э. Рефлективы в группе прилагательного: теоретические проблемы и типология	1
Добрушина Н.Р. Грамматические формы и конструкции со значением опасения и предостережения.....	2
Драгой О.В. Разрешение синтаксической неоднозначности: правила и вероятности	6
Дыбо В.А. Сравнительно-историческая акцентология, новый взгляд (по поводу книги В. Лефельдта “Введение в морфологическую концепцию славянской акцентологии”)..	2
Зализняк А.А. Можно ли создать “Слово о полку Игореве” путем имитации	5
Зализняк А.А., Янин В.Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. ..	3
Золотова Г.А. О возможностях грамматической науки.....	3
Кибрик А.Е., Брыкина М.М., Леонтьев А.П., Хитров А.Н. Русские посесивные конструкции в свете корпусно-статистического исследования.....	1
Корочков А.В. О количественной оценке адекватности лингвистических правил (на материале правил чтения для английского языка).....	5
Которова Е.Г., Нефедов А.В. Типологические характеристики кетского языка: вершинное или зависимостное маркирование?.....	5
Красовская О.В. Судебный диалог как конвенциональная коммуникативная форма ...	5
Крейдлин Г.Е. Иконические жесты в дискурсе	4
Леонтьева Т.В. Интеллект человека в зеркале “растительных” метафор.....	5
Ницолова Р. Взаимодействие эвиденциальности и адмиративности с категориями времени и лица глагола в болгарском языке.....	4
Падучева Е.В. Генитив дополнения в отрицательном предложении	6
Перехвальская Е.В. Части речи в русских пиджинах	4
Секерина И.А. Метод вызванных потенциалов мозга в экспериментальной психолингвистике.....	3
Солопов А.И. Топонимы с элементами Augusta, Σεβαστή, Σεβάστεια, Σεβαστόπολις, Αύγουστοπόλις в греко-латинской географической номенклатуре	3
Урманчиева А.Ю. Время, вид или модальность? Глагольная система энецкого языка .	4
Урысон Е.В. Семантика союза <i>но</i> : данные языка о деятельности сознания.....	5
Ханзен Б. На полпути от словаря к грамматике: модальные вспомогательные слова в славянских языках	2
Шлуинский А.Б. К типологии предикатной множественности: организация семантической зоны.....	1
Щербакова Л.А. Фонетика и фонология стыка морфем и слов (о делимитативной функции гортанной смычки в русском языке)	2

Комте Р. О классификации славянского глагола в первой половине XX века: Поль Буайе, Сергей Карцевский и Антуан Мейе	1
Кузнецов В.Г. Ф. де Соссюр и А. Сеше. Место работы А. Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики” в истории языкознания	3
Кузнецов В.Г. Учение Ф. де Соссюра в свете соссюрологии	5

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Агранат Т.Б. <i>Е.Ю. Протасова</i> . Феннороссы: жизнь и употребление языка.....	3
Аксенова И.С., Топорова И.Н. <i>J. Cammenga</i> . Phonology and morphology of Ekegusii. A Bantu language of Kenya. <i>J. Cammenga</i> . Igikuria phonology and morphology. A Bantu language of South-West Kenya and North-West Tanzania.....	3
Аркадьев П.М. <i>S. Luraghi</i> . On the meaning of prepositions and cases. The expression of semantic roles in Ancient Greek.....	1
Аркадьев П.М. Explorations in nominal inflection.....	4
Аркадьев П.М. <i>M. Baerman, D. Brown, G.G. Corbett</i> . The syntax-morphology interface. A study of syncretism	5
Архипов А.В. <i>M. Haspelmath</i> (ed.). Coordinating constructions	1
Бронников Г.К. Perspectives on negation and polarity items / <i>J. Hoeksema, H. Rullmann, V. Sanchez-Valencia, T. van der Wouden</i> (eds.)	2
Вельмезова Е.В. <i>М.А. Робинсон</i> . Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов).....	3
Вимер Б. <i>О.Н. Ляшевская</i> . Семантика русского числа.....	2
Всеволодова М.В. <i>О.Н. Селиверстова</i> . Труды по семантике	3
Выдрин А.П. <i>Б.Я. Островский</i> . Вопросы грамматической семантики глагола языка дари	2
Герасимов Д.В. <i>A. Carnie, H. Harley, M. Willie</i> (eds.). Formal approaches to function in grammar: In honor of Eloise Jelinek	2
Грунтов И.А. <i>С.А. Крылов</i> . Теоретическая грамматика современного монгольского языка и смежные проблемы общей лингвистики. Ч. 1. Морфемика, морфонология, элементы фонологической трансформаторики (в аспекте общей теории морфологических и морфонологических моделей)	1
Грунтов И.А. <i>Е.А. Кузьменков</i> . Фонологическая система современного монгольского языка; <i>J.-O. Svantesson, A. Tsendina, A. Mukhanova-Karlsson, V. Franzén</i> . The phonology of Mongolian	4
Добровольский Д.О. <i>Е.В. Падучева</i> . Динамические модели в семантике лексики... ..	4
Живов В.М. <i>Л. Ферм</i> . Вариативное беспредложное глагольное управление в русском языке XVIII века.....	5
Идиатов Д.И. <i>G. Dumestre</i> . Grammaire fondamentale du bambara	1
Карташкова Ф.И. <i>Г.Е. Крейдлин</i> . Невербальная семиотика	5
Копотев М.В., Янда Л. Национальный корпус русского языка.....	5
Коряков Ю.Б. <i>W.F.H. Adelaar, P.C. Muysken</i> . The languages of the Andes	4
Коряков Ю.Б., Майсак Т.А. <i>G. Hewitt</i> . Introduction to the Study of the Languages of the Caucasus	6
Кронгауз М.А. <i>Н.Б. Мечковская</i> . Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций.....	4
Кузнецова А.И. <i>Н.Б. Вахтин, Е.В. Головкин</i> . Социолингвистика и социология языка: Учебное пособие	1
Куркина Л.В. <i>F. Bezlag</i> . Etimološki slovar slovenskega jezika.....	6
Кустова Г.И. <i>Е.В. Урысон</i> . Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике	5

Ландер Ю.А. Complex predicates in Oceanic languages: Studies in the dynamics of binding and boundness	2
Летучий А.Б. <i>A. Levin-Steinmann. Die Legende vom Bulgarischen Renarrativ. Bedeutung und Funktionen der kopulalosen l-Periphrase</i>	4
Летучий А.Б. The grammar of causation and interpersonal manipulation.....	6
Мазо О.М. <i>B. Zeisler. Relative tense and aspectual values in Tibetan languages: a comparative study</i>	3
Майсак Т.А. <i>Ö. Dahl. The growth and maintenance of linguistic complexity</i>	3
Мокиенко В.М. <i>A. Bierich. Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts</i>	6
Молошная Т.Н. Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова: Сб. статей.....	1
Орехов Б.В. <i>М.А. Бобунова, А.Т. Хроленко. Тютчев и Фет: опыт контрастивного словаря</i>	6
Плунгян В.А. Малые языки и традиции: существование на грани. Вып. 1: Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков. Посвящается 75-летию академика Вяч.Вс. Иванова.....	5
Попова Т.В. <i>Л.Э. Калнынь. Синтагматика сонантов в славянских диалектах</i>	6
Сичинава Д.В. <i>В.М. Алпатов. Волошинов, Бахтин и лингвистика</i>	5
Федорова О.В. Deixis and demonstratives in Oceanic languages.....	3
Цейтлин С.Н. <i>Г.М. Богомазов. Возрастная фонология (двухуровневая фонологическая система и ее роль в формировании чутья языка и грамотности учащихся 1–6 классов)</i>	5
Челышева И.И. <i>Carte friulane del Quattrocento dall'archivio di San Cristoforo di Udine</i>	1
Чумакина М.Э. <i>В.С. Храковский (ред.). Типология уступительных конструкций</i>	4
Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. <i>Е.А. Земская. Язык как деятельность. Морфема. Слово. Речь</i>	1

Научная жизнь

Хроникальные заметки

Богатова Г.А. III чтения памяти О.Н. Трубачева.....	6
Варбот Ж.Ж., Куркина Л.В. Международный этимологический симпозиум.....	2
Ваулина С.С., Берестнев Г.И. Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов	6
Вельмезова Е.В. Международная конференция “Потерянная парадигма: марристская лингвистика в СССР”	1
Верещагин Е.М. Международная конференция “Литургические гимны византийского обряда у славян в древнейшую историческую эпоху”	2
Глинских Г.В., Грачев М.А. Международная конференция “Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV)”	3
Девель Л.А. Международная школа-семинар “Лексика, лексикография, терминография в русской, американской и других культурах”	6
Жукова Н.С., Полякова Н.В. XXIV Дульзовские чтения	2
Занегина Н.Н., Капитанова Ю.С. Виноградовские чтения 2006 г.	4
Конюшкевич М.И. X Карские чтения	1
Копелиович А.Б., Пименова М.В., Фурашов В.И., Юдина Н.В. Конференция “Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект”	5
Коряковцева Е., Серочук Е. Восьмая Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов	6
Коули С.Д., Кравченко А.В. Динамика когнитивных процессов и науки о языке	6
Михайлова Т.А. Коллоквиум “Celts-Slavica” (Университет Ольстера, г. Колрэйн, июнь 2005 г.).....	4

Панина Е.В. Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте (31 января – 2 февраля) 2006 г.....	6
Пупынина Е., Солодова Е. VIII Международная конференция “Когнитивное моделирование в лингвистике” (Варна, сентябрь 2005 г.).....	4
Рахилина Е.В. РГНФ: поддержка научных мероприятий в области языкознания.....	2
Светозарова Н.Д., Сытов А.П. Всероссийская научная конференция: “Лингвистика в годы войны...”	4
Феоктистова Л.А., Теуш О.А., Фомин А.А. Международная научная конференция “Ономастика в кругу гуманитарных наук”	4
Янко Т.Е. Конференции по языкознанию 2005 года, поддержанные Российским Гуманитарным научным фондом	6

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ “ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ”**

- БЕ – Български език
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
ВФ – Вопросы философии
ВЯ – Вопросы языкознания
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ – Иностранные языки в школе
РЯНШ – Русский язык в нач. школе
РЯШ – Русский язык в школе
СБНУ – Сборник за народни умотворения
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
СТ – Советская тюркология
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfsIph – Archiv für slavische Philologie
AGL – Archivio glottologico Italiano
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL – Acta linguistica
AmA – American anthropologist
ANF – Arkiv för nordisk filologi
AO – Archiv orientální
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf – Beiträge zur Namenforschung
CAJ – Central Asiatic journal
CFS – Cahiers F. de Saussure
CJ – The classical journal
FPhon – Folia phoniatica
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
GL – General linguistics
HR – Hispanic review
IF – Indogermanische Forschungen
IJ – Indo-Iranian journal
IJAL – International journal of American linguistics
JA – Journal asiatique
JASA – Journal of the Acoustical society of America
JEGPh – Journal of English and Germanic philology
JL – Journal of linguistics
JP – Język polski
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne
JФ – Јужнословенски филолог

KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn
 LaPh – Linguistics and Philosophy
 Lg – Language
 LIn – Linguistic Inquiry
 LM – Les langues modernes
 MM – Maal og minne
 MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
 MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris
 MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
 NSS – Nysvenska studier
 NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
 PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
 PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
 RES – The Review of English studies
 RÉG – Revue des études grecques
 RÉSI – Revue des études slaves
 RF – Romanische Forschungen
 RKJL – Rozprawy Komisji językowej Łódzk. t-wa naukowego
 RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
 RLing – Russian linguistics
 RLR – Revue de linguistique romane
 RO – Rocznik orientalistyczny
 RS – Rocznik slawistyczny
 SaS – Slovo a slovesnost
 SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
 SL – Studia linguistica
 SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu históriu
 SPAW – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
 StO – Studia orientalia
 SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
 TA – Traduction automatique
 TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
 TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
 TIL – Travaux de l'Institut de linguistique
 TPhS – Transactions of the Philological society
 UAJb – Ungarische Jahrbücher
 VR – Vox Romanica
 WW – Wirkendes Wort
 ZAS – Zentralasiatische Studien
 ZCPH – Zeitschrift für celtische Philologie
 ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum
 ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
 ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie
 ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung
 ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen
 ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
 ZRPPh – Zeitschrift für romanische Philologie
 ZSL – Zeitschrift für Slavistik
 ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

1. **Рукописи** представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания *должны быть набраны* через полуторный интервал *в электронном виде*. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон, E-mail адрес.

1.1. К рукописи прилагается **договор о передаче авторского права**. Текст договора см. в № 5, 2005 г. или на сайте Издательства “Наука” www.naukaran.ru. Подписывая договор, укажите, пожалуйста, Ваши паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес, телефоны, E-mail адрес.

1.2. В **состав электронной версии** статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи, и файл(ы), содержащий(е) иллюстрации. Если текст статьи вместе с иллюстрациями выполнен в виде одного файла, то необходимо дополнительно представить файлы с иллюстрациями. На дискете желательно продублировать материалы в разных каталогах (на случай брака дискеты). Во избежание технических неполадок запись на дискете рекомендуется тестировать и проверять на вирусы.

1.3. Подготовка электронной версии основного текста.

Желательно представление основного текста статьи в формате Microsoft Word for Windows. При наборе используйте стандартные Windows True Type шрифты (например, Times New Roman, Courier New, Arial и т.п.). Все использованные в статье шрифты с нестандартными знаками желательно сохранить как отдельные файлы на дискете. Размер шрифта – 12.

Обращаем Ваше внимание на то, что строки текста в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (обычно клавиша Enter). Тексты с разделением строк в пределах абзаца символом возврата каретки не могут быть использованы.

1.4. Подготовка электронной версии графического материала.

При подготовке графических файлов мы просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

– для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

– векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны:

CorelDraw (до версии 8.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0) или в формате EPS;

– для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Если программа не является распространенной, то желательно дополнительно сохранить файлы рисунков в формате WMF или EPS.

Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы был понятен порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок.

2. **Примеры** в журнале принято давать курсивом, а значения их в кавычках.

3. **Библиография** в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– “Код работы” (фамилия, год выхода цитируемой работы), тире, инициалы и фамилия автора, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа “и др.” или “et al.”.

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: Успенский 1994 – Б.А. Успенский. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой 1990 – Н.С.Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то “кодом” является одно из двух:
а) фамилия редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) и год, тире, инициалы и фамилия редактора с указанием “ред.” (для других языков – ed., hrsg. и т.п.);

б) сокращенное название и год.

Greenberg 1978 – *J. Greenberg* (ed.). *Universals of human language. V. I. Method and theory.* Stanford (California), 1978.

Universals 1978 – *Universals of human language. V. I. Method and theory.* Stanford (California), 1978.

3.2. **В тексте ссылки на литературу** даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992 : 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a].

4. **Подстрочные примечания** имеют сквозную нумерацию.

5. Непринятые рукописи не возвращаются.

6. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

7. Рецензии должны присылаться в редакцию вместе с экземпляром рецензируемой книги (по просьбе автора рецензии книга будет ему возвращена).

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале “Вопросы языкознания” не принимаются.

CONTENTS

E.L. Berezovich (Ekaterinburg). On the phenomenon of lexical xenomotivation; E.V. Padučeva (Moscow). Genitive of the object in negative sentences; O.V. Dragoi (Moscow). The solution of syntactical ambiguity: rules and possibilities; P.P. Vetrov (Moscow). Problems of inner syntax in Chinese phraseological units; J. Baganá (Belgorod). General characteristics of pronunciation of African francophones; A.L. Golovanevskij (Briansk). Lexical ambiguity in Tiutchev's poetical language; **Reviews:** A.B. Letuchij (Moscow). The grammar of causation and interpersonal manipulation; Ju.B. Koriakov, T.A. Maisak (Moscow). *G. Hewitt*. Introduction to the study of the languages of the Caucasus; V.M. Mokienko (Greifswald). *A. Bierich*. Russische Phraseologie des 18. Jahrhunderts; T.V. Popova (Moscow). *L.E. Kalnyn'*. Syntagmatics of sonants in Slavic dialects; L.V. Kurkina (Moscow). *F. Bezljaj*. Etimološki slovar slovenskega jezika; B.V. Orekhov (Ufa). *M.A. Bobunova, A.T. Khrolenko*. Tiutchev and Fet: a contrastive analysis; **Chronicle features:** T.E. Janko (Moscow). Linguistic conferences in 2005 supported by the Humanitarian Scientific Fund; E.V. Panina (Moscow). Comparative linguistics in cultural and historical aspects; S.S. Vaulina, G.I. Bereznev (Kaliningrad). Semantic-discursive studies of language: explicit / implicit of sense expression; S.D. Coly (Oxford), A.V. Kravchenko (Irkutsk). Dynamics of cognitive processes and of linguistics; E. Koriakovceva (Moscow / Sedlce), E. Serochuk (Poznań). The 8-th International Conference of the Commission of Slavic word-formation (International Committee of Slavists); L.A. Devel (St-Petersburg). International School-Seminar "Word-stock, lexicography, terminography in Russian, American and other cultures"; G.A. Bogatova (Moscow). The Third Readings in memory of O.N. Trubačov; **Index of articles published in "Voprosy Jazykoznanija" in 2006.**

Сдано в набор 18.08.2006	Подписано к печати 13.10.2006	Формат 70 × 100 ¹ / ₁₆
Офсетная печать	Усл. печ.л. 13,0	Усл. кр.-отт. 17,3 тыс.
	Тираж 1303 экз.	Уч.-изд.л. 15,5
	Зак. 1842	Бум. л. 5,0

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Академиздатцентр "Наука", 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6